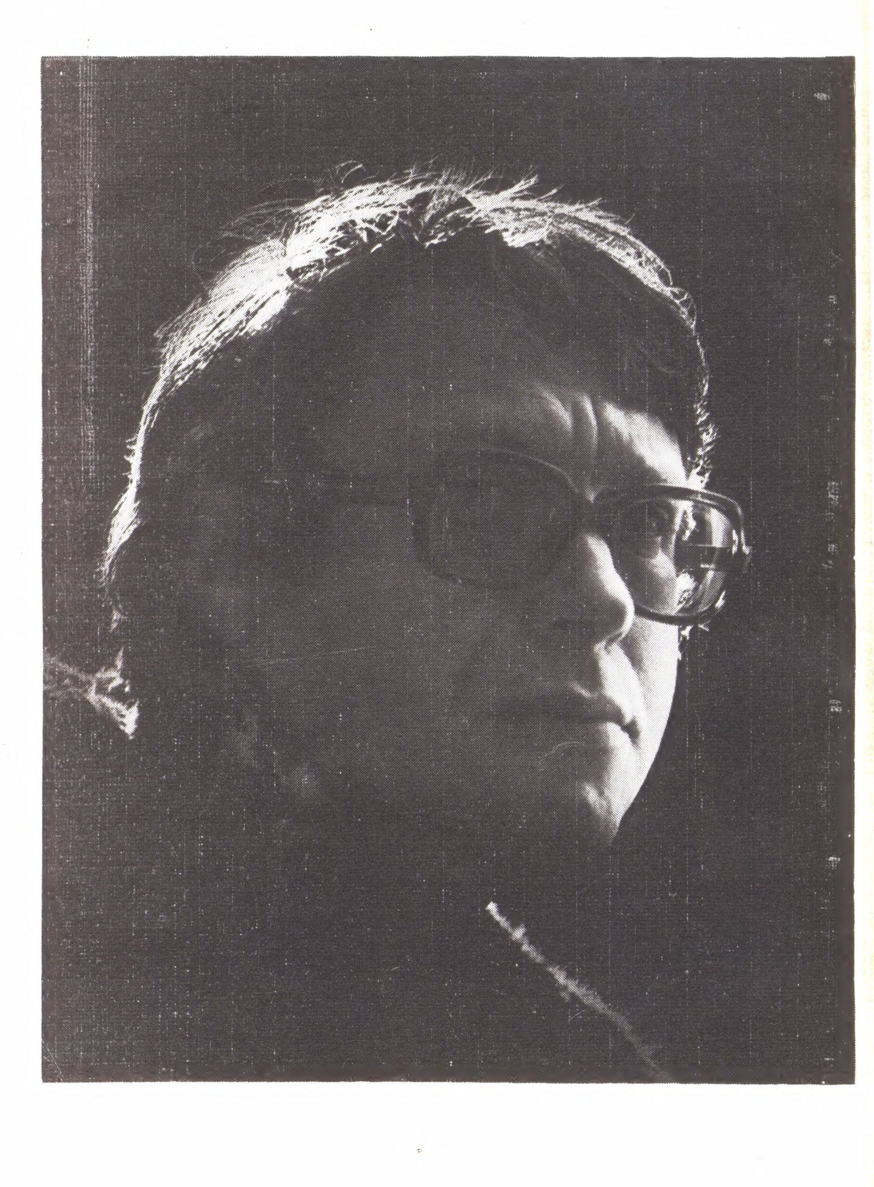
ВЛАДИМИР АМЛИНСКИЙ





ВЛАДИМИР АМЛИНСКИЙ



ПОВЕСТЬ

МОСКВА · СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1984

Р 2
А 61

Художник
ВЛАДИМИР ФАТЕХОВ

А $\frac{4702010200-116}{083(02)-84}$ 3—83

Накануне этого, как принято говорить, «знаменательного дня» звоню старому, с институтской еще поры, другу.

Голос на том конце провода очень знакомый, совершенно не изменившийся за двадцать лет, чуть возбужденный тенорок, молодой голос моего слегка постаревшего друга. Только почему, не узнавая меня, он отчужденно говорит: «Кто его спрашивает?»? Называюсь. Голос чуть теплеет: «Его нет, будет вечером, я обязательно передам».

Пока он произносит эти три фразы, я чувствую удивление; в сущности, меня удивляет то, что не должно удивлять, и то, что всегда ощущаешь с каким-то внутренним изумлением, вовсе не ума, а души: лёт времени, все нарастающее его движение, как бы сконцентрированное в молекуле; вот уже и голоса не отличишь, юношеский голос его сына стал взрослым, молодым голосом, да-да, именно взрослым молодым голосом, именно таким говорил мой друг и до сих пор, хотя в привычно бодрых, всегда оживленных его интонациях частенько звучали в последнее время нотки усталости.

Ловлю себя на ощущении, что не только главное, стержневое течение жизни так стремительно, но и мгновенна скорость его притоков, и кажется, двадцать лет, так много в себя вместивших, это было позавчера, но ведь совершенно же недавно, вчера, я говорил с этим мальчиком, он спрашивал, куда поступает мой сын, говорил, что сам для себя не решил, куда ему идти, помню его юношески-ломкий озадаченный голос, но ведь и после этого вчерашнего разговора прошло ни много ни мало четыре года.

Спрашиваю его:

— А ты сам надолго в Москве?

— Да нет, на неделю. У меня каникулы.

Сопоставив мысленно его каникулы с каникулами своего сына, удивляюсь несовпадению и тут же вспоминаю: он ведь в военном училище. У него другая учеба, другие каникулы.

— Передай отцу, пусть не забудет. Завтра семнадцатое октября... Мы едем к Борьке Никитину. Ты знаешь нашего друга Борьку Никитина?

Странно, что, разговаривая с мальчиком, я все называю своего друга Борькой. Так и связалось навсегда это сочетание, и как-то трудно произнести «Борис Иванович».

— Да, конечно,— говорит мальчик на том конце провода.— Слышал, слышал о нем... Кажется, вы вместе учились.

В ответе его уже слышится что-то формальное. Верно, его не интересует друг юности его отца, а может, просто у него нет времени. Каникулы так коротки. Времени у них, молодых, тоже мало. Меньше, пожалуй, чем у нас.

За окном красные, хлопающие как флажки на ветру листья. Мокрый асфальт, набухшая грязью лысая поляна озелененного двора. Пошло на вторую половину октября, Борькин день рождения последний. Сашкин был в январе, мой — в августе, его же — именно в эту ненастную пору, и дороги в том поселке, где он живет, наверное, размыло, расквасило, а небо, сшитое из серых темных лоскутов, низко легло над все растущим, все поднимающимся вверх районным городом, над редеющими вокруг него, но еще облегающими его лесами.

Что это? Вымученная традиция? Душевная необходимость? Ритуал, который трудно хранить, но и жаль утерять?.. Не знаю. По-разному это бывает.

Раньше, несколько лет назад, мы ехали весело, в предвкушении встречи, а перед этим даже с удовольствием таскались по магазинам, налегая в основном на спиртное.

А сейчас... Может, просто постарели или распалось что-то в железных кованых звеньях вечной дружбы. Да нет, и так ведь не скажешь. И в конце концов, не в том дело, как мы едем. Может, и со скрипом, все с большим трудом вырываясь из судорожного потока забот, дел, обязанностей, обязательств; поток этот все гуще с каждым годом, несет круто и что-то размывает не только снаружи, но и внутри, но все-таки мы вырываемся.

И я не знаю, что важнее. То, что встречи наши реже и реже, постоянная щедрая потребность в общении, так властно владевшая нами в юности, как бы подсохла, затвердела ледяной корочкой. Но с другой стороны — сколь-

ко подобных дружб истлело на корню, а наша все жива. Вот мы расползаемся по сторонам, теряем друг друга из виду, но потребность возникает вновь и прорывает ледяную оковку; значит, он действительно нужен нам, Борька Никитин, да и мы, верно, нужны ему.

И в имени этом, для вас таком обычном — одно из миллионов имен,— для нас — своего рода код, расшифровать который нелегко постороннему человеку... Может, это ключик к той части жизни, которая так быстро, почти незаметно, пролетела, проскочила, да и к другой, которая еще будет, и обещает что-то, и, как в самом начале, кажется бесконечной.

В конце октября, в день рождения Борьки Никитина, мы едем к нему в гости.

Проносятся станции, сначала более частые и людные, потом более редкие, пустые, мы помним здесь каждое название, дорога известна наизусть, как детское стихотворение. И каждый раз эта дорога вызывает в памяти послевоенную электричку, тесную и темную; там ходили люди с шапкой и просили, иногда безногий, с длинными светлыми волосами, с мощным торсом, обрезанным так жутко, прыгал в проходе, не глядя ни на кого, и ему кидали все дружно. Вокруг рабочие говорливые люди шумели, играли в карты, забивали «козла», и я был их частичкой.

Теперь нередко встретишь попрошаек, только цыганки иногда ворвутся, пронесутся ярким вихрем, а так народ чинный, негромкий, все с газетами и журналами. Дорога здесь длинная, почти ночь езды, стучат убаюкивающе вагончики, и вроде бы засыпаешь, задремываешь, а все равно все помнишь и видишь. И расстояние, казавшееся почти бесконечным, вот и истаяло, а мы уже на подступах к той станции, где живет наш друг, человек предместья, как он сам себя иногда любит называть.

Мы встретились с ним двадцать лет назад на вступительных экзаменах в институт.

Это был странный институт; вроде бы он предполагал готовить из нас тех, кем мы мечтали быть и кем по глубочайшему нашему убеждению уже были, и вместе с тем на всех консультациях, перед каждым творческим экзаменом Мастер, а за ним и деловитые ассистенты повторяли: «Нет, нет, нет, и не заблуждайтесь!»

Мастер, широкоплечий, свирепого вида, с неожиданно удивленной улыбкой, с маленькими, зоркими, широко расставленными глазами, говорил:

— Может быть, вы и художники, может быть. Но вы не те художники, кем мните себя видеть. Вы — оформители выставочных залов, а может быть, и магазинных витрин. Да, и не кривите лица, магазинных витрин: «Молочные продукты», «Изотопы», «Скобяные изделия». Чистая живопись — лишь закладка, лишь основа, только материал, а там дальше она растворится в Ремесле... Да, да, и снова не кривите ваши личики. Ремесло совсем не дурное слово; вспоминайте почаще наши древние русские ремесла и забудьте навсегда о понятии «ремесленник».

Он говорил, а лаборантка заносила в свой кондуит номера наших вступительных работ.

Что это были за работы? Гигантские холсты в наспех сбитых щелястых рамочках. Гравюры — темненькие квадратики на простынях листов, и просто школьные тетрадки с какой-то мазней, может быть, даже с гениальными рисунками. Это навсегда оставалось тайной, так как работы в подобном виде не принимались.

Каких только жанров и сюжетов тут не встречалось: натюрморты с клубникой, черешней — дарами отечественных садов (тогда еще фрукты не импортировались из дальних и ближних стран), геометрические мертвые кувшины, фигуры строителей университета (который недавно только вымахал, поражая москвичей и приезжих своим органным размахом), лица строителей метрополитена в сверкании автогенных вспышек, просто лица, портреты знатных работников сельского хозяйства и промышленности, портреты Незнакомок и Незнакомцев.

Лаборантка ставила номер, а лаборант, худущий длинный парень, пытавшийся поступить в институт уже пятый год, таскал эти картины не глядя, как панели, как строительный материал, передавая их как кирпичи на стройке другому лаборанту, тот, в свою очередь, волок их в неведомый нам запасник.

В большинстве своем их, по прошествии предварительного конкурса, возвращали. Это называлось «завернуть». Тогда это распространенное ныне словцо было новым и зловещим своим смыслом, зловещей новизной резало слух.

— Заберите, пожалуйста,— говорила лаборантка или ассистентка.

И — забирали.

А первой весточкой поражения был листок с краткой, одновременно безликой и безоговорочной формулировкой: «Не допущен к творческому конкурсу».

Это был первый этап, первый акт долгой многолетней драмы.

Я принес свои иллюстрации к «Возмездию» и «Двенадцати» Блока (вне школьной программы), к Есенину (вне школьной программы) и к «Хорошо!» Маяковского (в рамках школьной программы).

Мой друг Сашка, победитель всех конкурсов, лауреат изостудии Дома пионеров, человек широкоизвестный в наших узких кругах, представил цикл линогравюр «Новая Москва (Ленинский проспект, Черемушки)» и был допущен немедленно, загодя.

Когда мы пришли с ним, то наткнулись не на ассистентку, не на лаборантку, а на самого Мастера. Коренастый, похожий на старого боксера, ставшего тренером, с прижатыми ушами, приплюснутым носом, как бы от многих жестоких схваток, это был сорокалетний человек (которого почтительно называли Мастером и никогда по имени-отчеству); его мы смутно знали по иллюстрациям к детским книгам, самым первым нашим книгам, с нежными синими и розовыми чудо-птицами, так неподходящими к его суровому облику.

Он посмотрел быстро, с кажущимся безразличием и сказал, бегло глянув на Сашку:

— Годится. Допускаетесь.

Мои работы он не стал глядеть, посмотрел на меня, и я притих. Я ждал, что он тут же, без оттяжки и проволочек, решит мою судьбу, но чуда не произошло. Он бросил:

— Оставьте, поглядим.

И так прозвучало это «оставьте», что все, над чем сидел вечерами, ночами, все папки листов, исчерканных легким перышком, все из детства усвоенное, раз и навсегда, вечно трудолюбивое «изводишь единого слова ради» — показалось грудой металлолома, некоего бумажного утиля, который мы в школе сдавали на специальный пункт по приему, обходя десятки домов, иногда призывая к осуществлению гражданского долга, иногда униженно клянча, порой добывая этот самый утиль, порой уходя с пустыми руками, с надеждой на добычу нового утиля — вот таким завершением прозвучало это не обещающее, не обязательное «оставьте».

Оставил.

Словно нырнул с головой в вязкую, стоячую воду и тут же сделал усилие, вынырнул, сказал себе: ерунда.

Минутная апатия, равнодушие, взгляд в окно, где молодая, не запылившаяся еще листва... «Мне что-то совершенно все равно, какое нынче вынесут решенье...»

Нет, не все равно.

Я пройду. И даже если этот с приплюснутым носом забракует, «завернет» — все равно пройду, не сейчас, не здесь, но пройду. Другого не дано. Как принято говорить у нынешней молодежи — без вариантов.

Мы пили чай в институтском буфетике. Мой друг, давясь, будто у него было сужение пищевода, заглатывал пончики, говорил о постороннем, о футболе, о погоде, никак не являл, не обнаруживал скрытую радость победителя. Я же был мрачен, хотя ничего и не произошло и поражение еще не витало под сводами буфета.

Но всю жизнь с детских лет я привык ожидать худшего, и неслучившееся виделось мне как случившееся.

Нельзя сказать, чтобы я не радовался удаче друга. Мне нравились его работы, действительно нравились. Я верил в него, но еще больше, гораздо больше я верил в себя, и я старался радоваться, приучал себя к мысли, что надо радоваться, но впервые в жизни я ощутил то, что не мог тогда объяснить, сформулировать себе: не зависть, и не обиду, и даже не горечь несправедливости. Скорее всего это была боль непонимания, горечь оттого, что тебя не захотели узнать, поленились узнать, хотя это, казалось, было так просто: вытащить лист, посмотреть опытным взглядом взрослого мастера.

Птичка удачи порхнула на плечо моего друга и оставила свой желтенький гадкий следок, показав мне свою голую, общипанную спину курицы.

И тут в буфет вошел парень, худенький, невысокий, светлые волосы стрижены ежиком, взгляд комсомольски открыт и дружелюбен.

Он волок всего две картины, не зачехленные, без рамок.

Вид у него был растерянный. Увидев нас, он подошел и сказал с заметным нажимом на «о»:

— Можно оставить на минутку?

Мне даже показалось, что он нарочно окает. Думает, раз из глубинки, с периферии, значит, зачтется.

Не дожидаясь ответа, он подошел к буфетной стойке.

Я глянул на его холсты, глянул небрежно, даже предубежденно, оценивающий, холодный взгляд этот эстафетой был мне передан тем самым боксерским Мастером, да с равнодушным холодком. Ни в кого и ни во что не веря. Ощущая вареный котлетный запах несправедливости, разлившейся в мире.

Глянул и удивился.

И даже отошел, чтобы еще раз увидеть как следует, с дистанции, целостно.

Два портрета стояли прислоненные к металлическим голым куринообразным ножкам буфетного стула; два портрета стояли, будто взявшись за руки, хотя каждый из них был отдельным. На одном было написано «Отец», на другом — «Мать».

Отец был молодой, чуть ли не моложе этого парня, в форме железнодорожного машиниста, с нарядными блестящими пуговицами, в фуражке. Голубые глаза мерцали молодым восторгом жизни, но в легком их блеске как бы сквозила чуть-чуть тревожная тень — ожидания чего-то.

А мать сидела прямо, напряженно, крестьянское лицо, городское платье, но чувствовалось, что живут не в деревне, а где-то в пригороде, может быть, на разъезде, на станции, и видно, из деревни недавно, руки ее выражали неловкость, будто не художник-сын ее рисовал, а сидела перед фотографом, и ей это было непривычно, неловко. Да и вообще, непривычно с и д е т ь, а привычно двигаться, спешить, кормить малых детей, выводить скотину.

Руки были сложены аккуратно, пальчик к пальчику, на одном серебряное колечко посверкивало. Улыбалась она смущенно и с любопытством, будто это не вы разглядывали ее, а она, чуть робея и стараясь прикрыть взгляд,— глядела на вас.

Выполнено все это было предельно безыскусно и как-то удивительно... Я даже не мог понять, в чем тут секрет. Никакой сусальности, «утепленности». Ни манерности, ни раскрашенного подробнейшего фотореализма в духе Лактионова (его картина «Переезд на новую квартиру» с портретом вождя на стене в тысячах репродукций висела в клубах страны, а также красовалась в «Родной речи»).

Ничего подобного не было в этих портретах.

Мы переглянулись с моим другом. Я почти физически почувствовал, что и он неслышно про себя ахнул: от ощущения зрелой силы этой кисти, особенно на фоне мыслен-

но пронесшихся передо мной натюрмортов с пыльными кувшинами, с цветами, «почти как настоящими», с тщательными огурцами в тщательных пупырышках, на фоне улыбок псевдосварщиков в защитных очках под неестественно ярким люминисцентным огнем, томных улыбок таких знакомых, примелькавшихся, с Крамского и Серова списанных незнакомок. Средь всей этой громадной выставки потуг, претензий, бесцветных водяных знаков псевдожизни, непрожитой, невыстраданной, взятой напрокат в спецпункте, где есть все от классики до модерна, эти два не то чтобы выделялись или поднимались,— они просто были ж и в ы м и. Живыми, и только.

Однако автор уже возвращался с громадным тяжеленным подносом, где одиноко высился стакан чаю, жидкого светло-табачного цвета, и бутерброд с сыром.

Я ничего ему не сказал, подавил в себе первый порыв, решил обмануть самого себя. Может, впервые я тогда ощутил прелесть этого лукавства: не выражать чувств, не дать человеку возрадоваться, возвыситься.

Сколь много надо разбивать колени, лоб, локти, падая и оскользаясь, чтобы понять именно эту необходимость и вернуться к детскому: к невозможности сдержать вырвавшийся из горла крик восторга, искренность и силу первого движения.

Немедленность и бескорыстность признания другого вовсе не унизят тебя, а, быть может, только возвысят. Но это было утеряно в детстве и придет еще не скоро, когда я повзрослею, может быть постарею, и перестану видеть себя бегуном на дистанции, чтобы только не прийти вторым или третьим.

Но тогда, может быть, под взглядом холодного взгляда Мастера-боксера, я промолчал.

А Сашка, мой друг,— я тут же отдал ему должное и, как пóтом после чаю с малиной, облился стыдом,— мой друг сдержанно, но веско произнес:

— Крепко сработано.

Парень, просветлев лицом, совсем не оспаривая этот вывод, это решение, доверчиво и радостно сказал:

— Да так, вроде бы ничего... Мне кажется, получилось вроде бы.

— А почему ты их таскаешь? Не приняли, что ли? — спросил я.

— Не приняли,— сказал парень.

Мы оба так и застыли в удивлении.

— Да нет, не то чтобы не прошел. А вроде бы по срокам поздно. Сегодня, оказывается, последний день. А я только с дороги. Я из Щербакова, ну, из Рыбинска. Вздумал, черт, тащиться по каналу, пейзажики смотреть, плесы... то да се... А пароход сколько тащится. Вот я с Химок прямо сюда. А они все счеты закрывают. Девчонка из комиссии так и сказала: поздно. Черта подведена... Вот так по-дурному получилось.

— Да ты пойди к Мастеру,— сказал мой друг.— Немедленно найди его и покажи. А то ведь действительно не примут. И прямо сейчас иди, он еще здесь, мы его встретили.

Парень неловко подхватил свои холсты и торопливо пошел к выходу.

Вдогон ему я крикнул:

— А почему отец у тебя такой молодой?

Он обернулся, остановился. Вроде бы и забыл, что только что спешил.

— Я батю только так и запомнил... Не вернулся, а где полег — не узнали. У других определенность, а тут — без вести. Ждали, ждем-пождем вот уже сколько лет, все уж ясно как будто, а мать и сейчас к почтальону бегает... Ну, да ладно.

Он пошел, подхватив свои портреты.

Мы выходили на площадь, просторную, полную ранней июньской свежести, особенно пряной и светлой после затхлости этих коридоров. Шли медленно, молча, постепенно расслабляясь, будто тяжкую вахту отстояли. Шли каждый в рассуждении своей судьбы. И вдруг услышали издали тонкий мальчишеский тенорок:

— Эй, мужики, робяты, погодите-ка!

Мы обернулись.

Догоняя нас, в синеве, мареве июньского дня катилась маленькая хрупкая фигурка, словно деревце передвигалось само собой, летело над сухим московским асфальтом.

И вот уже видим лицо с расширившимися, пьяно счастливыми глазами, и маленькие, крепкие руки, словно бы вальсирующие. Руки эти были налегке, свободны.

Картин не было.

— Взял Мастер, сукин сын,— почти кричал парень.— Смотрел, смотрел, нюхал, даже рукой потрогал, а потом говорит: «Хорошо».

— Так и сказал? — спросил я в изумлении.— Интересное кино.

— Так и сказал, собака. «Допускаешься», говорит. А вы-то уж конечно допущены?

Друг деликатно промолчал, а я сказал жестко:

— Он — да, а я — нет.

И добавил с неизвестно откуда взявшейся уверенностью:

— Но не отвертится, собака. Слушай, а как тебя зовут?

— Борька Никитин.

Что было еще в этот день?

Пили пиво в каком-то ларьке. Холодное свежее «Жигули». Заедали роскошными говяжьими сосисками. Разговаривали много, громко. Сначала о художниках, потом о себе. О Мастере. Мы хоть и называли его собакой, но вовсе не испытывали к нему неприязни. Двое из нас были *уже* ему благодарны. Я должен был эту благодарность вырвать, заслужить. И если я не заслужу ее, то мне надо будет доказать сначала себе, потом моим друзьям, потом Мастеру или другим Мастерам, что я могу, имею право ее заслужить.

Мы сели в троллейбус, оторвали билетики, каждый деловито посмотрел номер, ни у кого не сошлось. Известно, что счастья в жизни нет... Но посмотрим, посмотрим...

Отправились в зоопарк. Борька Никитин был там первый раз. Он вообще впервые в жизни был в зоопарке. Он обалдел от пива и кричал, что всех зверей надо выпустить, а посадить туда людей, которые их загнали. Когда человек попадает в такой большой город, в такой большой зоопарк, мысли его путаются, ясная жизненная позиция теряет свою цель.

Запах июньской травы, терпкий запах вольеров, усталые сонные львы... О, как любил я их когда-то, этих имперских зверей.

В том городе, где я провел эвакуацию, был зоопарк и были львы. Они были худые, питались впроголодь, как и люди. Однако полуголодные люди не забывали про своих львов в надежде, что и львы подобреют и перестанут быть теми, кем их считали с сотворения мира — хищниками. Все мы были полны добра — и львы, и люди. Мы — на свободе, они — в своих вольерах с загонами.

Борька Никитин впервые был в Москве. Самым крупным его городом был Горький. Он там учился в физкуль-

турном училище и имел диплом преподавателя младших классов по физкультуре. Мы не поверили ему — так он был худ. Но он напружинил свои руки, сжал кулаки.

— Попробуй,— сказал он.

Я положил руку на его бицепс и ощутил железную твердость небольшого круглого ядра.

Мы шли и шли по аллеям, мимо слонов, пони, деревьев, детей, шли и рисовали черной тушью по синему воздуху.

Откуда появилась эта вечная мука, эта страсть, это навязчивое желание — малевать, разрисовывать, придумывать, изображать?..

А главный конкурс был впереди — дистанция с выбыванием, и еще неизвестно, какую оценку поставит Мастер и дойдем ли мы вообще до финиша.

Да, впереди долгий нескончаемый конкурс, с меняющимися судьями — на выживание, на искусство.

В тот день мы не думали об этом: лишь с возрастом думаешь о предстоящих трудностях. А сейчас мы беспечно шагали по теплой земле, по чистому прогретому московскому асфальту раннего лета, который я так любил, о котором так мечтал когда-то в городе Разлуки раннего детства — городе эвакуации.

«И твердь кишит червями»... Теперь эта московская земля станет и Борькиной твердью.

Две девушки сидели на скамейке, неторопливо, с физически ощутимым наслаждением, мелкими кусочками ели мороженое, где на вафлях были написаны имена: «Миша», «Сережа»; мы сидели так близко и прицельный взгляд наш был столь зорок, что разглядели даже это.

Сейчас в механизированных хладокомбинатах, выпускающих все виды мороженого, такого нет.

Мы сидели рядом на лавке, не решаясь кадрить, но втайне надеясь на успех.

Громко говорили, стараясь обратить на себя внимание: о графике, а также о Пластове, о голубке Пикассо, о Лактионове, о Горяеве, об иллюстрациях Густава Доре к «Гаргантюа и Пантагрюэлю», о чудовищной по несправедливости победе «ЦДКА» над командой «Динамо» — в первенстве страны.

Девушки равнодушно, аккуратно вытирали одним платком пальчики, передавали его друг другу. Никакого видимого внимания к нам.

Они смотрели на пони, мохнатых карликов лошадиного рода, с повозками, в которых кишели крикливые, обезумевшие от счастья и невиданного риска каникулярные дети.

«Не эти девушки, так другие,— подумал я.— Жизнь еще такая долгая».

Она оказалась не такой уж долгой. Один из нас не дожил до сорока.

Но сейчас мы еще не знаем своих судеб. И то, чему суждено будет, не скоро случится, а может, и не случится никогда.

А сейчас только зоопарк.

День ярок, но уже идет к вечеру; меняется цвет площадок, посыпанных золотым песком, цвет попугаев, кричащих назойливо, гортанно, как зазывалы на восточных базарах, цвет смирных хищников, ждущих пищи из рук человека,— полосатых тигров и песочных львов.

Меняется все, тускнеет, темнеет, и мы уходим, растворяемся в миллионном городе: трое друзей, трое абитуриентов...

Львы, тигры в зоопарке, цирк были всегда моей слабостью и любовью. Может быть, и рисовать меня побудили львы.

В вечернем зимнем городе, куда меня привезли от войны, я увидел на кирпичной стене чудесный плакат: пять огромных львов и женщина в серебряном, словно в чешуйчатом, одеянии. Стоял, смотрел не отрываясь. Потом стал сдирать афишу со стены, никого вокруг не было. Темнело, стояла морозная тишина, и только невдалеке, из госпиталя, были слышны голоса, смех. Клей смерзся, плотная довоенная бумага не отдиралась. Львы были довоенные, с добрыми сытыми мордами... Наконец я отодрал кусок афиши и, счастливый, побежал домой. Подшитые кожей валенки скрипели на жестком, почти остром снегу, со слепящей синеватой крошкой.

Вдруг то ли голос, то ли рык львиный, а прислушаешься: ругань, мат, густой, сочный. Обернулся: мужик какой-то гонится, прямо-таки настигает, еще миг — и ударит страшной львиной лапой. Резко поворачиваю, ныряю в подворотню, прячусь. А мужик проскочил мимо. Я еще долго глядел ему вслед и, приглядевшись, понял, что это

не мужик, а большая, в тулупе и сапогах, мужеподобная женщина.

Несколько раз я потом еще встречал ее. С дробовиком она ходила возле складов, они были неподалеку от этой стены. Обычно она никого не трогала, если к складам не подходили, но когда выпивала, становилась не в меру бдительной.

Я склеил разорванного льва и в струистом слабеньком свете керосинки нарисовал его. Остроугольный, квадратный, он не походил ни на льва, ни на собаку, ни вообще на живое существо. Я рисовал снова и снова.

Бабушка качала головой, разглядывая моего льва.

— Другие уже читают по складам, а ты, сынок, все ерундой занимаешься.

Она любила называть меня «сынок». Сколько раз в своей жизни я еще услышу эту фразу, только без бабушкиного «сынок», и главным в ней будет: другие — то-то и то-то, а ты все ерундой занимаешься.

Подмалевывая холст, глядя на пустой лист, не зная, как начать, сколько раз я готов был поверить людям, что занимаюсь ерундой, не тем, для чего предназначен. Но вот из расплывчатого, угластого, со стертыми и странными чертами чудовища неясно возникло, проявилось нечто напоминающее льва. Еще один удар, одно усилие — и родится лев.

После войны шпана московская крепко дралась, картежничала, воровала, и, чтобы спасти, отодрать меня от дворовых дружков, бабушка привела меня в Дом пионеров.

Тихие и чистые ребята важно ходили там, говорили о чем-то существенном, незнакомом мне, были объединены каким-то общим занятием, устремлены ввысь, к неведомым далям. Обстановка здесь была торжественная: тонкие мальчишеские голоса слагались в хор, певший песню о Сталине, доносилась из-за закрытых дверей чья-то восторженная декламация. Два голоса: один читал, другой ему вторил. Они исполняли таким образом акына Джамбула.

Было ясно, что все они готовились к празднику Первомая.

Никого здесь не знал, и никто не знал меня. Я был одинок, они занимались делом, а я был ни при чем. Захотелось назад, на улицу, в компанию Пеки Демина, в его ватагу, шляться без дела по улицам, заводить толко-

вищу и слушать бесконечно повторяющиеся, но всегда интересные военные истории.

И тут бабушка сказала с надеждой: «Может быть, изостудия? Помнишь, ты рисовал львов?»

И открыла с надеждой высокую белую дверь.

Там, склонившись над большими белыми листами, время от времени подымая глаза, впиваясь ими в белый кувшин и вновь склоняясь над листами, неторопливо трудились пятнадцать — двадцать типов, или, говоря точнее, детей младшего и среднего школьного возраста.

Они рисовали кувшин.

Но меня-то интересовал череп.

На полке, среди множества других каких-то незначительных предметов, белел череп.

Я воткнул в него удивленные глаза и смотрел, смотрел как зачарованный.

Тогда я не мог понять, почему так неотвязно он приковал к себе мой взгляд.

Позже понял.

Просто в нем впервые открылась пугающая и как бы безобразно карикатурная тайна смерти.

Я смотрел и смотрел, а на втором плане, помнится, шелестел чей-то осторожный женский голос, видимо, старосты или секретаря студии, голос объяснял:

— Надо представить работы, здесь свой конкурс, много желающих, и надо пройти отбор...

С тех пор иногда вся жизнь кажется мне бесконечным конкурсом, сдачей экзаменов: справки, документы, работы, как в детском бильярдике, катишься сквозь проволочные загородки, петляешь, стараешься попасть в лузу, где больше всего очков, гремишь шариком, обходя последнюю ловушку, туда, где светится заветная и недостижимая цель.

Голый череп, тишина, склонившиеся над листами, притихшие мальчики и девочки, перед ними большой белый кувшин.

— Садись и рисуй с другими.— Это говорит худой бледный человек, возраст которого не определишь, может, ему сорок, а может, шестьдесят. Гимнастерка без погон, белые волосы, лежащие венчиком над тускло блестевшим парафиновым лбом.

— А что рисовать? — спросил я.

— Что хочешь, хоть вот этот череп... Ты ведь не можешь от него оторваться.

— А из головы можно? Ну, по памяти?

— Череп — это и есть голова,— спокойно, рассматривая меня, сказал человек в гимнастерке.— Впрочем, чего хочешь, то и рисуй. Что тебе в голову взбредет, что тебе воображение подскажет. Как у тебя с воображением?

— Не знаю,— сказал я.

Но череп мне не захотелось рисовать, на него было интересно смотреть, он отпугивал в качестве предмета изображения, и я стал рисовать атаку на фашистский танк. Боец с гранатой полз навстречу танку с коричневой свастикой.

Все уже разошлись, а я еще рисовал. Преподаватель сидел на стуле, что-то читал и не торопил меня. Бабушка ждала за дверью. Закончив, я робко подошел к нему. Он внимательно посмотрел сначала на меня, будто не видел или не замечал меня в течение того часа, что я рисовал, потом посмотрел на мою работу.

Он еле заметно покачал головой. Я почувствовал, что подвиг бойца, изображенный мной, ему не показался.

Он склонился надо мной; я чувствовал его дыхание: запах ленинградского «Беломора», который мы смолили лишь по особо торжественным дням (повседневно курился «Прибой»), и кисловато-острый дух винного перегара.

Он спросил меня:

— Хочется?

Я не понял, смотрел на него выжидающе и даже чуть-чуть со страхом.

— Рисовать хочется?

Еще час назад я и не думал об этом занятии. Оно воспринималось как вид приятного, но не обязательного баловства. Но сейчас я уверовал: да, конечно, как же жить без этого? Наверное, это и есть моя судьба. Впрочем, тогда я вряд ли знал это слово, может, слышал и знал по звучанию, но не понимал его смысла.

И я сказал убежденно:

— Да. Очень.

— Тогда,— деловито проговорил он и встал,— приходи сюда в следующий четверг, в семь.

Каждый четверг мы рисовали предметы, кувшины, пирамиды, уж не помню, что еще. Помню только, что чаще всего рисовали птиц.

Святослав Степанович, которого сокращенно звали Эс Эс, вовсе не вкладывая в это никакого зловещего смысла, ставил перед нами чучела птиц (где он только их добывал?)... Некоторые говорили, что он охотник-птицелов и сам набивает чучела, но вряд ли он мог убить орлов и грифов. Да и воробья он едва ли мог убить.

Возможно, по совместительству он был специалистом-орнитологом.

Если в изображении других предметов он допускал известные отклонения и неточности, то едва дело доходило до пернатых, он становился придирчив и неумолим, требуя неукоснительного сходства.

Вначале это было любопытно, потом скучно.

Признаюсь, пернатые истуканы порядком надоели мне, и однажды я стал рисовать нечто другое, отдаленно похожее на птицу, только во сне я мог увидеть такое или в музее, где показывали вымерших ископаемых: чешуйчатое, с хищной головкой кондора, с золотым широким клювом попугая, с пестрым опереньем колибри, с голыми мосластыми лапищами страуса. Это существо виделось мне мощным, как самоходка, и стремительным, как истребитель. Военные образы не исчезали, не уходили. Чудо-птица, плод моего воображения. Я все придумывал и придумывал новые и диковинные черты. Мне так понравилась собственная птица, что даже боялся отдать ее Эс Эсу.

Обычно он разбирал каждую сданную работу в аудитории, при всех, а тут, в конце занятия, разобрав рисунки других, он бросил мне сухим, простуженно-недовольным голосом:

— А ты останься.

В студии был полупогашен свет, зловеще темнели беркуты, крылья которых походили на бурку Чапаева, таинственные приземистые совы с приплюснутыми человечьими лицами в круглых, светящихся пенсне.

Эс Эс был странен. Он расхаживал по комнате, время от времени посматривая на меня так, словно я чем-то обидел его или даже предал.

И вот теперь он не знает, с чего начать тягостный разговор.

Наконец, с удивлением глянув на меня, он произнес фразу, реального смысла которой я тогда не понял. Может, поэтому и запомнил ее навсегда:

— Так не пойдет, мой друг. Сам того не понимая, ты находишься в плену формализма.

Слово «формализм» пахнуло на меня чем-то клейким, спиртовым, наподобие формалина. Я понятия не имел, что это такое.

Он еще что-то говорил, то поучительно и спокойно, то раздраженно. Иногда непонятно, почти бормотал, иногда раздельно, значительно чеканя слова, словно не для меня одного, не мне, а кому-то, продолжал какой-то невидимый, неизвестный мне спор. Мне даже показалось, что он вовсе забыл обо мне и старается кого-то убедить, а может, и не кого-то, а самого себя. Особенно часто встречалось в его монологе слово «выкрутасы».

Его широкие скулы, с еле заметными оспинами, придававшими лицу выражение спокойствия и доброты, вдруг нервно задвигались, как лопасти.

— Ты парень не без способностей, но так дело не пойдет...

Я решил больше не ходить в изостудию.

Честно говоря, я даже радовался этой возможности: сколько времени теперь высвобождалось. Но вот прошло несколько четвергов, и стало пусто, чего-то явно не хватало, и с каким-то новым, угнетавшим меня чувством потери я старался обходить особнячок Дома пионеров, лежавший по дороге в школу.

Я видел, как в светлом помещении мои старательные товарищи рисуют зверей и птиц, машины, великих людей, а я был за пределами поля, как игрок, выгнанный за нарушение правил. Точнее, я сам покинул его.

В конце нашей улицы, впадавшей одним из ручейков в Покровку, был пивной ларек, там обычно собирались инвалиды войны — недалеко был районный собес, куда они ходили. Частенько толкались с ними ребята из соседней школы, прогульщики. Здесь иногда пели песни военные, и те, что передавали по радио, и какие-то другие, вроде бы самодельные, тягучие и почти всегда жалостливые. Меня тянуло в этот дымный, накуренный улей, где все будто бы давно знали друг друга.

Здесь я и увидел Эс Эса. Он стоял, держа кого-то за лацканы, и было непонятно, ссорится он с тем, что называется, качает права, или только разговаривает. Я смотрел мимо него, стараясь не встретиться с ним глазами, мне вовсе не хотелось, чтобы он видел меня в таком месте. Наверное, и ему было бы неприятно оттого, что я увижу его таким.

Я не учел только его зоркости орнитолога, охотника, любителя птиц. Он окликнул меня по фамилии. Я покорно подошел к нему, и он сказал тихо: «Проводи меня».

Шел он нетвердо, лицо его время от времени подергивал тик, и он с усилием превозмогал это подергивание, старался справиться с какой-то неведомой, изнутри подымающейся болью; время от времени что-то неразборчиво говорил.

Наконец мы пришли в Армянский переулок. Дворами мы подошли к подъезду его дома, долго поднимались по узким, темным лестницам.

Я сам был жильцом большой коммунальной квартиры, но такой коммуналки, в которой жил Эс Эс, я в жизни не видел. Бесконечная, перегороженная шкафами и шкафчиками, с раскладушками, невидимо притулившимися к стенам, на которые ты невольно натыкался, с едким запахом керогаза, с выскакивающими из многочисленных дверей детьми, с людьми, ждущими своей очереди в туалет.

Казалось, он с трудом ищет и не может найти свою комнату.

Наконец мы вошли в нее: маленькая комнатенка, почти без мебели, вся обклеенная рисунками, обвешанная картинами и картинками, одна чуднее другой.

Женщина с измученным желтым лицом, непричесанная, в байковом халате,— мне показалось вначале, это его мать,— грозно шла навстречу.

— Опять, опять, опять,— твердила она, цепкими руками успевая снять с него пиджак, проверить содержимое карманов, потом она так же властно, но осторожно, словно боясь повредить, приобняв, повела и посадила моего учителя на диван.

Я был так напуган всем этим, что не мог разглядеть его рисунков и картин, хотя при первом же взгляде они ослепили меня дивной яркостью, синим и золотым излучением.

Она даже не спросила, кто я, как сюда попал.

Видно, это было в порядке вещей; возможно, каждый день его кто-то приводил сюда.

— Ему это нельзя, ему это смертельно,— доверительно, как взрослому, говорила она мне.— Если б не это, его работы в лучших музеях страны висели бы, а его отчислили из института... способнейшего из всех... Из-за водки.

— Не из-за водки,— вдруг ожив, цепко-трезво глянув на меня и на нее, сказал он.

Он сидел на высоком диване, поджав худые ноги со спадающими, как у ребенка, носками, с растянутыми обручами перевернувшихся резинок. Я никогда не видел его таким жалким.

Веки его отяжелели, глаза смотрели рассредоточенно, мутно, он как бы засыпал и снова просыпался, не чувствуя, не видя никого.

— При такой контузии совершенно нельзя... это же смертельно,— по-прежнему тихо, доверительно, полушептала-полуговорила его жена.

Казалось, все успокаивается, я уже приготовился нырнуть за дверь, хотелось уйти из этой душной комнаты, из огромной квартиры. Мне было жаль, что я не разглядел как следует его рисунков, но желание освободиться, вырваться из чужой, неясной мне, больной жизни было сильнее.

И вдруг с неожиданной ловкостью он вскочил на диван и стал срывать свои картины; листы, прибитые кнопками, летели, кружась, вниз, холсты он не мог достать, они висели высоко.

— Ты что, ты что? — кричала жена, спасая то, что можно было спасти от его бессмысленных рук.

Я тоже суетливо нагибался, подымал листы, не глядя на них.

Вытянув лицо, скалясь, словно передразнивая кого-то, он произнес с мукой:

— Вы-кру-та-сы...

Еще год после этого я ходил к нему в студию. Он изменился ко мне, был ровен, приветлив и больше никогда не ругал за те некоторые отступления от натуры, которые я себе позволял.

Его замечания были конкретны, точны. Иногда он водил нас в Третьяковку, в Музей изобразительных искусств и говорил о картинах не так, как экскурсоводы, без заученных красивостей, кратко, с подчеркнутой технологичностью, все время объясняя, что нерукотворное рукотворно, а значит, созидается, делается. Он обнажал прием, но тайна не исчезала. Те картины, которые мы знали наизусть, обретали вдруг какой-то второй план, в них словно из черноты негатива проявлялось что-то неожиданное,

что мы пропустили, во что не смогли или не сумели вглядеться.

Как-то мы шли с ним к Курскому вокзалу. На вокзальной площади он остановился и сказал: «Смотри».

Вокзал светился огромным аквариумом. Люди неслись, торопились, движение их было одновременно беспорядочно и целенаправленно, как движение рыб.

— Слушай,— сказал он.— Нарисуй вокзал. Я всю жизнь мечтал нарисовать вокзал, но не получалось... Когда-то начал одну картину «Киевский вокзал. 1941 год»... Начал еще тогда, да так и не докончил.

Весной он долго не приходил на занятия. Пришел только в мае. Его трудно было узнать. Изжелта-бледный, с уменьшившейся, как бы усохшей, детской головой на такой же худенькой детской шейке. Седые густые волосы его посерели, стали прямыми и редкими.

Не помню уже, о чем он говорил.

Кажется, о портрете.

На следующее занятие он не пришел.

Это была первая смерть в моей жизни, и она поразила страшной обыденностью: администратор Дома пионеров распределял, кто понесет гроб, кто венки, кто крышку. Другие студийцы получили задание закупать продукты для поминок.

Я смотрел на его парафиновый высокий лоб, на поредевшие, аккуратно причесанные, неживые волосы и все не мог понять, осознать до конца: как же это?

Пройдет еще много лет, будут и другие потери, и всякий раз буду задавать тот же вопрос, зная, что не услышу ответа, что ответа на это нет и не будет.

Детское видение черепа, окарикатуренная суть смерти, ее школярски обнаженная тайна.

В крохотной комнатке на всю огромную коммунальную квартиру гудят поминки.

Говорят, говорят, выпивают, едят и снова говорят, и это тоже впервые, и тоже поражает меня: жевание, говорение, зеркало, закрытое простыней.

Говорят о нем так хорошо, так хвалят его, что я не понимаю — то ли они сейчас прозрели, то ли при жизни он был ими признан, но только не смог о своем признании узнать.

Висели на стене его рисунки, на другой — большой не-

законченный холст без рамы... Видно, это и была та картина, о которой он мне говорил на вокзале.

На переднем плане был стриженый новобранец; лицо странное, невыписанное, скорее цветовое пятно, только рот поющий и плачущие глаза были выделены. А сзади — еще десятки поющих ртов. А на перроне смотрели на него мать и девушка.

Этот холст, зеленоватый по тону, со светящимися пятнами лиц в сумраке, как бы темнел среди удивительных, пестрых рисунков Эс Эса, среди его полыхающих праздничным огнем натюрмортов.

Но больше всего я вглядывался именно в тот холст. Я никогда не видел т а к и х новобранцев. На полотнах того времени красовались румяные, с суровыми лицами, подробно выписанные, с оружием и амуницией парни, заговоренные от вражеских пуль.

А народ все гудел, говорил, народу все прибывало, и водки было достаточно.

И так расшумелись, разговорились, раздвигались, что некоторые рисунки посыпались со стен. Я подбирал их, клал на окно. По ним ходили, наступали на них, нагибались и поднимали, но водка притупила точность движений, и катились по полу белые листы, не давались в руки.

Куда они делись потом? Не слышал, чтоб была посмертная выставка моего учителя... Сейчас я был бы похитрее и, может, сохранил бы на память хоть один его рисунок, а тогда только подбирал и складывал на окно.

Голова кружилась от шума, от сознания того, что ни мать, ни невеста не увидят своего солдатика, своего новобранца.

И что я тоже никогда его не увижу.

Что это? Ведь только что были зоопарк и девушки на скамейке. Мизансцена эта уже позади и канула безвозвратно, и, оказывается, мы с Борькой Никитиным идем теперь от Красных Ворот к Красносельской, оттуда к Сокольникам, и это уже другой день, но, кажется, продолжается все один, в котором мы не расстаемся ни на миг, и утро в нем вяло переходит в вечер.

Обсаженная тополями улица полна юношеских соблазнов: коробы с золотыми пирожками под брезентовыми навесами, колбы с газированной водой управляются вруч-

ную, тетки под навесами суют мокрую сдачу, старенький, не типовой, как нынешний, кинотеатр «Шторм», таинственный пивбар.

Отчего так полно и волнующе это ощущение улицы?.. Оттого ли, что давно позади она? Но скорее иное, просто молодые глаза наши, помнящие разор войны, были чутки и радостно воспринимали обыденные проявления мирного быта. Ведь еще и десятка лет не прошло с окончания войны... И все же не только этим отмечалась радость неторопливой бездельной прогулки; в самой улице было то, что потом утратилось: ручная работа, а не массовый поток, многообразие, а не однотипность, конструктивистский клуб тридцатых годов соседствовал с деревянными домами, с палисадниками, лезла в небо одна из первых высоток у Красных Ворот, а здесь стояли трехэтажный ампирный особнячок — райуправление культуры, и белокирпичная церковь — хранилище овощей, нескончаемая трамвайная улица, а дальше сады вокруг Сокольнических больниц и разудалый, разбойничий, без конца и без краю лес, или, говоря по-казенному, лесопарк, имя которому Сокольники.

Сегодня я вижу его стеклянно-бетонным, геометрически расчерченным, культивированным, со множеством точек питания и торговли, с павильонами игр, с грохочущими импортными автоматами, с зонами культуры и отдыха, многолюдны его некогда диковатые, дремучие дорожки, и кажется он сегодня легко просматривающимся насквозь, сильно уменьшившимся. А тогда мы шли по его аллеям и дорожкам в постоянном ожидании чуда, которое не случилось.

Мы бесконечно рассказывали друг другу, почти исповедовались, ибо считали, что каждый должен знать жизнь другого как свою собственную.

Деревянный полупустой павильончик, портвейн и купаты, и ни слова о сегодняшнем, ведь мы еще не были окончательно зачислены и из суеверия не говорили ни слова об институте. Да и вообще казалось: сегодняшнее мало волнует нас.

Прошлое, вот что объединяло, хотя оно и было таким разным. Как это ни странно звучит, время позаботилось о том, чтобы у нас, еще не достигших двадцати, было прошлое: опыт потерь, не детский сквозной путь, а другой, в котором слово «смерть» далеко не всегда носило отвлеченный характер. Может быть, потому, что она была так

реальна, часта и близка, мы воспринимали ее как нечто впрямую связанное с жизнью. Впрочем, мы — это относится к поколению, меня же смерть пугала всегда; любая, о которой я узнавал, подавляла, казалась чем-то неестественным.

Борька же относился к этому по-другому. Но об этом я еще скажу.

Впрочем, хотя она и просачивалась в наш опыт и присутствовала в наших рассказах, ощущение бесконечности жизни было, может быть, еще более острым: вечереющий Сокольнический парк с его чудо-молодцами, слоняющимися стайками по пустым аллеям, с его чудо-девицами, белеющими кофточками на ближних скамейках, с бодрыми песнями, несущимися из громкоговорителей, с гитарным перебором и хриплыми блатноватыми голосами, с густой бесформенной стеной леса, в которой вспыхивали иногда огоньки и ощущалось торопливое движение — все это говорило о жизни, в которой нет конца.

В тот вечер Борька рассказал мне о своем немце.

Потом не раз в дальнейшем нашем многолетнем общении так или иначе вспоминал он своего немца. Этот немец стал для меня привычен, будто старый родственник, то и дело встречающийся на перекрестках жизни.

Но в тот вечер я впервые познакомился с Борькиным немцем.

Борька жил с матерью в деревне. Неподалеку пленные немцы строили железную дорогу. Мать Борьки пригоняла конвойным цистерну с питьевой водой. Часто и он увязывался с ней.

Борька любил наблюдать за немцами, то есть что значит любил? Слово «любил» даже близко не могло стоять к слову «немец». И даже не то, что было ему интересно смотреть на них, хотя он смотрел на них неотрывно,— тяжелое, ненавидящее любопытство было в его взоре. Он видел, что они люди, но он понимал, что они совсем какие-то другие люди, чем наши, что все они *страшные* люди.

Он замечал, что работали они быстро, точно, что переговаривались спокойно, деловито, и это были совсем не те лающие голоса, что были пугающе знакомы по фильмам и радиопередачам. Да и вообще, как ни хотел, он ничего устрашающего не мог найти в них, хотя и искал

все время. Усталые, мокрые от пота, в выцветшей защитной форме, они выглядели скорее измученно. Но он все время, ежесекундно, держал в голове: это они убили отца.

Он уже не вспоминал другого: дистрофиков, которых привезли в деревню для поправки, с маленькими, ссохшимися головами, коричневыми лицами, не вспоминал он и вой баб из его деревни, однообразный, жуткий, вспыхивающий то в одном, то в другом доме и тянущийся бесконечно. Это они получили квадратные извещения «Ваш муж пал смертью храбрых»... Это вошло в него с первых проблесков сознания, но не об этом он думал, глядя на них. Тогда все сузилось и сошлось на одном: они убили отца. Впрочем, не было известно, убит ли, написано было по-другому: «Пропал без вести»; и потому и мать ждала, и он, но уже война кончилась и уже все говорили, что ждать бесполезно.

Он то вспоминал, то забывал отца. Вот он сидит у отца на коленях, они пьют молоко, вот отец на комбайне, комбайн раскаляется и дрожит. Вот они на улице с отцом, слушают репродуктор. И он спрашивает отца: «Там что, человек сидит?» А отец смеется и качает головой. Помнит он и отца в гневе. Отец кричит громко, бьет по столу, так что корка прыгает, и кажется, все он разорит сейчас и порушит, а Борька лежит на печке, но не боится, знает, отец все может разорить, а его не тронет.

И помнит, кажется, даже уход отца. Отъезд в грузовике в город, помнит, как мать взобралась в кузов, как оголилось ее колено и как с высоты кузова она глянула ужасными, бесцветными глазами на Борьку, будто и она покидала его насовсем.

Отец втянул ее с силой, решительно подмигнул Борьке. И крикнул, улыбаясь: «Борька, сынок!»

Первый раз он так назвал — «сынок», обычно просто «Борька» да «Борька»: «Борька — корова!», «Борька — вода!», «Борька — подпол!»

И покатила машина, подняла пыль, уже и не видно почти, только здесь, на пустоши гармошка взвизгивала, замирала, снова расходилась, будто в истерике, никак не могла остановиться.

Еще много чего об отце помнил Борька, и мать медленно, по слогам читала ему отцовские письма, два года читала, а потом письма перестали приходить.

И вот теперь он наблюдал за немцами: переговари-

ваются, стучат лопатами, расчищают завал, греются на солнышке: люди как люди, только говор не русский.

Однажды Борька сидел у воды. Конвойный пригрелся на солнышке, вжал приклад в землю. Надо сказать, что конвойным работы было мало. Никто из немцев не бежал, да и не думал даже бежать. Были они на редкость спокойные, послушные, да и сам конвойный часто говорил: «Дисциплина у них... нашим бы такую. Работают — до упора, отдыхают — до звонка».

Подошел к ним немец, рыженький, как клоун, попросил воды. Конвойный не слышал, задремал, пригревшись, сидел на земле, чего не полагалось по уставу. Борька же обстругивал ветку. «Вассер, вассер»,— вежливо попросил немец и показывал глазами на цистерну.

Борька не хотел будить конвойного. Он сам мог дать немцу кружку, но сделал вид, что не понимает, не хотелось ему, чтобы немец пил... Незачем ему. Снова попросил немец, и вновь Борька не моргая, молча смотрел мимо светлых, словно бы больных глаз. И тут что-то отдельное от Борьки, как бы не он сам, а какая-то пружинка в нем, дернулось, и рука его сама собой потянулась к кружке. Нацедил Борька воды. Немец бережно взял кружку, тяжело дыша, ёкая, долго пил, так пьют коровы.

Он поставил кружку, кивнул Борьке и вдруг, опустив глаза, жестом попросил ветку, которую обстругивал Борька, и ножик.

От растерянности Борька дал. Немец присел, и сидел так минут пятнадцать, методично работая ножом, не разгибаясь.

Он протянул Борьке не ветку, а тоненький мундштучок для курения, только дырка была плохо вырезана: времени было мало, да нож тупой.

Но постепенно Борька стал привыкать к своему немцу. Он таскал ему картошку, а несколько раз даже и молоко, хотя немцев кормили неплохо, но Борьке казалось, что его немец недоедает, такой он худой и болезненный.

Однажды Борька раздобыл немного самогону, принес его немцу. Вольф пил самогон, пил из кружки, помаленьку, будто это было молоко.

А Борька вдруг ощутил странное беспокойство. Он встал, огляделся, увидел вдали ряды аккуратных домиков в колючей проволоке, и ему показалось, что от горизонта к нему, меж вырубленных сосен, к настилу дороги, идет отец.

Он шел четко, хотя и медленно, и, когда он приблизился, Борька увидел, что туловище у него живое, а лицо мертвое. Мертвый отец шел куда-то, жестко, прямо, не видя сына, подняв белое лицо с пустыми глазницами. Куда он шел?.. Борька не понимал, отец шел мимо, не видя. И сзади будто бы шел кто-то с оружием, почему-то Борьке показалось, что это его немец. В сознании его вдруг стало все двоиться. Сидящий на теплой земле с кружкой Вольф, и тот немец, что шел вслед за отцом, и спокойный теплый ветер, и запах пригретой сосны, и какой-то другой, мерзлый ветер, обдающий смертельным ужасом, лицо отца с проваленными глазницами, неузнающее, чужое... И вдруг Борька закричал дико, тонко, так что немец, испугавшись, вскочил, расплескав драгоценный самогон.

Борька с ненавистью изматерил его как умел, немец, не понимая в чем дело, приблизился к нему, с круглыми участливыми глазами, как врач к больному.

Борька с силой оттолкнул его, метил в грудь, а попал в живот, и немец от неожиданности сполз на землю. Борька побежал от него, сзади он слышал его прерывающийся и участливый голос, что-то бормотавший по-немецки.

И вдруг Борьку оглушил выстрел. А потом он услышал крик.

И остановился как вкопанный. Прямо на немца с автоматом бежал конвойный. Вольф неподвижно сидел на земле, и Борька подумал, что он убит. На руке у него, действительно, была кровь. Борька сорвал с себя рубашку, бросился к Вольфу, разорвал рубашку и пытался обвязать ему руку.

«Назад»,— приказал конвойный. Теперь конвойный стоял между ним и немцем. «Встать»,— рявкнул конвойный.

Немец сначала не шевелился, а потом привстал, он затравленно озирался, ничего не понимая.

Он не двигался, то ли боялся подняться, то ли был ранен.

От страха Борька забыл даже имя немца.

— Ты что? — испуганно причитал Борька и сам опустился на землю.— Это я,— заплакал он.— Это я... Он — ни при чем.

Он смотрел на немца и переводил взгляд на конвойного. Уж кто-то бежал к месту происшествия. Рука немца была оцарапана пулей, а сам он был оглушен.

После этого случая Борька долго не приходил на стройку, где работали немцы. «Теперь,— думал он,— и не пройдешь. Теперь и не подпустят». Да и идти ему не хотелось.

Приходил из школы, пригонял корову, распиливал с матерью бревна, клал вместе с нею настил на земляной пол, а ночью, когда мать засыпала, в дымном, косматом свете керосинки он малевал что-то на бумаге.

Мать, пригревшаяся на печи, пугливо просыпалась, привставала, сквозь разводы копоти видел он белое, тревожно метнувшееся пятно ее лица: «Это чё, почтальон?» — всхлипывая со сна, бормотала она.

И так уже не первый год снился ей ночной почтальон. Что он ей приносил?

— Да не почтальон никакой,— нарочито буднично, даже ворчливо, будто ребенку, говорил Борька.— Ты спи-ка.

Она засыпала, а он все сидел и рисовал.

Чем больше сидел, тем меньше хотелось спать.

Мать, бывало, снова просыпалась и смотрела слепыми, непонимающими глазами, спрашивала испуганно: «Ты чё? Ты чё?»

— Уроки, мать,— говорил он, и она успокаивалась, затихала.

Он рисовал домики и хатки, коров и лошадь на водопое, и получалось даже похоже. И еще, наподобие немца, он рисовал старинные замки и диковинных охотников в шляпах. Но иногда вдруг охотники превращались в обыкновенных солдат в гимнастерках, а башенки старинных замков в круглые, врытые в землю доты.

Вновь и вновь рисовал он солдат, идущих в атаку, бегущих и лежащих на земле. Живых и мертвых. Иногда ему хотелось нарисовать своего отца. Вроде бы он и помнил его лицо, но недостаточно для того, чтобы его изобразить, да и лицо это все время менялось, то оно было молодое, то старое, то отец как новобранец был стрижен ежиком, то как вечный странник оброс седыми волосами и бородой.

Он не хотел срисовывать с маленькой карточки, висящей на стене. Там отец в белой рубашке обнимал за плечи мать. Видимо, они только что поженились.

Он нашел еще несколько фотографий отца, они лежали в брошюре, посвященной XVIII съезду ВКП(б). В брошюре многие строчки были подчеркнуты отцовским ка-

рандашом. Отец Борьки был человек грамотный, комбайнер, партийный, и у него было много таких книжечек в мягких обложках с густым серым шрифтом и с профилями Ленина и Сталина.

А на фотографиях, где был снят отец, он всегда смеялся, а глаза напряженно смотрели в аппарат, будто ждали, что из него птичка вылетит.

Немцев расконвоировали. Иногда они забредали даже в деревню. Говорили, что их скоро отправят всех домой, в Германию, и они будут строить новую жизнь. Борька нашел своего немца и показал ему рисунки. Тот внимательно посмотрел, тонким точным пальцем показал, где неверно, где нарушены пропорции, похвалил лошадок и замки, а увидев военные рисунки, нахмурился и сказал:

— Зачем это? Надо забыть. Я хочу забыть... Ты хочешь забыть. Рисуй дерево, корова, лошадь, рисуй деревня, а криг — нет.

Он провел ладонью по горлу: «Вот она где, война!»

Вскоре немцы стали партиями уезжать. Кончился их плен. Вольф взял адрес Борьки и написал ему свой адрес.

Было непонятно, радуется он тому, что должен вскоре освободиться, уехать на родину, или нет. Другие весело ходили, разговаривали, лица у них были румяные от возбуждения, будто они крепко выпили. А Вольф ходил тихо, лицо у него было жалкое, болезненное, может, его никто не ждал. А может, он просто скрывал свои чувства, а может, из суеверия, боялся сглазить.

И вот посадили их на грузовики, вот расселись они, чинно, аккуратно, помахали ручками, а деревенские в ответ — тоже, будто и не немцы уезжают, а какие-то постояльцы здешние, может, сезонные рабочие перекантовываются на новые места.

Старик один, дядя Борькиной матери, сказал:

— Во время войны уж каждого бы как гниду давил, а опосля войны все и ослабло... Работные мужики, что есть, то есть.

Борька вспомнил, как немец учил его перерисовывать на пленку цветы и зверей, а с пленки сводить на материю.

— О это... всегда есть рубль, есть марка. Малер — всегда рубль. Всегда кормить. Кисточка — всегда кормить.

Года через два пришел к Борьке почтальон, говорит:

— Письмо тебе. Из Германии. Из ихней демократической республики. И посылка. Так что распишитесь.

Борька торопливо разорвал посылку и увидел: блестящие яркие тюбики, и сразу понял: краска. И фото. Немец Вольф в Доме отдыха. Стоит у красивого двухэтажного домика и смотрит. Лицо пополневшее, а взгляд задумчивый. И непонятно, доволен он жизнью или нет.

И записка на русском, с ошибками, но понять можно.

Старательно писал, сообщал, что работает на конфетной фабрике, вернее в тресте конфетных фабрик, делает эскизы рисунков к конфетам. Еще он писал, что «немного рисоваль для себя и однажды даже выставиль на выставка свободных немецких художников картину «Русский подросток». И фотография с картины: белокурый мальчик, одновременно напоминающий ангелка и Борьку.

Сообщал свой подробный адрес в Германской Демократической Республике и приглашал «друга послевоенных лет» посетить его.

А вообще неплохо бы посетить. Но в то время частные приглашения не имели силы. Так и не побывал Борька в Германской Демократической Республике.

Еще тогда, когда мы не были даже студентами, всего лишь абитуриенты, приготовишки, с первых дней знакомства, меня удивляло в Борьке, таком же юном, как и мы, спокойное приятие не только жизни, какой бы она ни была, со всеми бедами и отклонениями, но и смерти. Из тех же первых вечеров остались в памяти отрывочные его рассказы о том, как заболела мать и как он работал в райцентре на кладбище художником, делал из пластмассы, из эмали портреты усопших на памятниках.

Мне казалось, я не был бы способен на такое. В его же устах слово «покойник» было таким же обычным и вечным, как «новорожденный», как «урожай», «покос», оно было для него одним из явлений жизни, для меня же, например, оно стояло над жизнью или после жизни и потому отталкивало.

В ту пору своей жизни я проводил навсегда только трех людей: учителя рисования, Калинина и бабушку.

Калинин был первым. Мы, дети, малолетки, знали, что он не просто Председатель Президиума Верховного Совета, но и Всенародный староста, и его любовно звали «дедушка Калинин». Именно таким он и виделся на портретах: худой старик с добрым взглядом и острой бородкой. И еще мы запомнили его по кадрам кинохроники.

Он вручал ордена. Улыбался и что-то неслышное нам и, очевидно, приятное им, награжденным, говорил.

Когда он умер, мы с бабушкой стояли в долгой очереди в Колонный зал.

Часами двигалась эта бесконечная очередь. Люди шли, тихо переговариваясь, кто о дедушке Калинине, кто о чем-то своем, повседневном. Я же мысленно представлял — себя в январе 1924 года, черный дым на белом снегу, я — частица бесконечной, осиротевшей толпы.

Те давние похороны обжигали меня несправедливостью потери. Сегодняшние же были данью уважения; Всенародный староста был болен и стар, и, увы, срок его пришел, а т о т казался живым даже сегодня, и под тонкой стеклянной пленкой саркофага его грудь будто бы вздымалась... «И красный орден на груди».

И здесь, в Колонном зале, в этой торжественной толпе, я словно бы шел не только к дедушке Калинину, но и к нему.

Мрамором и алебастром светились таинственно стены, отражались огни в них, словно во льду, и вдали, в горе цветов и зеленых листьев желтел профиль с задранной вверх бородкой.

Пахло хвоей, запах этот для меня навсегда стал запахом проводов, часовые стояли как железные, не дрогнув ни мускулом, не моргая, горели игольчатые кончики штыков.

А бабушку мою отпевали в церкви... Измученное, желтое, такое родное лицо. Отпевали, а я слышал ее голос: «сынок, пора домой... сынок, обедать... сынок, за уроки».

Я был для нее «сынок», а не внук.

И свежая земля, стук, это потом, на кладбище, и все гуще эта земля, навсегда зарывает. Моя бабушка уходит в землю, в корни, коряги, в черные, отрезанные лопатой ломти чернозема.

А вдали еще люди, конвейер бесконечен, мелькают венки, чужие рыданья слышатся, а здесь так быстро вырастает холм, слишком большой для моей маленькой, такой живой, непривычной к неподвижности бабушки.

Мороз обжигает легкие и сводит грудь, и возникает неслышный, но что-то облегчающий, освобождающий свинцовые легкие крик. Может быть, в нем все то же изумление, непонимание того, что следует понять, того, что я потом, через годы пойму, а может, и не пойму никогда: как? за что? н а в с е г д а.

Борька со всем этим был знаком почти с детства. Он рисовал иконки и продавал их в церкви, как батюшка велел. Батюшка все тянул Борьку в церковь, а Борька много помогал ему; батюшка говорил со значением: пойдешь учиться туда, и показывал куда-то пальцем. Это было трудно — поступить «туда», но он обещал помочь Борьке.

В гулкой сумеречной пустоте Борька рассматривал древние лики. Но батюшку ему неинтересно было слушать, батюшке он не верил. Батюшка говорил одно, а делал другое. Батюшка и любил другое, это Борька точно чувствовал нутром, и когда люди стояли в очереди, а батюшка их миррой мазал, то Борька слышал не только благовонный, душный, терпкий запах, но и запах перегара из батюшкиного рта и слышал не тихий шелест: «Прости и помилуй», а грубую ругань, что извергал батюшка днем на служку, да и на жену свою.

Нет, сильно отрезвил батюшка Борькину душу, хотя и хотела Борькина душа очищения и праздника.

А когда один стоял Борька в церкви и боковой свет, ломаясь, сочился вниз, в нем плавали мириады пылинок, то виделись они ему не пылинками, а живыми существами, плывущими раскинув крохотные руки, и среди них, может быть, плыл его отец и те, кого срисовывал он с маленьких фотографий для кладбищенских памятников.

Матери его не нравилось, что он зарабатывает такой работой, что, по сути дела, не учится, целый год он не ходил в школу, но разговоры о том, чтобы отдать его в другое место, оставались разговорами.

В конце концов повезла она его в другой город, где был интернат, да еще с художественным уклоном, таких великовозрастных туда не записывали, но у матери был такой больной и несчастный вид, она так плакала и говорила, что Борька вскоре останется сиротой, пропадет, что в конце концов директор, бегло глянув на его рисунки, дал команду зачислить Борьку.

Так Борька очутился в интернате с художественным уклоном.

И непонятно было по его рассказам, хорошо ему там было или плохо. Вроде и не бывает в интернатах хорошо, но иной раз послушаешь Борьку, так такие чудеса там творились, такие ребята были рядом, так замечательно они лепили, рисовали, так хорошо их учили, что прямо из

интерната можно было их зачислять в художественный институт или куда еще.

Но однажды Борька признался, что жили там в основном дети алкоголиков, что педагоги все время менялись, а в родительские дни лишь немногих забирали домой.

Некоторые все ждали, слоняясь по коридорам, выглядывали в окна, говорили возбужденно: «Сейчас мой приедет».

Но не ко всем и не всегда приезжали.

Уже в институте Борька показал мне жанровую картинку «Ожидание».

Стриженый мальчик расставил шахматные фигуры-гиганты, такие бывают в парках культуры, в детских садах, были они и здесь, итак, огромные, нелепые фигуры, маленькая, стриженая голова с тонкой шеей спряталась между фигур и пешек, он смотрит в окно. Там последняя мать увозит последнего ребенка на каникулы. Булыжная мостовая, уходящие женщина и ребенок.

Вот такая картинка. Мне запомнилось лицо маленького мальчика меж странных людей, коней, пешек; улыбка, уже гаснущая на губах, но еще подсветившая глаза.

Переход улыбки во что-то иное, чему и название трудно найти.

Может быть, обида, может быть, отчаяние, словом, не определишь.

Если б можно было определить словом, то рисовать незачем.

Борьку как-то особенно трогало одиночество детей.

Город этот, где поселился Борька после института, мы знали не хуже собственного района, собственной улицы. За эти-то годы сколько раз наезжали сюда. Одно время Борька был чуть ли не главным художником районного управления культуры. Мы еще дразнили его: «Ты — Главный, а Репин да Суриков — просто...»

Город был невелик, мы знали здесь каждый магазин, где продавалось «горючее», а в местном ресторане «Сосновый бор» каждого официанта, который за рублик (это раньше-то за рублик, а теперь за трешку, да и то в виде одолжения) выносил нам в полночный темный час заветную бутылку.

Бывало, я оставался у Борьки по нескольку дней, работал в его мастерской (коллективной, одна на трех городских художников, двое, впрочем, почему-то всегда отсутствовали). А иногда я без дела ходил по улицам города, или городка, по сравнению с Москвой он и был городок, этим и притягивал к себе.

Сравнительная близость Москвы чувствовалась. Сюда добирались московские грибники, в Москву — здешние колбасники. Со снабжением здесь было неважно, и заводы оформляли экскурсионные автобусы в Москву за продовольствием... «От Москвы не убудет»,— говорили местные шофера.

Борька приезжал в Москву редко.

Он полюбил этот город, привязался к нему, и действительно, был свой неистребимый, влекущий дух в крепких, еще дореволюционной кладки приземистых домиках, иногда со скупым бедным декором, а иногда и с колоннами, с мелкими, изящно вылепленными оконцами, сохранился здесь и гостиный двор, где были магазинчики, пусть с небогатым выбором, но зато с нестандартными немосковскими названиями, один назывался «Сукно-аршин», верно, на переломах истории его так и забыли переименовать. Да и в местной фотографии было что-то неизбывно провинциальное, домашнее, казалось, весь город как выпускной класс, усажен перед домашним объективом.

Вставали в ряды и новые дома, и люди переселялись в них с радостью, жить там было удобнее и просторнее, но лик города определялся все же этим старым центром.

Конечно, последние годы дела и заботы брали свое, я наведывался сюда реже. Тем более радостен был мне этот город, я возвращался сюда почти как на родину, внимательно подмечал все перемены в нем. В планировке новых районов, которые все расширяли город, я искал хоть какую-то перекличку со старым городом, пусть хотя бы в цвете, в повторении архитектурных мотивов старого торгового центра, в новой площади, тоже магазинно-торговой, окруженной бетонно-стеклянным многоэтажьем... И так придирчиво я всматривался во все это и сопоставлял, будто мне жить здесь всегда.

И если попадалось мне где-нибудь название города, или что-нибудь писали о нем, читал с пристрастием, так чужак читать не станет.

В первые годы, особенно после некоторых событий, происшедших в Борькиной жизни (о них будет расска-

зано позднее), мы изо всех сил вытаскивали Борьку в Москву, поближе к нам. Возможности такие были, но вначале он колебался, то отказывался, то был уже близок к переезду, хотя и с сильным внутренним сопротивлением, а потом неожиданно для нас женился здесь, и когда жена что называется уперлась, он не стал уговаривать ее переезжать.

Согласился. Даже мне показалось, с легкостью, с радостью внутренней, оттого что выбор уже сделан как бы без него и вариантов нет. Человеку ведь иногда легче без вариантов, без выбора. Хотя на самом деле решение, и видно давно,— принял он сам.

Не приводил он затасканные доводы о суетности московской жизни, такие доводы нередко слышал я от периферийных коллег, иногда бывали они искренни, иногда отдавали кокетством, ибо, чего греха таить, суетность не масштабами города определяется и даже не его ритмом. Сколько суетных было и в провинции, а не суетных — в Москве. И сколько осуждавших эту самую суетность с удивительной непреклонностью, буквально изнемогавших в краткой командировке от тоски по своим покинутым далям, с легкостью, как только предоставлялся случай, перебирались в столицу, в ту самую губительную суету, и обнаруживали недюжинную способность к данной суете приспособиться, раскинув маленький шатер на мостовых белокаменной.

В отличие от них Борька не ругал Москву за суету. «В нас самих суета»,— говорил он. Он любил ее и знал, как немногие москвичи.

Мы с ним взад и вперед исходили любимые наши улицы. Впрочем, любили мы разное. Моими была Покровка с Чистыми прудами, Замоскворечье и, как у всех коренных москвичей, конечно, Арбат.

Я любил старую Москву, но мне было все равно, что XVIII век, что XIX, все это и была для меня старая Москва, даже мой Машков переулок с домом, построенным в конце XIX века, воспринимался как старое.

Борька же любил более глубокую старину, в те времена она была крепко забыта, улицы переименовывались, некоторых мемориальных досок, что сейчас появились, и в помине не было — Москву надо было узнавать ногами, общением со старыми, все помнящими москвичами, сидением в библиотеках над старинными планами и пожелтевшими справочниками. А Борька знал многое: от Фи-

диппьевской церковки XVII века до Малого Палашевского переулка. Мне, например, этот Мало-Палашевский переулок мало что говорил, и от Борьки я узнал, где-то он это вычитал, что здесь, в том же семнадцатом, проживали палачи. И уже переулок воспринимался по-другому. Теперь он виделся мрачным, бывшее гиблое место, хотя, как выяснилось, палачи жили здесь не настоящие, они не убивали насмерть, а только кровавили неисправных должников кнутом или батогами.

Но одно дело пребывание, другое — житье.

Вероятно, и к Москве бы он привык и отлично приспособился. Он и думал одно время о переезде, а потом отказался, и тогда мы отстали от него с этим, да и верно, иная была его судьба...

И не привычка, не самовнушение были тому причиной, не даже некоторая «гордость провинциала», которой Борька иногда козырял, может быть, просто из духа противоречия. Я раньше других перестал его убеждать в том, что столица «даст ему большие возможности для творческого развития».

Более того, я сам иной раз завидовал ему. Я приезжал сюда нередко, и потому знал его здешнюю жизнь, отлично понимал, что она не безоблачна, что масштаб города ограничивает его, что на маленьком пятачке гремят свои страсти, часто так далекие от художества, и отстраниться от них труднее, чем в большом городе.

Нет мира ни под оливами, ни под березами, если нет его в нас самих. И все же маленький клочок земли, районный город, был *его* городом. А он был его художником, его мастеровым, а не одним из несметной рати. Доводящий до изнурения ритм, к которому я привык как к норме, пугал моего друга, и, может быть, он был прав, что месяцами не вылезал отсюда, несмотря на все наши призывы.

Городок спасал его.

Но у меня не было своего городка. У меня был только этот, гигантский, летящий куда-то город, с его все разрастающимися пространствами, с ежедневным землетрясением, но я родился в нем и не мог судить как чужой. Мне казалось, я знаю его, хотя знать его было почти невозможно, так он был разнолик, разнопланов, из стольких разных городов состоял; я изнывал, уставал от него и, убегая, ускользая, вновь ощущал его необходимость и, возвращаясь, испытывал счастье; здесь, в этом великом

многолюдстве был *мой* дом, и, хотя улица, где я родился и весь район менялись и менялись, все более отдаляясь от облика старой Москвы, все же память о ней и атмосфера, которую когда-то она воссоздала, были моей почвой, а все остальное — местами пребывания, Домами для приезжих.

Борькин же дом был в этом городке, далеко лежащем от его отчего и материнского дома, но чем-то, вероятно, хотя бы самой малостью, напоминавшим его.

Часто он ругался и говорил, что жить здесь невозможно, что мы, московские, не понимаем здешней жизни.

И все же, очевидно, именно она была ему необходима.

Мы встретили его неподалеку от дома.

Вернее, я даже не увидел, а скорее почувствовал, что это он.

В довольно густой неспешной субботней толпе, курсирующей по торговой улице, от гастронома к хозтоварам, казалось, мелькнула его фигурка, а может, просто похожая на него, и растворилась, исчезла.

Я обернулся к Сашке и сказал: «Ты видел?»

— Да, кажется, он. Вынырнул как черт из табакерки и пропал.

Меня вдруг охватило странное ощущение: что это уже было, что когда-то, где-то в другом городе, в другой толпе, в другой реальности вот так же точно я увидел вдали своего друга, но не успел даже окликнуть его, позвать, как он исчез.

Какие у него были волосы, цвет глаз?.. Такие же, как всегда, светлые, почти льняные. Впрочем, они потемнели и словно бы огрубели, стали жестче, золотистый лен побелел под дождями, под белой известковой пылью жизни, даже не побелел, а посерел.

Где-то это уже было или будет: мелькнула голова в толпе, мгновенный промельк лица, и ты ищешь, ищешь — и не находишь. И теперь уже не найдешь никогда, а будешь только вылавливать по крупинкам, складывать, вспоминать.

Впрочем, он так любил: появиться и исчезнуть...

Странно, что с самого начала нашей дружбы было предощущение разлуки...

Мы неторопливо шли к его дому, и уже в который раз я отмечал отличие здешней толпы от столичной. Она не

летела, не рвалась куда-то, а именно гуляла, возможно и не бездельно, с заходами в магазин или в палатку, а может, вовсе на рынок, но именно это была гуляющая толпа.

Шли, узнавали друг друга, беседовали неторопливо, покупали разные товары, чем бог послал или местные снабженцы и конечно же оживлялись именно в том отделе, где постепенно исчезала с прилавков, таяла, нарядная, как новобрачная в фате, и такая же горделивая и чистая, «Пшеничная» водка.

И даже здесь, в преддверии радостного дара местных снабженцев, люди не теряли голову, не отталкивали друг друга локтями, не бились насмерть за свое место под солнцем. Спокойно и благородно стояли они в очереди, ибо каждый знал здесь другого и неудобно было суетиться и лезть вперед.

Мы тоже сделали полезное приобретение и пошли дальше, мимо каких-то самодеятельных торговых точек, вокруг которых время от времени вскипали небольшие водопады любопытствующей и заинтересованной толпы. Но и здесь она проявляла достаточное терпение. А продавали здесь самодельные календари на холсте или сумки из мешковины с портретами различных певцов от Аллы Пугачевой до Доссена и битлов.

Там же продавали столь сладостных в далекие послевоенные годы леденцовых петухов, насаженных на дощечки, раскрашенных анилином жар-птиц и медведей.

Вот именно здесь, между двумя маленькими водоворотами любопытствующей толпы, покупающей самодельные изделия частников, мы увидели уже в ясной реальности, как бы в стоп-кадре, нашего друга.

Был он издали суров, стоял в раздумье, в руке портфель, наполненный, возможно, до краев книгами, альбомами, пособиями. Походил он издали, и это было совершенно неожиданное сходство, на чрезвычайно делового человека, спешащего на совещание, только лохматая и какая-то излишне легкомысленная кепка и торчащая в углу рта сигарета придавали ему странное залихватство и наводили на сомнения. Следующий, более внимательный и углубленный взгляд, охватывающий всю фигуру в целом, замечал и странные плоские ботинки — лыжные, не по сезону. Взгляд этот вбирал и совершенно не подходящие уважающему себя работнику матерчатые штаны, нечто среднее между джинсами местного пошива и домаш-

ними брюками, да и сам портфель, важный, деловой, буквально лопался от напряжения, и кожаные его челюсти разомкнулись, оттого что заполнен он был, увы, не книгами, не альбомами, а, судя по всему, бутылками да снедью.

Вот он увидел нас, ухмыльнулся, погасил первый блеск и первый порыв, посмотрел вниз, никаких объятий, никаких слов; вот глаза поднялись, не голубые, как всегда, а серые, почти бесцветные в сероватом бесстрастном свете дня. Лицевые мускулы как бы зажали радостно расползавшуюся улыбку; почти безразличие, мол, приехали, ну что ж...

Я знал — это своего рода самооборона, не любит, не хочет открываться, так или иначе обозначать свое одиночество... Впрочем, непроизвольная игра эта длилась недолго, Борька улыбнулся нам, сразу став моложе и легче, тяжелый портфель словно бы отлетел от него, и чем-то, может быть, совсем отдаленно, он был похож на немного обрюзгшего, слегка постаревшего Сергея Есенина.

Уже на подступах к квартире, на лестничной площадке стоял острый, перцово-луковый, очень домашний и теплый дух. И мы сразу поняли и узнали: пельмени. Фирменные Екатерины Ивановны пельмени, пельмяши, как ласково называл их Борька Никитин, ценивший несколько радостей бытия, в том числе и вышеназванные домашней ручной работы, вылепленные из тонкого теста пельмени.

С тех пор как Катя появилась в его жизни, появились и непременные в день рожденья пельмени: символ определенных традиций, прочного домовитого образа жизни.

Впрочем, никто из нас с днем рожденья Борьку не поздравлял. Мы знали, что он не любил этого: не поздравлений, а осознания нового возраста. Глядевший правде в лицо гораздо беспощаднее, чем мы, в этом он был суеверен и уже с молодых лет темнил, сбавлял себе пару годочков, тем более к тому был повод, неточность в метрике. Но дело не в неточности. Просто он суеверно боялся, особенно с годами, этих цифр, все настойчивее округляющихся, вообще он острее, чем другие, чувствовал в р е м я: переход из одного времени в другое, оконченность, завершенность какого-то этапа в жизни, определенность ее рубежей, реальное для самого себя ощущение ее будущего, может быть, недалекого конца. О смерти он говорил спокойно, не видя в ней или притворяясь, что не видит, тра-

гедии... Только одна смерть навсегда потрясла его. Он не любил знать наперед своего будущего.

Однажды в Институте, в Ростове, куда добрались из Гремяченского района с первой своей практики, мы взяли у ребят из железнодорожного техникума проездные удостоверения. Мы дико хохотали, потому что по их удостоверениям у нас у всех были новые и очень странные фамилии, я — Сперанский, Сашка — Папа-Лазариди, а Борька — Б. Херц. Мы тут же окрестили его: Боб Херц. Под этой кличкой он у нас долго ходил. И вот там в поезде окружили нас назойливые и агрессивные ростовские цыганки.

— Дай руку, миленький, погадаю.

Колдовали они недолго, сделав быстрое заключение об успехах в жизни, в любви, в женитьбах, о длительности жизни. У всех выходило в общем неплохо. Особенно с любовью. А у Борьки особенно. Ему выпала исключительно счастливая планида.

Но вот молоденькая, с нагловатыми, быстрыми и, как нам казалось, необыкновенно прозорливыми глазами цыганка, подержав на весу Борькину ладонь, как врач, и перечислив все ждущие его удачи, вдруг с легким удивлением запнулась и, запнувшись, молвила, еще раз с недоумением очертив взглядом его ладонь:

— Линия жизни...

— А что? — тревожно спросил Борька.

— А то,— сказала цыганка.— Живи, да не печалься, заработай себе пети-мети, гуляй, ни о чем не думай... Спеши, милый.

Борька ей даже монетку не захотел дать. И только когда она так насупилась, что казалось, вместо недомолвки прорвется такое пророчество, от которого бедному нашему другу не будет ни сна ни покоя, бросил ей монетку.

Но был растерян и расстроен надолго.

Тщетно убеждали мы его, что припугнула на всякий случай, догадывалась, что может не заплатить за гадание, знает его слабость, не любит швырять денег на ветер, прижимист малость.

Но это не успокоило его. С тех пор, насколько я знаю, он не подвергал своей судьбы никаким сомнительным прогнозам, и даже в лесу, когда неожиданно вступала кукушка, четким своим голосом безразлично и монотонно куковала — он говорил нарочито громко, хохотал, чтобы только заглушить ее, не слышать, не любил он этого счета.

И сегодня, вытаскивая подарок, мы не говорили о поводе, будто просто так уставлен был стол бутылками да грибами.

А стол был красив. Тарелки с пирогами, сквозь плоть теста выглядывает, лохматясь, капуста, желтоватая от яйца, другие пироги с черной прослойкой грибов — след здешних грибных прогулок, след Борькиного охотничьего азарта, ведрами он таскал грибы, не из жадности, из любви к искусству.

Ничего на столе, казалось, кроме водки, не было фабричного, а все свое, соленья, сушенья, варенья, и не с участка, никакого участка у них не было, а из окольных лесов, дары земли — стол заядлого грибника, рыболова, стол женатого человека, у которого женщина знает толк в яствах и может выставить на стол гостям пельмени, сработанные на диво, по всем правилам и чуть-чуть по-своему; нигде я не ел таких замечательных пельменей.

Она вышла поздороваться, улыбнулась приветливо:

— Что-то давно вас не слышно, забыли, забыли дорожку.— С укором посмотрела на меня: — Не то, что раньше... Э-э, ребята.

Подняла всю в белой муке руку в знак приветствия. Затем вновь вернулась на кухню, я следил за ней: пальцы снова заработали, как бы автоматически закатывая тонкие листы теста, заполняя их чем-то пахучим, теплым, легко и ловко придавая этому бесформенному месиву точную, единственную форму, словно белые, крохотные лебедки, прижав к спине шеи, выплывали и строились в ряд.

Я смотрел на это с восхищением. Любое умение в какой-то своей стадии становилось мастерством и приводило меня в восторг.

Я был как-то в одной арабской стране и стоял у лотка уличного продавца. Тот обжаривал мясо, срезая жир. Я смотрел, как работают его тонкие, загорелые, грязноватые пальцы, как гигантским ножом обрезают, точно полируют, кусок мяса. Мне не советовали есть у уличных торговцев, но так красиво было, что я рискнул.

За его искусство я готов был заплатить болезнью, чем угодно. Это было не приготовление пищи, а нечто иное, гораздо более важное, более близкое к совершенству. Зачем, во имя чего? Чтобы, мгновенно обжигаясь, перемолоть зубами, насытиться... Уличный торговец об этом не думал. Именно так ему было надо, так делалось из века в век. Так было красиво, таков был обряд.

Но обряд обрядом, а мы были голодны с дороги и этот как бы с неперевязанной ленточкой стол, открытый на обозрение, стол-натюрморт, начал слегка тяготить нас, и мы жаждали к тому же припасть к чаше.

— Сейчас, сейчас, еще немного,— улыбалась Екатерина Ивановна.

Она казалась сейчас очень уютной, даже миловидной в своем фартуке, тонкий черный свитер скрадывал ее по-мужски широкие плечи.

Почему-то мы всегда называли ее по имени-отчеству, Екатерину Ивановну, жену нашего друга. И ведь не в шутку. Может быть, когда-то вначале это произносилось с оттенком иронии, а сейчас вовсе нет.

И ведь была отнюдь не стара, а все же не Катя. Что-то не давало нам даже в шутку перешагнуть это расстояние.

Сейчас она была приветлива, и радовалась нам, и, видимо, ждала нас.

В былые времена она встречала нас совсем не так, никогда не давала себе труда скрыть отчуждение, неприязнь.

Впрочем, это был трудный период в Борькиной жизни. Ему не работалось — это было как болезнь,— и тогда он становился отчужден, груб, мрачен, между нами возникала стена. И именно в эти периоды у него обострялась язва, лицо серело, он старался не выдавать своих мук, и знаки участия, сочувствия вызывали в нем тихую ярость.

Видимо, от этого она так настороженно относилась к нам, да, верно, и не только к нам.

Но когда я приехал сюда и буквально силой потащил Борьку на этюды на здешние озера и простудился жестоко, опасно, заболел двусторонним воспалением легких, она ходила за мной как за малым ребенком, безропотно, молчаливо, с необыкновенной умелостью ставила банки, категорически не велела звонить в Москву, пугать моих близких.

Вот наконец Сашка поднялся с бокалом, стал говорить что-то пространно и несколько витиевато, рюмки с холодной водкой стыли в наших руках, звучал его монотонный голос: «Мы верим, что ты будешь счастлив, богат, знаменит».

— Впрочем, счастлив ты и сейчас...— добавил он и посмотрел на вспыхнувшую под его взглядом Екатерину Ивановну (она и в хорошие и в плохие минуты не умела скрывать своих чувств),— ...живя с такой верной, доб-

рой...— он снова со значением посмотрел на нее,— ...и красивой женой...

Она потупилась, запунцовела, что-то неистребимо детское появлялось иногда в этой не такой уж юной женщине.

— Мы знаем, что ты будешь богат и некоторые музеи будут драться за твои работы.— (Тут уж Борька поморщился. Последнее время он стал болезненно относиться к этой теме.) — Впрочем,— продолжал Сашка,— кто надо и сейчас знает Борьку Никитина, а кто не надо узнает позднее. И потому — ура!

Под дружный вскрик хорошо пошла холодная водка, уже ничего не хотелось говорить, дымились и таяли благородные сибирские пельмени.

Все шло хорошо и славно, только время от времени Борька посматривал на дверь и хмурился.

Не было еще одного человека, чье присутствие здесь было обязательным. Не было Егора, ученика Бориса.

Для Бориса он был не просто свой человек в доме, а как бы сын. Точнее, пасынок, потому что отец у Егора был.

Наконец он вошел, запыхавшийся, с диковатинкой в растерянных глазах. Казалось, он долго убегал от кого-то и вот наконец добрался до дому.

Борька встал ему навстречу, снял с него курточку; напряжение и диковатость ушли из глаз, Егор знал нас, в нашем присутствии чувствовал себя свободно.

Напряжение спало и с Борьки, и с его жены, мы выпили, нас потянуло к воспоминаниям. Вспомнился почему-то сухумский ресторанчик «Рица», странная наша авантюра: ушли, не заплатив. Впрочем, какое там — «ушли».

Выскочили, выпрыгнули с высокого первого этажа из распахнутого окна. Первый был Сашка — самый неловкий, он, качаясь, стоял на подоконнике, прежде чем решиться, затем спрыгнул я, затем «рыбкой» сиганул Борька на глазах у изумленного зала.

Бежали врассыпную в чернильную тьму парка, слышали несущиеся вдогонку крики, а затем и милицейская трель резанула и стала нарастать все круче и ближе. Потом потеряли друг друга.

Зачем это было нужно нам? Детский хулиганский авантюризм? Откуда берется эта неслыханная глупая смелость? (Почти в центре города выпрыгнули из ресторана, втроем.)

И не только, видимо, авантюризм наш или изначальная тяга к озорству причиной тому инциденту.

Верно, и оскорбленная гордость. Ведь как пришли мы: трое студентов в ковбоечках, по первому же взгляду ясно — без денег. Официант презирал нас, смотрел свысока, как на людей второго сорта, обслуживал небрежно.

И действительно, среди состоятельной публики в нарядных белых костюмах, средь сынков в узеньких брючках, приехавших тратить родительские деньги, средь столь любивших этот город торговых работников, отдыхавших от зимних трудов, средь рыночных воротил, столь скрупулезно отсчитывающих мелочь на базарах и швырявших сотни здесь,— мы были несчастными жалкими бедняками, заслужившими нищенский салат, с немытыми, прямо в комках земли помидорами.

Вот тогда-то мы и решили отомстить за пренебрежение.

Прекрасное воспоминание, прекрасный хмельной вечер.

Опадавшая под ногами галька, тьма ночных пляжей. Побег, тревога, происшествие, юношеская лихость, ощущение безнаказанности, путь по безлюдному Бесследскому шоссе, холод родниковой воды, млечно белеющая на взгорье наша сакля, в которой снимали комнату вдвоем с Борькой (Сашка жил в городе у родственников)...

Да, вот мы входим в этот уснувший дом, закрываем дверь; снимая обувь, босиком проходим к своим раскладушкам.

До этого момента в воспоминании все хорошо.

Но еще шаг — в глубь этого дома, еще один блик той юношеской давно прогрохотавшей жизни,— лицо Борькиной жены тускнеет. Она отдаляется от нас, от наших воспоминаний, от нашего прошлого.

Да, еще несколько шагов, и мы окажемся в трудной зоне, зоне высоковольтного напряжения, сжигающей радость наших общих воспоминаний.

Я смотрю на стену.

Там висит Борькин набросок, рисунок тушью: лицо юной женщины. Одним штрихом очерчены продолговатые глаза, темные волосы, нежная тонкая шея.

Я-то помнил это лицо. Для меня оно было другим. Я и изобразил его другим. Оно как бы светило дальним светом, уже с другого, давно покинутого берега...

Лицо молодой женщины, Бориной жены, матери его так и не рожденного ребенка.

То была первая наша так называемая производственно-творческая практика в селе Гремячем Воронежской области. Нас прикомандировали к районной газете «Путь к коммунизму» и оттуда распределили на полеводческие станы, делать стенные газеты, листки, зарисовки и портреты передовых, карикатуры на отстающих. В свободное от «творческих занятий» время мы шустрили на разных мелких подсобных работах.

Жили мы очень славно, квартировали у глуховатой Аниски, вставали на зорьке, до обеда пеклись в поле. Борька чувствовал себя в деревне прекрасно и не хотел отсюда уезжать; да и нам было вовсе не плохо, пока не случилось маленькое происшествие, по сути дела смехотворное ЧП, чуть не обернувшееся серьезной неприятностью.

Оформляя стенгазету, мы нарисовали «саржк», как называл это наш бригадир, Петр Нилович Евдокимов; «саржк» на подсказанную жизнью, животрепещущую тему. Изобразили мы (работали в этом жанре все вместе, как Кукрыниксы) жалкого парня, нерешительно стоящего перед сломавшейся сенокосилкой. Из рисунка было ясно, что он неумеха, не умеет обращаться с техникой. Вид у нашего героя был растерянный, несуразный.

Долго сочиняли мы и подпись: все лезли какие-то слабые, вялые названия, вроде «Недоросль с машиной», «Недотепа на току», и наконец, в восторге от собственной находчивости и афористической точности, мы сочинили стихи:

Не позорь себя работой слабой,
За машиной ухаживай, как за бабой!

Такой агитлисток и повесили.

Такой он и висел пару дней.

Одни, скользнув глазами, улыбались, другие читали с полным равнодушием, так как подобным агиткам значения не придавали, третьи вообще не читали. Висел себе плакатик и висел на полевом стане, постепенно желтея и пылясь.

И вдруг: нá тебе. Вызывают к председателю колхоза.

Мы уже были с ним знакомы. В первый день, когда оформлялись в колхозной конторе, нам сказали, что он хочет с нами познакомиться. Принял он нас очень приветливо, был внимателен, хоть и без нас дел у него было по горло, а мы для него — лишняя забота, если не обуза.

Но то ли интересовался искусством, то ли вообще был исключительно чуток к людям, но разговаривал долго: интересовался, как устроились, где поселились, посоветовал, в какие бригады поехать, заметил, что «молодые творческие силы найдут у него в хозяйстве безусловно полезное применение».

И вот вновь мы перед ним, в его кабинете. Он и сейчас вроде бы приветлив, интересуется нашим житьем-бытьем, нашей творческой работой. Но какая-то легкая тень все же пробежала по его широкоскулому красному лицу.

А на скрипучем, как разъезженный тарантас, диванчике, в углу кабинета, поерзывает какой-то товарищ, в кепочке, городского вида, с очень серьезным выражением разглядывает наш плакатик.

Затем, отложив его, он спрашивает, будто не знает, откуда мы, из какого вуза, с какого курса, просит показать командировочные удостоверения. Вид у него серьезный. И кажется, что нашему председателю как-то неловко, и не поймешь, за кого: не то за нас, не то за него.

Наконец откладывает он наши удостоверения, смотрит на нас внимательно и спрашивает:

— Кто же сочинил данный текст?

— Да мы все,— говорит Борька,— у нас все коллективно.

— Коллективно, значит,— говорит человек и делает какую-то пометку на бумажке.

— А что такое,— вступаю я,— что мы там особенного написали? Тема, можно сказать, из жизни.

— Из какой жизни, из чьей жизни? — повышает голос этот человек.— И что это за выражение... «как за бабой»? Видали вы: «как за бабой»! — Он смотрит на председателя.— Прямое неуважение к женщине, да и вообще ко всей нашей колхозной жизни. Сельхозтехнику сравнить с бабой.— Он перевел дыхание и, по-прежнему не глядя на нас, произнес, повысив голос: — Вы из творческого вуза, а какой показываете людям пример? Тут вам не цирк. Я лично доложу об этом в районе, пусть в вашем институте разберутся с вашими художествами.

Председатель, помолчав, сказал, как бы подводя черту:

— В целом ребята помогают колхозникам, работают толково, районной газете помогают, но в данном случае немного не разобрались... Неопытные.

— Мы еще посмотрим, как они помогают. Следует проверить.

Казалось, все успокоилось, можно и уходить, но тут Борька встрял:

— Что же вы проверять-то будете?

— Да не собирается он,— успокаивая, сказал председатель.— Эко дело, чего там проверять. Просто поправили вас, вот и делайте выводы. Делайте новый плакат, с более понятным народу текстом. Так ведь, Егор Васильевич?.. Археологи тут тоже как-то нарисовали не то, что надо. Ну и что? Нарисовали, а потом перерисовали.

— Колхоз имени Ворошилова у нас в районе особый,— сказал, уже успокаиваясь, человек в кепке. Бледное, нездоровое лицо его порозовело.— О нем писали в Москве, в журнале «Огонек». Тут у нас народ силу слова понимает. С этой самой силой слова... надо, знаете ли... не такой у нас сейчас общественный момент, чтобы ерундой заниматься. Это еще здесь председатель либеральный. Другой бы...

— Ну ладно, ладно, Егорыч, сделал сообщение, будем считать, что ребята свободны, пусть продолжают творческую работу.

Мы попрощались и вышли.

Так повстречали мы первого в нашей жизни проработчика.

Еще месяц мы пробыли в колхозе имени Ворошилова, теперь наши рисунки шли без текстов; председатель, встречая нас, улыбался: мы сделали художественную диаграмму для его кабинета — дела шли на убыль, пора уезжать.

В последний вечер гуляли допоздна по селу; стараясь не спугнуть нашу хозяйку, вошли в хату, в лучике света поглядывала богородица, белело вышитое красным полотенце.

Хозяйка наша Аниска ворочалась, не спала. Молчаливая, угрюмая с виду, она относилась к нам по-матерински. Вставала она еще до зорьки, во тьме, старалась нас не будить, днем оставляла молоко.

Мужик ее бросил, ушел в соседнюю деревню — к другой женщине. Дети ее подросшие работали в городе.

Иногда он приходил, не давал нам спать, пьяно скребся, скулил, просил его пустить, но она не пускала. Лежала затаив дыхание, ни движения, ни шороха, будто и нет ее.

Он ругался, сначала ожесточенно, потом горестно, и уходил.

Она так тихо лежала, что не по себе становилось. Жива ли?

Я видел, что она и не лежит, а, согнувшись, сидит на кровати, опустив лицо, чуть покачивая поседевшей головой.

Над высокой кроватью висела их увеличенная свадебная фотография.

Она и Федор, еще в гимнастерке, год сорок шестой.

Когда мы уезжали, она достала домашнего вина, верно, настойка эта вишневая давно лежала в подвале, хорошее было вино, видно, ее Федор толково понимал в этом деле. Мы выпили по стаканчику и простились.

Мы уходили с пожитками своими к проселочной дороге ловить попутку и, оборачиваясь, видели, что она стоит у низкого плетня.

Далеко мы уже отошли, и все отдалялась высокая, плоская фигура, как бы плыла, чуть темнела в беспощадном дневном мареве. Один раз мне показалось, она подняла руку: то ли махнула на прощание, то ли перекрестила перед дальней дорогой.

Помнится, мы еще долго крутились по деревням, останавливались на денек, ночевали. Никому, конечно, не нужны были наши рисунки, а вот руки были нужны: собрать, потаскать сено... В этих воронежских деревнях, теплых, зажиточных, было нам привольно всем, не только Борьке, в деревне выросшему, но мне и Сашке.

Было у меня такое чувство, что я уже был здесь когда-то, что спал на этой прогретой за день соломе, сложившись вчетверо под тулупчиком или продранным, с торчащей ватой одеялом, что уже были эти рассветы, прохладные, розоватые, с острыми и теплыми запахами листвы, земли, жилья, с первыми человеческими голосами, с выпрыгивающими неизвестно откуда и скачущими над твоей головой курами.

Это странная вещь, ощущение давней знакомости жизни, которой ты не жил, впрочем, может быть, в сибирской деревне Ивановке, куда бабушка привезла после тяжкой болезни, в военные времена было что-то похожее. Помню, что меняла она отцовские вещи на молоко. И я, больной, пил его, парное, сладковатое, поначалу неприятное, потом привычное, необходимое, пьешь так, чтобы ни одной теплой капли не пролить, не потерять.

А может, и не давняя детская явь рождала это ощущение, а откуда-то из дальней прадедовской жизни были эта

земля, запах тепло-кислой овчины, ветерок, идущий будто бы от листьев корявой липы, и сквозь их просвет все светлеющее, все поднимающееся вверх утреннее небо.

Каждое утро я просыпался с ощущением тайной надежды. На что? На то, что будет, должно быть что-то очень важное, единственное, меняющее всю жизнь.

А было ли что? Если вспомнить как следует, то, может, только и было существенного само это ожидание в каждом дне, с каждого первого проблеска света, включавшегося в жизнь сознания, с того мига, как ты ощущаешь себя ожившим, прозревшим.

И это, может быть, и было главным тогда — ожидание.

Вечерами, под водительством Борьки, мы шли на «мотания». Именно так назывались в тех краях танцы под гармошку.

Недавно только кончилась эпоха патефонов. Была эпоха радиол. Но эти гремящие радиолы с одной-двумя надоевшими пластинками вскоре смолкали, и напротив старенького клуба, на вытоптанной площадке, начинались «мотания». Парней было значительно меньше. Уходили в армию, в город. В основном пацанва лет пятнадцати-шестнадцати. Поэтому нам, приезжим залеткам, не было конкуренции.

Борька, приглядевшись, приглашал самую глазастенькую и самую лучшую. Потом уж мы вступали в дело.

Я помню красивую девушку Валю, она все время спрашивала, поглядывая на меня: «Вы так считаете?»

Не помню, что я уж там считал, только помню, что она была стройная, крепенькая, говорила врастяжку и не поймешь, где шутит, где всерьез.

И когда я поцеловал ее, она не вырывалась, не сопротивлялась, а только заметила: «Это вы со всеми так?»

— Нет,— удивился я.— Почему со всеми? — И тут же, дразня ее, добавил: — А может, и со всеми.

— А еще художник,— сказала она.

Допоздна мы ходили, она то робела, то смелела, я вел ее, слабо упиравшуюся, к реке, там на холодной земле обнимал, чувствуя все более прерывистое дыхание, удивительно свежие и податливые губы; но это не долго длилось: вырвалась она резко, неожиданно, побежала, я догнал ее, и уже молча мы шли позади двух понуро удлиняющихся теней.

До самого дома она не дала проводить. Посмотрела серьезно, даже сурово:

— Вы дак завтра отъедете, а нам тут жить.

Как она догадалась, что именно завтра мы собираемся уезжать?

А уезжать не хотелось... Остаться бы здесь на день или на неделю. А может, на год. Навсегда.

Но надо ехать дальше, никакого «навсегда». Навсегда только прощание, вся жизнь — цепь маленьких прощаний, маленьких «навсегда».

И еще помню, как протянула она мне руку, как улыбнулась и вдруг, блеснув глазами, озоровато просияв лицом, спела чисто, сильным, сдерживаемым из-за позднего времени голосом; это была местная частушка:

Меня милый провожал,
Провожал до мостика.
А я милому сказала:
«Ты — мартышка с хвостиком».

Назавтра мы сели в попутный грузовик, бросили свои рюкзаки и покатили дальше.

И сколько раз я все-таки вспоминал эту девушку и думал, что вернусь в эту деревню, что как-нибудь мимоходом судьба забросит; не вернулся, не забросила. Ведь и ничего не осталось в этой деревне, ничего и не было, а так тянуло туда.

Но только слово «навсегда» осталось, видимо, точным.

Из Новых Лисок мы добрались до Ростова, там пожили два дня и оттуда решили рвануть на юг. До занятий еще оставался месяц.

Пассажирский поезд останавливался надолго, в Туапсе все выскочили и, торопливо суетясь, забыв даже снять майки, лезли в море.

Мне не хотелось так, я даже не выходил. Наша первая встреча с н и м должна быть другой, слишком долго я ее ждал, где-то я вычитал: «У того, кто впервые видит море, открывается половина души».

И потому, уже после приезда в Батуми, я дождался, пока мои друзья уснут в сырой комнатенке, столь непохожей на жилое помещение, в каменно-холодной, узенькой, как ниша в скале, с мокрицами и гигантскими тараканами. Комнатенка эта даже нас, готовых к любому неуюту, радостно принимавших неустроенность, любивших дух скитаний, легко плативших эту неосознанную плату молодости,— даже нас она изумила.

Они заснули, а я выскочил из комнатки, побежал узенькими улочками, мимо белых одноэтажных домов.

Тогда еще немного было двухэтажных грузинских домов с внешней лестницей на второй этаж, с гаражами.

Домики той поры были крепкие, одноэтажные, не у многих домов стояли похожие на больших мышей «Победы». Все это я замечал мимоходом, новая реальность, чужая действительность удивляла, отпечатывалась в сознании, фиксировалась как бы механически.

Но главное, что я чувствовал, что вызывало сердцебиение, было приближающееся мощное дыхание чего-то огромного и живого.

Наконец я увидел е г о.

Штормило. Впрочем, «штормило» я подумал, именно так следовало говорить и мыслить о море. У берега оно закипало, накатывалось, подползало к ногам. Поразили простор и запах. Зазывный и одновременно гибельный размах: войди и останешься. И запах, солоноватый, поразительно свежий, дразнящий гортань и ноздри. И несовместимая с этим будничность почти пустого берега, несколько голых тел, какая-то пара, уснувшая двухспинным бутербродом, никто не купался, вяло загорали на уже вечернем солнце.

Потом, уже в институте на этюдах, мы писали пейзажи, маринистские этюдики.

Мастер говорил: пробуйте передать образ природы, не копируйте, пытайтесь донести до меня ее сущность, вспоминайте то, что видели, но рисуйте таким, каким почувствовали. Всякий раз море выходило у меня роковым, античеловеческим.

Если лес виделся чем-то слитным с человеком, то море готово было забрать человеческую жизнь, всегда, в любой момент, в его природе и красоте виделась мне гибельность.

Не знаю, с чего это у меня пошло,— с мальчишки, который купался в то лето вместе с нами каждый день и утонул? Через несколько дней его нашли и вытащили.

— Ну и что? — говорил мне мой Мастер.— Да, тонут и замерзают в лесу, в снегу, так что же — изображать снег враждебным человеку? Нельзя так воспринимать природу. Художник не может ее так видеть. Человек уничтожает человека, а природа не уничтожает, она берет к себе снова.

Пожалуй, я поверил ему, хотя позднее я видел, как природа уничтожает, видел вероломство не только моря, но и земной тверди, попав в ташкентское землетрясение.

После того лета бесконечно бился над морскими этюдами, пытаясь соединить лазурь и голубизну с трагедийным характером, пытаясь соединить одновременно гармонию и катастрофу.

Маринистика, даже классическая, казалась мне устаревшей.

Я видел всегда в ней эффект моря, а не тайный смысл его.

Я мог часами стоять около лесных пейзажей Констебля в Эрмитаже. Или около Левитана, или даже у немодного ныне Шишкина, но меня оставляли равнодушными гигантские феерии Айвазовского или лунные эффекты в чернильной тьме Куинджи.

И как всегда кажется в юности, я был убежден, что открою свое море, как открыл его сегодня, на этом пустынном берегу.

В сакле между тем мои друзья набривались, обрызгивали друг друга ядовитым цветочным одеколоном...

Первый наш вечер на южной земле уже темнел в окнах, уже трещал цикадами, уже обещал что-то неизъяснимо-прекрасное, о чем можно было только смутно догадываться.

Итак, почистившись и нагладившись, мы отправляемся в город, в большую вечернюю жизнь. Там и произошло то, что было выше описано, то есть ограбление и побег, а если говорить скромнее, то бегство из ресторана без оплаты счетов.

В Борьке странным образом уживались уважение к порядку, к закону, паническая боязнь штрафа, даже если заведомо контролера не должно было быть, с авантюризмом, с нежеланием приспосабливаться к каким бы то ни было несправедливым, по его мнению, законам и порядкам.

Так из протеста против официантского хамства он чуть не подвел нас под срок, под скромненький такой срок с заменой заключения исправительно-трудовыми работами по месту жительства. Тогда еще не было указа о мелком хулиганстве. И потому мелкое хулиганство наказывалось наряду с крупным хулиганством.

По его инициативе в то лето мы чуть не попали в историю гораздо более серьезную, чем мелкое ресторанное хулиганство. У нее впоследствии было даже название, при-

думанное Сашкой, «натюрморт из жизни помидор». Название веселенькое, но история совсем другая.

Недалеко от нашей сакли жил старик Арчил. Он был сапожник, как и большинство айсоров. Инвалид войны, одноглазый, он говорил нам, что временно работает один, а раньше работал с сыном.

Мы никогда не видели этого сына. Только на фотографиях. С картонных, аккуратно расклеенных в комнате Арчила рамок глядело улыбающееся, темноглазое лицо кудрявого отрока.

Отрок с учительницей в толпе таких же темненьких, хорошеньких, с любопытством глядящих на аппарат, как бы замерших в предчувствии «птички», что сейчас взлетит из его черного нутра в разрыве магниевой вспышки.

С удивительной нежностью и гордостью, почти с восторгом, будто сам впервые видит или забыл и вот снова вспомнил, щуря глаза от счастья этих воспоминаний, Арчил показывал, точно экскурсовод в музее.

— Вот поглядите — это в третьем классе... А это в пятом. Видите, какой? А это с папой и мамой в Батуми.

Ангелоподобный отрок, только с черными кудрями, на берегу моря, у белого павильона, меж молодым Арчилом с его пиратской повязкой на лице и мамой в светлом платье, горестно опустившей глаза.

Отчего она так печальна, счастливая мать? Может, догадывается, что это последняя фотография, что вскоре неизвестно откуда нагрянет, нападет темная, неизлечимая болезнь и она тихо, незаметно выйдет из квадратика фотографии, оставив навсегда вдвоем мужа и сына.

В большинстве грузинских, абхазских, айсорских семей трое, четверо, а то и больше ребят, а здесь — единственный Артем. Вот почему, наверное, так молодо блестел и оживлялся уставший от жизни, всегда работающий с двойной нагрузкой карий глаз Арчила.

Он угощал нас чачей, мы, кривясь, обжигаясь, пили ее, незаметно и счастливо хмелея, только в юности так счастливо хмелеют. Мы гасили огонь этого зелья огромными, лопающимися от зрелости, от избытка плоти, мякоти и сока помидорами. Мы пили, закусывали и слушали бесконечные рассказы Арчила о детстве, юности, отрочестве Артема.

О взрослости Артема, о его настоящем Арчил говорил почему-то редко и неохотно и всегда по-разному. То Артем находился в Рустави, трудясь в огненных цехах метал-

лургического завода, то неожиданно перекочевывая на строительство железной дороги в Сибирь, то учился в вузе в Ереване, то вставал на вахту вместе с ткварчельскими горняками, то вообще исчезал неизвестно в какие края, а может быть, даже и в заоблачные выси, откуда и писем никаких не приходит, как бы растворялся в вечернем, сгущенном воздухе, обретая свойство миража.

Идеальный мальчик Артем, печаль и гордость ушедшей в лучший мир матери, радость и надежда еще привязанного к этой земле Арчила, был нашей единственной и главной темой.

Глухо говорил Арчил, пил, не пьянея; узнав, что мы учимся в художественном вузе, он неожиданно обрадовался, стал взад-вперед ходить по комнате, таинственно поблескивая лукавым глазом.

И вдруг неожиданно, откуда-то из-за шкапа достал несколько запыленных холстов.

Натюрморты, с помидорами и луком. С баклажанами, тыквами, помидорами и огурцами. Во всех натюрмортах неизменно присутствовали помидоры.

Оглушенные чачей, слегка обалдевшие от рассказов о житии святого Артема, мы смотрели на это пиршество овощей, затаив смешок.

Борька первый очнулся, его вспыхнувшие, расширившиеся зрачки с неожиданной силой оттолкнулись от наших вялых и лукавящих глаз, будто мы спали, а он хотел нас разбудить. Он крикнул:

— Вы посмотрите сюда — на эту кровь.

И действительно, алые помидоры словно бы исходили живой кровью; если всмотреться внимательно, то они походили и не походили на настоящие, со странными, неровными дольками, с обрывком зеленой завязи, не рыночные, не огородные, не театральные с гипсовой тяжестью муляжа, не из раздела «томатов», из совершенно иной сферы, области, может быть, из поднебесных видений, маленькие солнца, неожиданно принявшие облик земных помидоров.

Да и остальное, изображенное этой кистью, тоже, если вглядеться, удивляло фантазией. Длинные огурцы плыли на блюде, как аэростаты. Иногда светящиеся и розоватые, чаще же всего — обжигающие колющей изумрудной бородавчатой кожурой.

— Да это же... черт-те что,— восхищенно бормотал Борька.— Я такого еще нигде не видел... Как это так получается, как это можно, а, дядя Арчил?

— Ай, так, баловство,— скрывая удовлетворение, говорил Арчил, стирал рукавом пиджака пыль со своих картин.— Таскал на базар, туда-сюда, продавал по трешнику... Люди говорят: «Что за помидор, это не похож на помидор, зачем такой помидор неправильный?» А я им тоже говорю: «Зачем вам такой помидор?» — Он взял со стола настоящий помидор и поднес к нашим глазам.— Зачем такой помидор рисовать — такой кушать надо, а рисовать такой не надо. Жена покойная ругала: «Зачем малюешь, время тратишь?» Лучше к Артему в школу сходи, опять учительница беспокоится — непорядок там. Да,— затих старик Арчил и, помолчав, добавил: — Для себя рисовал, понимаешь, не на рынок рисовал... Что мне их трешка-мрешка? Для себя... Да только что толку.— Он досадливо махнул рукой.

Вскоре после этого он куда-то уехал. Вернулся дней через десять, осунувшийся, постаревший, словно все эти дни, что был в отсутствии, тяжело болел. Был он хмур, озабочен, в гости нас не приглашал, да и на работу почти не ходил — пустая стояла его будочка на углу Беследского шоссе.

Однажды он позвал Борьку, одного, без нас.

И Борька подолгу стал пропадать у него, приходил поздно, трезвый и вяловатый.

Через несколько дней Борька обратился ко мне, именно ко мне, а не к Сашке. Сашка у нас считался самым правильным, и потому, возможно, Борька не стал искушать его.

— Хочешь деньги заработать? Приходи к Арчилу. Артель составим, да и не в деньгах даже дело, полезно руку поупражнять, ремесло отработать.

Днем я зашел в комнату Арчила. Арчил и Борька работали. Работали деловито, молча, быстро.

Я посмотрел на их труды с удивлением: куда девались эти багровые, царственные, сияющие, просвеченные изнутри живой кровью плоды? На холстах были намалеваны пестрые рыночные натюрморты: цветы, груши и яблоки, кувшины с вином — химическое картонное изобилие.

— Зачем? — спросил я.

Не оборачиваясь, Арчил бросил с раздражением:

— Зачем — затем. Не хочешь — иди.— И добавил уже тише, умиротвореннее: — Деньги нужны.

Хозяйка наша была грузинка, повар на турбазе, иногда от казенных щедрот доставались туристские котлеты, туристские каши. Мы были вечно голодны, как вечно зелена растительность субтропиков.

Она была грузинка какого-то русского посола, разбитная, курила, говорила по-русски почти без акцента. Она любила нас за то, что мы ровесники ее дочери, а поскольку дочери, Норы, не было сейчас с ней, незаполненный дух материнства нуждался в том, чтобы жалеть и опекать кого-то.

Нору мы ни разу не видели, но знали ее на всех этапах формирования. Южане особенно любят показывать фотографии детей, особенно гордятся детьми, вот и показывала нам Беата, так же как и дядя Арчил своего Артема, дочь Нору в школе, на каникулах, в пионерском хоре.

Два-три раза мелькнула фотография стриженого человека — отца Норы, однажды наша хозяйка рассказала, что он немец — политэмигрант, приехал в Россию еще до войны и всю войну провел здесь.

Где он сейчас, мы не спрашивали, может быть, строил новую жизнь в ГДР, а может, был еще где-нибудь...

Мир чужих фотографий ничего не открывал. В нем одновременно соединялись загадочность и обыденность. Навсегда ставшие картонками, бессловесно глядели оставшиеся где-то позади, в другой жизни лица, а Нора спорхнула с картонки и появилась.

Вечером хозяйка устроила пир.

Куски баранины мерно жарились на мангале, источая душный, острый запах, огурцы с помидорами были достойны арчиловских натюрмортов, свет в каменном дворике был уютен, красен, и все возбужденно занимались приготовлениями, ходили, носили, передавали и давали советы.

Сама Нора — центр внимания — установила с нами простецкие отношения, отношения с жильцами, соседями, чуть приправленные долей прирожденного, сдержанного кокетства.

Не знаю отчего, но каждый ее жест, каждое ее движение хозяйской дочки, заведомой красавицы, с едва уловимым восточным оттенком центра притяжения, отталкивали меня. В самой этой красоте, как ни странно, вполне совпадающей с оценками матери, уже угадывалось множество свойств, трудных для равного общения. Мне казалось, она носит себя: поворот головы на тоненькой обнаженной

шее, округлые движения крепких загорелых рук, низкий голос, медленный грудной говор; как бы уклоняющийся от встречи, мимо тебя скользящий быстрый взгляд серых глаз,— все это заведомо притягивающее, осознанное ею, может быть, скорее отталкивало, становилось препятствием к искреннему, естественному общению. И я сознательно вышел из зоны ее притяжения, из игры, хотя никакая «игра» еще и не думала начинаться.

Впрочем, в ту пору жизни появление любой девушки, а тем более такой хорошенькой, а может, и по-настоящему красивой, обещало что-то именно не плоское, не плотское, а большее, здесь слово «игру» можно было заменить на «судьбу».

Итак, все озабоченно носились, только два человека казались спокойными и невозмутимыми: сама виновница торжества, Нора, и Борька.

Однажды я столкнулся с Норой, колдовавшей над мангалом, движением профессионального духанщика она разгоняла дым и вдруг улыбнулась. Улыбка показалась мне вопрошающей и несколько беззащитной. Я прочитал примерно вот что: «Да, я вот здесь, у себя дома, в честь моего приезда жарится шашлык... А вы кто? Случайные жильцы? Непрошеные ухажеры? Чего мне ждать от вас?»

Ибо ясно, ждать надо, потому что если т а к а я она приехала и такие трое шакалов слоняются по двору с видом якобы безразличным и вместе с тем почти услужливым, а сами сбоку поглядывают на нее, и каждый уже мысленно отталкивает другого, то ясно — ж д а т ь, ждать чего-то.

Да и вся жизнь — ожидание, может быть, в ожидании — ее главный смысл.

Но я ведь не участвовал в этой игре, я уже заранее отстранился, пропустив вперед себя своих друзей, в первую очередь Борьку, стоявшего сейчас с напрягшимися скулами, с потемневшими, горящими глазами, зачарованно глядящими на нее.

Чего же ждал? Слова ли какого, жеста, может, случайно сорванного в миг всемирной доброты и нежности поцелуя, чего-то еще, еще более влекущего, важного, в том возрасте, в том вечере, в том звоне и верещании цикад, похожем на звуки ночного радиоэфира, мировой надстройки перед готовящимся выступиться словом.

Все это были лишь частности ожидания, его составные, вливавшиеся в океан Главного ожидания.

Что за мистика, какое Главное ожидание? Оно и составлялось из каждого солнечного мига юной жизни, из душного вечера, так и не кончившегося дождем; каждое просыпание, первый биоток пробудившегося сознания, вступление в день,— все это и было ожидание.

Так чего же, в конце концов? Счастья? Нет, это слово мне неизвестно, не любимо мною никогда, оно выплывает синей тушью на ватмане из гомона тематического утренника, где взрослые в зале будут, покашливая, объяснять, какое оно и в чем заключается.

«Счастье» пищало детскими девчоночьими голосами, задавая вопросы радиотёте, радиотетя отвечала цитатой из крупного ученого, а я ждал и не дождался, когда кончится диспут о счастье.

Мне объясняли тогда, в чем оно, говорили с полной осведомленностью, а для меня оно было в том, что я, больной, лежал на диване, освобожденный от школьных занятий, с просветленной от таблеток наркотической головой, и видел некий образ, одновременно реальный и бесплотный, образ женщины, возможно, с лицом вот этой Норы, с шелковыми ногами учительницы пения, с душой неведомой, непознанной, но уже летящей в мировых безднах и моей душе.

Постоянная влюбленность в никого.

Вечное ожидание.

Даже и сейчас, даже и сегодня. Всегда.

И потому разве в Норе было дело? Но вернемся именно к ней, к тому вечеру.

Итак, шашлык уже готов, дым рассеялся, напрягшийся Борис, меланхолический Сашка, отстранившийся от соревнования я.

Почему-то я знал, что обречен на поражение, я даже сам не понимал почему. Я был не робкого десятка, язык был подвешен недурно, я был более светский, чем Борька, понаторевший в школьных вечеринках с танцульками под звуки джаза. Хотя я был не первостатейный танцор (лучше всего я танцевал сам с собой, и пел я лучше всего в одиночестве, особенно в вагоне поезда), но и с партнерами не ударял лицом в грязь и примерно представлял себе эту первоначальную азбуку кадрежа со всеми его ухватками.

Но я чувствовал, что сегодня я проиграю Борьке, потому что в нем была решимость, которой не было во мне. Она смутно проглядывала, я ощущал ее. Он уже что-то

решил для себя. А я был обидчив и раним, и если мне казалось, она не слушает, не воспринимает, что-то еще «не», то я был готов легко отступить. Я плохо воспринимал поражения, даже самые малые. Они оглушали меня, отбивали веру в собственные силы.

Борька же нет, наоборот. Как танк, через ухабины, рытвины, на вражеский дот, чтобы подавить его своей огневой мощью.

Конечно, это образно — танк. Суть танка. А обличье, наоборот,— скромное, глаза васильковые, подход осторожный, даже робкий, говорок неторопливый, окающий, приятный. Никакой не танк, а божья коровка.

Впрочем, бывало, и он обижался, неизвестно из-за чего. Из-за неведомого, непонятного другим укольчика.

В наших студенческих компаниях он был то самым молчаливым, в буквальном смысле слова не произносил ни слова, то умел привлечь к себе внимание компании. И тогда он пел, и не какие-нибудь полублатные песенки, как мы все, испорченные городские романсы, а что-то свежее, никогда нами не слышанное, с наивными и удивительными словами.

Но это было на наших студенческих посиделках в общежитии.

А сейчас мы были в новой обстановке, в чужом доме, на чужой земле, с девушкой Норой и ее мамой...

Тяжелое ковровое небо просторно лежало над нами, прорезанное огромными до небывалости звездами, то рвалось, то ухало невдалеке море, мощно вибрировала радиола: «О, голубка моя» и «Мишка, Мишка, где твоя улыбка»... Шашлык дурманно пах бараньим молодым мясом, и даже свет лампы во дворике, раскачивающийся, струистый, давал ощущение какого-то чужеземного паттио, нездешней жизни.

Нора рассказывала, как она сдавала экзамены в театральный вуз.

— О, я так старалась,— гортанно говорила она,— я читала отрывок из «Витязя в тигровой шкуре», читала стихи Тихонова, Симонова. Потом один из жюри сказал: «Изобразите получение письма». Я не поняла сначала, какого письма. Он пояснил: «Письма с важным поручением». И я стала изображать.

— И как же ты это делала? — с удивлением спросила мать.

— Ну не буду же я сейчас,— потупив глаза, скромно сказала Нора.

— Да и вообще это трудно,— поддержал ее Борька.— Вот бы нам так сказали: «Изобрази эту грушу».

— Ну и что, и изобразишь, если скажут,— угрюмо сказал я.

— Нет, ни за что, так это не делается.

— Конечно, «пока божественный глагол...» — вторил ему Сашка.

— Вы погодите, ребята, а дальше что было? — спрашивала мать.

— А потом басня.

— И ты что?

— Ну, я и прочитала современную басню Михалкова.

— Ну, а он?

— Говорит, неточен характер.

— Кого же?

— Бобра, про бобра седого читала. Ну того, который с молодыми девушками.

— Ну и что?

— Не понравилось ему. Говорит, не понимаете вы характер бобра. Неясен вам этот характер. Вы еще слишком молоды, чтоб это постичь. Нужно знать жизнь. А репертуар надо выбирать по себе. Актер, он и бобер, он и лиса, он и Катерина из «Грозы», он и Платон Кречет... А вы школьница, десятиклассница, и вы еще не почувствовали чужую, взрослую жизнь бобра.

— Ну и долдон,— сказал Борька.— У нас тоже такие есть.

Глаза ее блеснули влажно, блеском ночной морской воды; казалось, влажная обида глядит из них, обида на тех, не понявших ее дар, издевавшихся над ней. И мы все дружно поддакнули этой обиде: «Да, да, бывают же такие, и ведь всюду».

Но она продолжала свой рассказ.

— А другой говорит мне: «Теперь прочитайте про любовь».— «Классику или современное?» — «Современное лучше». Ну, я Щипачева прочитала. Знаете Щипачева? «Любовью дорожить умейте» и прочее. И тогда другой педагог говорит: «А вы любви этой, то есть щипачевской, не понимаете. Не пережили вы ее, а раз не пережито, значит, нет искусства». Итог: в бобра я не перевоплотилась, любовь щипачевскую не пережила. Что же мне делать?

И она вновь посмотрела на нас как бы с недоумением, словно мы знали ответ.

Усмешка скривила ее губы. Не было понятно, печалится она или издевается над нами или над собой. К своему поражению она относилась и с огорчением, и с юмором, и было ясно, что у этой девочки есть какая-то своя, скрытая точка зрения на все с ней происходящее. Было трудно определить ту черту, где смех у нее переходит в слезы и наоборот.

Поэтому я и решил про себя, что они там, в театральной студии, чего-то недопоняли насчет отсутствия у нее дара перевоплощения.

Шашлык созрел, хозяйка и Борис уже стаскивали, сваливали в кастрюлю обвившиеся вокруг железного раскаленного ствола шампура тугие, пахучие куски мяса. И наконец все примолкли и дружно навалились на шашлык. Он был действительно волшебен, не для неприхотливых туристов, без дела шатающихся по горам, трудилась хозяйка, а для себя. Мы запивали его молодым, обманно слабым, но бьющим в ноги вином.

Мы не привыкли к такому вину.

Мы в полном смысле слова балдели, теряли ощущение реальности, впадали в состояние блаженства. Казалось, это вино можно пить без конца. Я впервые почувствовал вкус настоящего сухого вина, в сущности, я любил лишь сладкое вино, типа московских портвейнов, «Трех семерок». Я еще не потерял вкуса детства, в детстве мы любим сладкое, потом постигаем вкус кислого и горького... Говорят, старики вновь любят сладкое.

Я вспоминаю, как Борька, уже потом, мне сказал: «Ты одаренный художник, но ты не будешь великим».— «Почему?» — «Потому что ты не можешь напиться».

Мне показалось это тогда дурной шуткой, потом позднее я задумался над его словами и понял, что он имел в виду, видимо, идти до конца, идти до беспредельности.

«Беспредельность» — это было его любимое слово. Он считал, что я слишком разумен; может, поэтому и не пью, что во мне живет все время желание уберечь себя, что оно делает меня половинчатым. Он выше всего ценил способность к беспредельности. Пусть она даже погубит, может погубить, но дает миг подлинной свободы от всех и от собственного инстинкта самосохранения.

Краткий миг независимости, иногда приносящий прозрение...

Заглохшая было радиола вновь ожила, засветилась красная лампочка, и тоненькие пленочки, словно горючее, подняли костер, заполыхали на всю округу. На этих гнущихся, сырых пленках были записаны новейшие роки.

Сколько боролись с этим музыкальным наваждением и в печати и на собраниях, сколько карикатур появлялось и фельетонов, как обличались узкие брючки и тарзаньи прически... В школе проходили мы бальные танцы: падекатр, падепатинер, падеграс и еще какие-то «паде». Дефилировали по школьному залу за ручку, словно по дворцовому паркету, а вечерами, в домашних компаниях, яростно плясали роки. Их взрывной гул перекрыл тихое бальное журчание неспешных и старательных танцев, разучиваемых под руководством специального педагога.

Точно так же позднее боролись с твистом, не пускали его на танцплощадки, в школьные, студенческие залы, высмеивали, обличали, а он сотрясал своим одновременно притягательным и несколько назойливым ритмом молодые, извивающиеся тела.

А сейчас тихую местность оглушали старые блюзы, новомодные рок-н-роллы, струился свет волшебного фонаря и появилась возможность перехватить инициативу. Борька не был мастаком по части современных танцев. Площадка была пуста. И я пригласил Нору.

Начали мы вяловато, приглядываясь друг к другу, приспосабливаясь к движениям другого. Мы только одни танцевали на всеобщем обозрении, будто на сцене, я так и чувствовал на своей спине иронические глаза друзей.

Звонко стучали туфли о каменный пол двора. Я прибавил газу, она ответила тем же. Осмелев, я яростно бросил ее на себя, как полагалось в роке, и закрутил, так что она вертелась волчком. Получалось у нас все лучше и лучше, но вот запас тоненьких пленочек исчерпался и пошла другая музыка: грузинские и армянские танцы. Они были словно родные для Норы, с такой плавностью она входила в этот медлительный поток, так хорошо подбочениваласъ, так свободно и легко, раскинув руки, плыла по этой реке.

Так я не умел. Вертеть, бросать, крутиться и закручивать — пожалуйста, это на московских вечеринках было отработано, а плавно плыть по чужим рекам, закинув голову, как лебедь — это...

Я пытался что-то сымпровизировать, уловить ритм незнакомой мелодии, но движения мои были вульгарны, рез-

ки рядом с легкой, природной пластикой этой девчонки. В конце концов я отошел в сторону, и она танцевала одна, все более входя в роль, становясь застенчивой и одновременно неотразимой тоненькой горянкой.

Мать курила и с гордостью смотрела на нее, иной раз, не сдерживая восхищения, звонко ударяла ладонями.

Она пила незаметно, втихомолку, то говорила громким голосом, стараясь перекрыть музыку, то хмельно замолкала, мрачнела... Может, об отце вспоминала, может, еще о чем, разве было нам понять немолодую одинокую женщину, мать красивой восемнадцатилетней дочери.

Неожиданно зашел Арчил. Хозяйка усадила его, налила ему вина. Он произнес несколько слов, выпил, потом посидел еще минут десять, заметно мрачный, диковато-недоверчиво оглядывающийся, будто был среди чужих, враждебных людей и ждал какой-то подлости.

Нора была очень ласкова с ним, называла «дядей Арчилом», говорила, что мечтает с ним станцевать лезгинку.

Но он только качал головой. Этот словоохотливый человек был сегодня неразговорчив. И ушел он тихо, без шума, мы и не заметили, как он ушел.

— Какой несчастный человек,— сказала хозяйка.

Я, помню, подумал: «Почему? Почему он несчастный? Ведь рисует так хорошо и у него такой прекрасный сын...» Но не стал спрашивать, выяснять. До старика ли было в тот вечер?

Наше соперничество с Борькой было еле заметно, скрыто. Шло оно полосами. Я набрал очков в танцах, а теперь терял их в разговоре. Каждое его слово, шутка, улыбка легко и свободно входили в зону ее внимания и тут же получали ответ. Я же старательно посылал свои сигналы, но словно бы чужие станции забивали их, и зона становилась все более непроходимой для меня.

Уже изрядно опьянев, мы пошли к морю по темным, перекопанным улочкам, под нарастающий грохот и рев августовских цикад. Этот рев только подчеркивал тишину, он сливался с приближающимся равномерным плеском моря, и человеческие голоса на этом фоне, возбужденные, смеющиеся, казались лишними, чужеродными.

Решили купаться. Смельчак Борька полез первым.

Сверкнула белая спина, замелькали длинные, до колен, трусы. Я еще не знал, полезу в воду или нет. Смотрел в море, вслед Борьке, но боковым зрением видел, как раздевается Нора, вот парашютиком упал на гальку ее сара-

фан. Я слышал шуршание ее белья, она тоже не собиралась, видно, купаться и была не в купальнике, так и пошла, в трусиках и лифчике, белевших в чернильной тьме. Тоненькая, провалившаяся вдруг во тьме фигурка. Я бросился в воду, стараясь ее догнать, все время слыша впереди всплеск и ощущая, что она отдаляется, отдаляется быстро, я нажимал, но звук все больше обгонял меня, мне было не догнать.

Потом я услышал уже более сильный всплеск, двойной, слаженный, и смех, голоса Норы и Борьки вдалеке.

Догнать я их не мог, да и не хотел.

На берегу тихо сидели Сашка и хозяйка. Он был простужен и купаться не решился, она, казалось, дремала. И, одевшись, влажной кожей чувствуя холодок, я пошел босиком по гальке, очень крупной и острой, по земле, не приспособленной для ходьбы.

Что я испытывал тогда? Едва ли боль, я и не знал по-настоящему, что это такое, скорее всего обиду, кислый привкус поражения и неудачливости. Именно гордыня мучила, а не ощущение какой бы то ни было потери. Вот, казалось, я иду первый, но, как всегда, что-то должно произойти, чтобы первым я все-таки не пришел. Но все равно мне было хорошо. Может быть, от обиды еще лучше, еще острее я чувствовал холодок земли, скрип гальки, бурно дышащую, осыпающую брызгами бездну...

Я вижу море и не знаю, как его написать. Проще всего написать его так, как оно есть, оно слишком прекрасно, в нем самом скрыта такая сила настроения, что писать его таким, как есть, как я сейчас вижу, нельзя; оно неохватно, и у меня нет сил, умения, это будет лишь слабая фотография, жалкое воспроизведение.

Лунные светоэффекты Куинджи, валы Айвазовского передают его красоту, его мощь, его тепло, его гармонию. А как же передать эту громадность, эту безразличную к человеку массу, готовую его мгновенно проглотить или выплюнуть, если он не умеет приспособиться к ней.

А как нарисовать женщину, идущую в море?

Вставали дейнековские физкультурницы, крепко сбитые, полные оптимизма купальщицы, воплощение душевного здоровья и силы.

Они нравились мне, но мне хотелось бы нарисовать другое. Что? Я чувствовал, но не знал.

Обида, одиночество... Ерунда. Это как раз забудется, пройдет.

Другое важней... То, как во тьме, в кипящее, бурливое пространство, как бы светясь в этой тьме, бесстрашно входит девушка. Надо передать ее незащищенность, малость перед этой огромностью, перед стихией и способность укрощать, приспосабливать, подчинять.

Вот что надо передать. Но как это сделать? Теперь я стал думать об этом... Мне показалось, что я вижу способ, как это сделать, и я успокоился.

Теперь мне как бы было неважно, я или Борька, Борька или я, поражение перестало существовать, перестало раздражать душу. Другое теперь, в сто крат более важное, поднимало и отстраняло все остальное.

Я пошел домой. Хозяйка уже вернулась, Сашка лежал, ворочался. Только Борьки и Норы не было.

Я пошел погулять. Спать не хотелось. Казалось, земля сотрясается от храпа, от сонного дыхания курортников, заполнивших каждый метр более или менее приспособленной к жизни площади, не то чтобы комнату, любой сарайчик.

Лишь в окне у дяди Арчила ярко, слепя глаза, горел огонь.

«Почему он не спит, ведь так поздно, может быть, работает»,— подумал я.

Окно было приоткрыто, я тихо окликнул его, ответа не было.

Я еще раз позвал дядю Арчила. Ни движения в ответ, ни шороха, ни звука. Я постучал в дверь. Никто не ответил. Тогда я вновь подошел к окну.

— Дядя Арчил! Дядя Арчил!

Из комнаты странно пахло, будто что-то сожгли. Может, у него сгорели его картины, эти прекрасные неправдоподобные помидоры, или безвкусные натюрморты для рыночной продажи?

Я залез на подоконник и спрыгнул в комнату.

В комнате, в странно изогнутой позе, свесив руки с дивана, будто хотел что-то достать на полу и не дотянулся, лежал дядя Арчил. Потухший взгляд открыт, неподвижно уперт в белый потолок.

— Дядя Арчил, дядя Арчил,— кричал я без голоса, знал его и боялся подойти.

Он не отвечал, нелепо свесившийся, лишившийся голоса, движения, цвета.

Через минуту я ворвался в дом, разбудил хозяйку, ничего не мог объяснить, бормотал, задыхаясь:

— Убили, убили.

— Кого? — спросонья сердито, даже раздраженно спрашивала она.

— Дядю Арчила.

Теперь мы бежали с ней вместе. Она остановилась на пороге и крикнула, всплеснув руками:

— Ты что, не видишь? Не видишь?!

— Что? Что? — спрашивал с какой-то дикой надеждой, может быть, она видит то, чего я не вижу, может быть, она видит его живым.

— Это Артем... сделал. Артем ему сердце расколол. Ты ничего не понимаешь,— кричала она.

— Я не понимаю, не понимаю,— бормотал я.

Я не понимал, при чем здесь Артем. Я ничего не понимал.

Мимо каменных грузинских домиков с погашенными окнами мы бежали к милиции. Около милиции в полукруге света сидели двое рослых сержантов: ели сулугуни, запивали молоком. На скамейке стоял приемник, комментатор сообщал результаты последних футбольных матчей на первенство страны. Милиционеры слушали очень внимательно. Когда мы появились, у них сделались недовольные лица, мы отвлекали их; «...тбилисское «Динамо» победило минских одноклубников: два — один...», они поцокали языками, довольно покачали головами, подняли кружки с молоком и чокнулись.

— Ну и что там? — спросил один из сержантов.— Вечно вам не спится.— Подрался кто? Сдают черт-те кому...

— Нет, нет,— перебила хозяйка.— С дядей Арчилом...

— Ну и что с дядей Арчилом? — поморщился милиционер.— Ты дело говори. Зачем здесь плакать? Дома плачь. А нам дело говори.

— Дядя Арчил умер внезапно.

У обоих вытянулись лица.

Они не стали спрашивать адрес, здесь все знали друг друга.

Один побежал в помещение, чтобы звонить в больницу, другой уже оседлывал мотоцикл.

Мотоцикл, нагреваясь, гудел и дрожал, вот-вот сам сорвется и полетит.

Мы сели, хозяйка в коляску, я сзади. И мы помчались. Что-то подобное движению микротел в микроскопе кружилось и распадалось в резком свете фар. Это распадаю-

щееся, вспугнутое и было единственным сигналом тревоги, ее следом, в уснувшем, неколебимо спокойном мире.

Никто не знал, что в комнате лежит человек; все живые были отделены от него и от тайны его смерти.

Вот что поразило тогда меня больше всего. Тишина, разорванная цикадами, теплая влажность ночи, всеобщий покой и то, что через несколько секунд неотвратимо сменит это и ворвется в нашу жизнь.

И кто бы мог сказать,
Что жить им так немного,
Немолчный звон цикад.

Это позднее я прочитал в японском трехстишии Хокку.

Провожало Арчила много людей: грузин, русских, абхазцев, армян, айсоров. Вроде бы и не сапожник умер, а большой, важный человек. Тихо журчала разноязыкая речь, шла к местному кладбищу густая, разнородная толпа.

Потом говорили речи, по-русски, по-грузински. Музыка точно вскрывала душу.

Нора плакала навзрыд, не сдерживая себя, она не знала так уж близко Арчила, но она оплакивала человеческую гибель.

Говорили о том, какой был дядя Арчил, какой хороший художник, как он любил сына.

А я уже знал правду. Хозяйка рассказала. Артем, его единственный сын, попал в лагерь за попытку ограбления, по сути дела, это была не попытка ограбления, а бессмысленное хулиганство. С группой таких же восемнадцатилетних подошел к человеку, попросили сигаретку, тот не дал, тогда они, пьяные, избили его, сняли часы, потом, как выяснилось, выкинули. Зачем им часы? Они искали приключения, вот и нашли. А часы им не нужны, такие даже тогда не носили — старенькая, первого выпуска «Победа».

Ему дали небольшой срок, срок подходил уже к концу, и тут с какими-то старшими, матерыми он попытался бежать и получил гораздо более серьезный срок.

Вот тогда и поехал Арчил в те края, пытался упросить начальство, но ничего не мог добиться, закон есть закон.

Артема с детства все считали дурным, непутевым.

Но что делать, если больше всего на свете он любил своего непутевого Артема?

Он жил бедно, скромно. Вот и зарабатывал иногда про-

дажей картин. Только что на них можно заработать, а лучшие его картины так и остались в пыли, за шкафом. Кто-то говорил, что надо выставку устроить... Да кто здесь будет устраивать, кто в этом селении понимает в живописи?

Негде было даже устроить поминки. Тогда все собрались вскладчину, и вновь мы сошлись за тем же столом хозяйки во дворе.

Говорили длинно, подробно рассказывали о нем, все хвалили его как отца, а сына почти не упоминали, не упоминали, кто сын, где сын... Как и при жизни Арчила сына-преступника не могло быть. А просто жили на свете прекрасный отец и неизвестный сын. Вот и все.

Люди постепенно забывали о том, что именно собрало их за этим столом, говорили все громче, пили все больше, ели все смачнее. И, казалось, начали забывать об Арчиле, о том, что он вообще когда-то жил на этой земле. Уже и тамаду не слушали. Тамада, дальний родственник Арчила, вел стол неумело, корабль застолья качался, зарывался носом в волны.

Рядом со мной сидела Нора, вначале я вообще не думал о ней, забыл, думал только об Арчиле, о его сыне, о его смерти. А теперь горький, то расширяющийся, то сужавшийся комок в глотке, запиравший дыхание, начал рассасываться; вино рассосало его, так рассасывает полоскание болезненный комок ангины.

А она молчала, ни слова не проронила за весь вечер. Она была еще т а м, ближе к Арчилу, чем к нам, ее скорбь, не выветрившаяся так быстро, как у меня, как у них, словно отделяла ее от окружающих живущих людей.

Борька же словно старался напиться. Пил не вино, а водку. Я видел, как он вливает, вбивает в глотку залпом, стаканом.

Неожиданно он попросил слова у тамады. Тамада сначала не слышал, но Борька снова и снова настойчиво требовал слова. Наконец дали.

У него сделалось обиженное, бледное лицо. Выпятив грудь, резко, горловым каким-то голосом он проговорил:

— Я недавно знаю дядю Арчила. Но я хочу сказать, о чем здесь мало говорилось. Вот тут упомянули, что он художник, но говорили вскользь, больше какой он сапожник, какой он отец, это все, конечно, хорошо. Но главное-то вы забыли. Вы забыли, к т о он был.— Борька с вызовом обвел глазами стол.— Вы думаете, та́к это все, ма-

левал дурацкие помидоры, огурцы... Нет уж, извините. Это образ... земли. Да, земли,— еще раз с тем же вызовом повторил он.— Она дает, она и забирает. Он был художник.— Борька снова обвел всех глазами и добавил: — Великий художник.

Все притихли. Возможно, переваривали его слова. Известно, что всерьез никто его художником здесь не считал. Картинки его брали так, по дешевке, скорее из симпатии, и платили соответственно. Разве так платят за картины настоящим художникам?

Но никто не стал спорить и поправлять. На поминках вообще не спорят.

Здесь каждый имеет право на преувеличение.

С бородкой, тогда вовсе не по моде, в венце длинных, завивающихся, заметно седеющих к затылку волос, взошел на кафедру мастерства Юрий Иванович Цесарский. Взошел и обвел нас всех внимательным, до каждого доходящим взглядом, проникающим сквозь толстые старомодные линзы выработанных для сильной близорукости очков.

Кто был он? Зачем он пришел сюда? Ведь у нас был Мастер, один решавший наши художественные судьбы... Но Мастер наш часто уезжал, иногда вообще отключался от общения с учениками, у него было много своей работы, своя, отдельная от нас и непростая жизнь, и потому в усиление постоянных, ежедневных занятий в помощь Мастеру был придан новый педагог, сразу же получивший кличку «Цезарь» — то ли по контрасту, то ли по дальнему сходству фамилий.

Известно о Цесарском было немного. Кончил наш же вуз, сначала занимался графикой, преимущественно газетными рисунками, потом стал пописывать статьи общетеоретического содержания.

Он был с самого начала ровен, доброжелателен, никого не выделял, придавал очень большое значение теме, замыслу, направленности. Его разборы не походили на разборы Мастера. Мастер, весьма сдержанный в оценках, разбирая работу, редко пользовался технологической терминологией, как бы выводя плод наших усилий и воображения за рамки учебного упражнения в пространство живой жизни. Мастер говорил примерно так (скажем, был нарисован мужчина): «Вот взгляните, как он идет, он кособокий, топчется, нарушены пропорции не только тела, но и самого

движения. Посмотрите внимательно, какие вы изобразили руки. Это гипсовые руки. Манекенные, они не живут, не натружены... Забудьте все, как страшный сон, начинайте снова».

Новый же наш педагог разбирал и объяснял все научно:

«Композиция, компоновка, замысел, воплощение».

И не скажешь, чтобы в своих замечаниях он был неточен, он тоже точно подмечал, но говорил как-то обтекаемо, общо, замечание перерастало у него в объяснение. Он всегда знал, как надо и как не надо и облекал свое знание в подробную многословную рацею.

Если Мастер видел, что рисунок не получается, то он констатировал, как врач, не только наличие болезни, но и способ ее излечения. Цезарь же говорил вовсе не о болезни и не о лечении, а о здоровье вообще. Казалось, его интересовал не способ исполнения и не верность данного способа соответствующему данному замыслу, а задачи искусства вообще.

У Мастера были свои привязанности и антипатии. Одних великих любил, других не принимал. Он не боялся ни своих привязанностей, ни антипатий.

Этот же любил вроде бы всех, даже формалиста Пикассо, когда тот отзывался на социальные нужды времени и рисовал «Голубку».

Он говорил: «Надо видеть лицо простого человека, лицо труженика» и что «не бога вовсе писал Феофан, а лицо простого человека его времени».

Это лицо было повсюду, и неясно, чем оно отличалось от другого лица, чем отличалось у Рублева от Микеланджело, у Ярошенко от Серова, у Серова от Кузьмина.

Мы перекладывали его оценки на свои работы, как бы вставляли их в чугунные мощные рамки. Работы терялись, задавленные мощью великих и поистине невыполнимых задач.

Никого из нас он не выделял, всем говорил: «У вас несомненные способности, но кому многое дано, с того много и спросится». Он словно бы боялся выделить кого-нибудь в ту или другую сторону, казалось, курс был единым механизмом, состоявшим из одинаково пригнанных винтов.

Иногда терминология была предельно проста и газетна, другой раз витиевата и туманна, и тогда речи его стирались в памяти как мел с черной школьной доски, легкая пыльца курилась известковым дымом и развеивалась.

Его мы не боялись, но и не воспринимали всерьез. Здесь не было того ощущения, что возникало с приходом Мастера.

Иногда очень угрюмый Мастер, как бы дремля, рассматривал работу, и ты физически чувствовал, что она слаба, не получилась, видел ее его глазами, знал, что сейчас он ткнет в сердцевину, и сердцевина окажется гнилой. Вялый, как бы равнодушный взгляд, но свет голубоватых, покрасневших от бессонницы глаз вдруг собирался и концентрировался, становился прицельным, беспощадным.

У этого же была прекрасная память, слегка заглянув в работу, он цитировал по памяти классиков философии, живописи, всего на свете. Самое интересное, что цитаты были к месту, иногда он употреблял слова длинные и загадочные, так, например, мы впервые услышали от него сравнительно по тем временам новое слово «концептуально».

По всему этому может сложиться впечатление, что он был человеком абстрактных понятий. Между тем он более чем кто-либо другой говорил о связи искусства с жизнью и был озабочен тем, что эта связь у нас слаба и недостаточна.

Его карьера развивалась довольно стремительно, и вскоре он стал деканом.

Мы с Борькой часто приходили на небольшой заводик скобяных изделий.

Завод находился примерно в километре от нашего института. Мы оформляли там Красный уголок. Делали стенды, репродукции с фотографий.

Тут все уже относились к нам как к своим, даже вахтер приветливо дергал рычажок турникета, закрывавшего путь на заводскую территорию. Мы настолько привыкли к заводу, что даже стали сбегать со скучных лекций и приходили сюда.

Мы знали и начальников цехов, и даже начальника ОТК, и рабочих, и в день получки они брали нас с собой в пивной бар на углу.

Видимо, они считали, что мы тоже что-то полезное сделали для завода.

На институтскую выставку я представил два листа. Первый назывался «Конвейер», второй — «Двое».

Скромный заводской конвейер, неторопливо тащивший всякую железную мелочь, я изобразил лентой, над которой нависали человеческие руки, эти руки как бы символизировали характеры, конвейер же был воплощением механической силы.

Эта работа, честно говоря, мне не долго нравилась. А вот вторую я делал с удовольствием и очень в свое время гордился ею.

Дело в том, что на заводе я заприметил девушку из ОТК. Я все время собирался с ней познакомиться, с интересом посматривал на нее, да и она подымала свои синие глаза от проверяемых изделий и одаривала меня полуулыбкой, словно бы что-то обещавшей. Я все собирался познакомиться с ней, но все как-то не решался.

Однажды я встретил ее на остановке троллейбуса. Она была очень нарядна, столь контрастная той, которую видел я обычно в халате и шапочке. Широкая юбка парашютом открывала нарядные легкие ноги. Эти ноги в белых чулках буквально летели по весенней мокрой земле.

Впереди, за остановкой, навстречу ей также летел рослый малый, они взялись за руки нежно и привычно, и ветерок чужого счастья обдал меня, как обдает на миг запах духов от бегущей мимо тебя на свидание женщины.

Почему-то этот миг чужого счастья, этот мотив взволновал меня, и я попытался его передать.

Я написал их сзади, со спины.

Он и она, держась за руки, приблизив друг к другу головы, уходили. От меня, от вас, от зрителя. В неведомую даль, полутьму, где уже померк свет дня и еще не возник свет вечера, но где уже горят первые фонари.

Борька же нарисовал несколько этюдов, один портрет и представил недоконченную картину «Получка».

Декан, видимо, ждал от нас другого. Но поскольку он не был председателем жюри институтской выставки, а только членом его, то он стал искать кого-то еще, чтобы посоветоваться. Случайно попалась председательница месткома. Она к нашей мастерской никакого отношения не имела и на выставке занималась организационными работами, но формально считалась членом жюри.

Она посмотрела наши работы и сказала, что определенного мнения не имеет. «Кажется, неплохо».

— А вот это? — спросил декан и показал на незаконченную Борькину работу «Старый рабочий».

— Она на что-то похожа, чем-то отдает.

— Может быть, неореализмом? — как бы спрашивая себя, ища точного определения, сказал декан.

— Не знаю,— сказала она,— я ведь преподаю литературу, но вот недавно я видела фильм... «Рим в 11 часов»...

— А при чем здесь фильм? — вступился я.— Это русский сюжет, вспомните передвижников.

Лицо декана, выражавшее до той поры неопределенность и сомнение, неожиданно вдруг посуровело.

— Эту работу не выставлять,— заключил он.— И вашу,— он посмотрел на меня,— скачущую неизвестно от кого парочку тоже. Вы не поняли задания.

Мастер в это время был болен, посоветоваться не с кем, мы показали свои работы однокурсникам, им понравилось, особенно Борькина «Получка» и моя «Двое».

И мы решили принести их. Что называется, они не участвовали в экспозиции, мы представили другие, наспех сделанные работы, а эти принесли в день открытия выставки и поставили на полу, но так, чтобы каждый мог увидеть их. Все останавливались у наших напольных работ, и мы считали, что перехитрили декана и победили.

Декан велел немедленно убрать их. Борька заявил, что ни за что не согласится, что он выставил свои работы отдельно, в порядке обсуждения.

Появился староста, Петя Староребский, человек чрезвычайно активный, председатель комиссии по связи с другими вузами, член комитета, и прочее, прочее.

Он сказал нам дружественно и доверительно:

— Лучше убрать. Не стоит. Завтра придет комиссия оттуда,— он сделал неопределенное движение рукой,— и вся эта ситуация может сильно не понравиться, да и Мастера не погладят по головке за ваши выкрутасы.

Он бил наверняка. Знал, что мы любим Мастера и не хотим, чтобы у него были неприятности.

И все-таки жалко было уступать, сдаваться.

Особенно Борьку мне стало жалко. Я знал, как он болезненно это будет переносить, как трудно ему подчиняться чужой воле, решению, кажущемуся несправедливым. К тому же работа у него была лучшей. Он изобразил старого рабочего. Портрет. Умное, сильное лицо. Лицо старого человека, но как бы вне возраста. В линиях, морщинах, глазах непередаваемый опыт жизни. Сцепленные пальцы, как бы выражающие душевную борьбу. С чем? Может быть, со старостью?

— Так что советую этот неореализм убрать поскорее, и тогда все будет нормально.

Это прилепившееся к нам слово резануло слух. Этот зловещий смысл возникал именно из-за приставки «нео». Был бы обычный реализм, все в порядке. А тут «нео». Хотя в чем выражалось это «нео», ни я, ни Борька не понимали.

— Я не согласен,— сказал Борька.— Пусть мне объяснят на обсуждении.

— Тебе объяснят на комитете комсомола,— сказал староста, уже не дружеским и вовсе не доверительным тоном.

Это было скорее не заседание комитета, а заседание кафедры. Неповиновение наше должно было дорого стоить и прозвучать сигналом, который должны услышать остальные.

Упор делался на Борьку Никитина. Выставлять сразу двух виноватых было, видимо, ни к чему и слишком. Один должен быть главным, другой сопутствующим.

Тихий, шелестящий голос декана, его осведомленность о всех наших грешках и прегрешениях — даже о той самой злополучной практике с агитплакатом — не обещали ничего хорошего.

«Пытались отравить студенческую атмосферу, оглупляли и искажали действительность своими работами, создавали нездоровый дух». Отсюда первый вывод о необходимости более строгого отбора. (Куда только смотрел Мастер? Так это читалось.) О более строгом отборе, о том, что некоторые творческие работники в качестве руководителей проявляют несостоятельность, не воспитывают творческие кадры, а способствуют их разложению.

Имя нашего Мастера не произносилось, но все время витало в воздухе.

Время от времени вспыхивали такие определения, как «натурализм», «формализм», «пренебрежение жизнью», «взгляд сквозь замочную скважину».

Кое-кто из педагогов выступал успокаивающе, сводя как бы все на нет, но Борька ни к селу ни к городу начинал защищаться там, где не надо было.

Неопытен он был по этой части. Да и я тоже.

— Будем ставить вопрос о профнепригодности,— сказал декан,— вплоть до исключения.

— Откуда? Из художников? — с вызовом спросил Борька.

— Надо будет, отовсюду исключим,— не глядя на Борьку, сказал декан и брезгливо поджал губы.

Тут я поднялся.

— Как же можно говорить о непригодности самого способного на курсе человека? Мастер же говорил, что у него техника врожденная, что у него удивительное чувство...

Декан оборвал меня.

Мой взгляд потянулся к толстым стеклам его очков, ударился об них, как бабочка о лампу, заметался в жидковатом, как бы на глазах сгущающемся стальном свете.

— Когда вы изображаете конвейер, то вы хотите оболванить труд наших людей. Это и есть худшая форма профнепригодности. Сознательное искажение действительности, а попросту говоря, клевета.

Все притихли. Сашка, пытавшийся все время вылезти, заступиться, глубже вдвинулся в спинку дивана, стоявшего у стенки. Слово «клевета» пролетело низко, тяжело, задевая лица гудящими перепончатыми крыльями, темное, бесформенное, как летучая мышь.

Вечером мы втроем сидели в ресторане «Иртыш», был тогда такой в центре Москвы, почти напротив «Метрополя».

Мы сосредоточенно жевали шашлыки, о случившемся говорили мало, показно улыбались, смеялись, приглашали девиц с чужих столиков.

В ресторане было что-то трактирное. Низкие потолки, духота, пронырливый официант в форменной рубашке. Такими виделись мне трактиры, куда заезжали, возможно, Саврасов, Поленов, куда заходил выпить стакан крепчайшего чаю Аполлинарий Васнецов.

А впрочем, может и вовсе не трактирное, все это выдумка, полет воображения, просто второсортный ресторанчик. Не то, что «Метрополь», в котором мы не были ни разу.

Под низкими сводами гудит народ, в основном командированный.

Сашка не пьет ни глотка, и сейчас в отсвете нашего несчастья он, тихий, корректный, кажется мне воплощением всемирного приспособленчества.

А в чем он был виноват?

В том, что был аккуратнее в своих работах, чем мы.

Я так глядел мимо него, так обращался к Борьке через его голову, что он почувствовал это.

— Ну я пойду, ребята.

— Давай.

И мы остались вдвоем, как было нам положено. По нас били, значит, нам вдвоем и держать оборону.

Впереди у каждого из нас еще много будет и непонимания, и обид, и острых ситуаций, когда все, казалось бы, поставлено на карту, но тот вечер останется навсегда, как наше первое боевое крещение.

И, приближая лицо к распаренному лицу друга, я бормочу с мукой и наслаждением:

— Как же это так, Боря?.. Мы же действительно... мы же по правде с тобой делали, не халтуру «чего изволите», а по совести, как увидели. Это ведь Мастер нас учил: способов тысяча, ищите тысяча первый, свой... А где он, наш Мастер, Борька? Куда он делся, когда нас бьют? Где он отсиживается, наш учитель?

— А ты как хочешь? Привыкай сам отвечать.

Борька не глядел на меня. Глаза его, неожиданно трезвые на пьяном, покрасневшем и почему-то опухшем лице, разглядывали, прощупывали, пытались охватить зал.

Играл джаз-оркестр. Черный плечистый человек пел нежным, чуть хрипловатым голосом:

А я счастье свое отыскал
На широком приморском бульваре...

«Нет, как же это,— говорил я уже себе,— как получилось, что из всей груды ученической чепухи выбрали лучшее и по нему именно нанесли удар?»

Два чувства мешались: яростная, открытая, требующая немедленного действия обида и что-то другое, согревающее, похожее на гордость... Да, гордость. От чего? От непонимания. И, как ни странно, я почти радовался этому непониманию. Сама обида как бы приподнимала нас и выделяла, присоединяла к тем, кому мы поклонялись, кто обязательно шел против волны, кто создавал и отстаивал свое, новое.

Но холодный, трезвый голосок внятно вступал, приглушал джазовый грохот, а также горячо распиравший грудь, горячий клубок самоутверждения: что же здесь нового? Более или менее приличные работы, но в общем вполне заурядные, далекие не только от смелости, но и подлинного профессионализма. Борькины чуть лучше, мои, навер-

ное, послабее. И никакого непонимания нет, а есть ситуация, в которую ты попал, как кур в ощип. Кому-то и для чего-то эта проработка нужна, и мы просто удобно подставились для удара. И если нас выкинут из института, то через три дня нас забудут со всеми нашими доморощенными картинами.

— Чего ты там шепчешь, будто молишься? — говорит Борька.— Чего переживаешь? Ну, выгонят в крайнем случае, ну и что? Работать пойдем. Надоели все эти лекции, зачеты, весь этот детский сад. Домой хочу, на свободу. Правильно мне мать говорила: «Чем тебе плохо дома, покупай краски, малюй, сколько хочешь, подрабатывай и получай зарплату за два притопа, три прихлопа».

— За что?

— За физкультуру под музыкой.

— «Физкультура под музыкой». Это ничего. Это вроде судака под майонезом.

Ресторан закрывался в два часа. Мы ушли последними.

Долго шатались, первый свет, даже не свет, а проблески света, высветлил дома, медленно идущую поливальную машину с выставленными вперед водяными усами. Мы шли по умытой безлюдной Кировской, мимо «китайского» чайного магазина, потом прошли церковь в Потаповском переулке. Мы еще долго бродили по этим переулочкам, каждый из которых я знал наизусть, которые, кружась, впадая друг в друга, выходили на еще тихое, молочно белевшее Садовое кольцо.

Во времена нашего студенчества Борька любил Москву не меньше, чем я, но все время мысленно соединял неведомую нам, известную лишь по Аполлинарию Васнецову, которого он очень любил, Москву, с сегодняшней, лишь через много лет появились у него ворчливо-раздраженные нотки: в московской жизни виделось ему что-то суетное, торопливое, от чего надо избавляться, бежать. Может, и вправду было так, а может, своего рода психологический штамп у него выработался. Ведь не только рука привычно рождает штампы, но и раздражение души тоже порождает штамп отношения.

В ту же ночь каждый из нас мысленно рисовал свою предрассветную Москву.

В ту ночь одна красота владела нами и одна судьба, казалось, связывала навсегда. Да, навсегда. Конечной остановки нет. Дорога только началась, сколько еще переул-

ков, улиц, площадей мелькнут и растают в утреннем тумане.

Общие поражения, пожалуй, сближают даже больше, чем общие радости. И в ту ночь мы были близки беспредельно, почти с радостью готовые нести наш крест.

После выставки и разноса нас оставили в покое, но покой был тревожный и неопределенный, и, как пошучивал Борька, от него пахло «вечным покоем».

Было неясно, как с нами поступят. Вроде бы нас и не трогали, мы ходили на занятия, как и все остальные, готовились к зачетам.

Приезжали какие-то комиссии, при любом случае декан говорил о «попытках отдельных студентов уводить здоровые творческие массы в сторону искажения действительности». Фамилии же тех, кто проводил эту зловредную и постоянную работу, словно жуки-древоточцы, кропотливо и ежеминутно вгрызающиеся в плоть здорового дерева, не назывались.

Намекалось и на то, что некоторые руководители творческих семинаров мало занимаются воспитательной работой, а значит, и к ним, к этим руководителям, тоже следует присмотреться.

Вот такая была атмосфера, и, как научно говорил наш декан: «Весь комплекс этих вопросов должен быть со всей полнотой поставлен и рассмотрен на факультетском собрании».

Что нас ждало на этом собрании?

Тот подъем, что владел мной в первые дни, разделенность общей судьбы, так хорошо поднимавшая и как бы бодрившая, внутреннее сопротивление — все это ослабевало, перетиралось; неопределенность положения, вопрос, который я не мог произнести вслух, но которым изматывал себя: а что будет дальше? — вот что изматывало.

Вечером мне казалось: ерунда, пронесет, а утром — режущим холодком по спине пролетало — ты влип, и, кажется, довольно крепко. Ведь все не так уж безобидно. И наши смелые речи, братание на ночных улицах — это час, миг, а исключение из института — это навсегда.

Какой-то другой голос уговаривал, успокаивал: «Ну уж, навсегда. Вспомни классическое: пройдет и это. Ну, предположим, даже и исключат, это ведь еще не смерть...» Однако не успокаивало. И хуже всего была именно неопределенность. В другом случае можно было бы идти и объ-

ясняться, просить. В другом случае была возможность пересдать.

А здесь — не пересдашь. Тут не экзамен, а что-то совершенно другое.

Я завидовал Борьке. Не то чтобы он был спокоен. Нет, конечно. Но он мог работать. Случившееся было для него помехой лишь внешней; внешнюю помеху в конце концов преодолеешь. Для меня же — внутренней, мешающей думать о работе вообще.

Собрание должно было начаться в час, а минут за двадцать до начала мы встретили в коридоре нашего Мастера.

О, как мы обрадовались! Ведь его уже не было видно в институте два или три месяца. Одни говорили, что он заканчивает большую работу, другие — что болеет, третьи — что сильно пьет.

Кто узнает истинную правду творческого процесса?

Но сейчас все это было неважно для нас, важно лишь то, что он здесь, с нами, и мы бросились к нему, точно увидели не руководителя семинара, а отца родного, спасителя.

В расстегнутом пальто, со сбитой набок шапкой из дорогого енотового меха по моде тех лет, он шел, перебарывая одышку, и особенно издали определенно напоминал классика XIX века.

Наши ожившие лица, расцветшие взгляды он встретил без отклика. Казалось, он с трудом узнавал нас, сопоставляя с теми, кого полузабыл, старался припомнить, да не мог... Впрочем, кто его знает, нашего Мастера? Взгляд его остановил нас, как бы приказывая выдержать дистанцию и сбить эмоции. Он бегло кивнул и пошел дальше.

Совсем не старое его лицо было бледным, истощенным, как после болезни. Как бы старалось выразить равнодушие ко всему, но выдавало неведомую нам усталость, тоску.

Все же он остановился и издали, чуть усмехаясь, сказал, почти пробормотал: «Ничего... Не такое бывало».

И пошел дальше. Мы переглянулись. Что это означало?

Равнодушную констатацию... Нет, это все-таки не походило на нашего усталого и ко всему безразличного Мастера.

Скорее всего он ободрял нас. Не очень явно, не очень энергично, да ведь это и не было в его характере.

Важно было, что сегодня он пришел, а значит, он с нами. Мы мало общались с ним, по-настоящему ни его работа, ни его болезнь не были нам ведомы. Но почему-то мы были убеждены: он не предаст нас.

В институте у него было особое положение. Он отрывался от преподавательской работы на долгие сроки. Другому бы этого не простили, но здесь, в течение многих лет, как говорят, прежнее руководство сохраняло его, поскольку его творческие силы нужны были не только институту, но и всей культуре, народу.

На каком-то совещании несколько лет назад, говорят, его крепко обругали, написали критическую статью, выявив в его творчестве «нарочито упрощенное воспроизведение жизни, тягу к отжившим художественным формам, в частности, к лубку...».

Почему же упрощенное? Он знал и понимал народное искусство, сложную простоту лубка.

Его сказочные звери, птицы, вспорхнувшие с плотных детгизовских меловых страниц, не были похожи на реальных синиц, скворцов или красноперок. Также они не были похожи на типично, традиционно сказочных Сорок-воровок или Синих птичек. Его диковинные птицы были скорее птицами воображения, они смотрели на вас добрыми или злыми, но обязательно осмысленными, обязательно человечьими глазами. Он находил удивительный цвет, золотой, но не рыночный, не аляповатый, а приглушенный, почти карий. Он замечательно рисовал небо, кусочек неба, отсвет неба, вспышку голубой лазури.

Впрочем, не только птицы были его героями, но и другие звери наших русских сказок. И серый волк, в одних случаях плохой, зловредный, похожий на немецкого солдата, крепко помятого нашими партизанами, в других случаях добрый, напоминающий стареющего, строгого на первый взгляд доктора. Лиса Патрикеевна выглядела у него стройной красавицей с узким гибким телом, с обаятельно лукавыми глазами... Говорили, что есть у него и взрослые сюжеты, что последние годы он много занимается скульптурой, но никто из нас этих его работ не видел. Он редко и неохотно говорил о своем творчестве, да и самого этого слова «творчество» избегал, употреблял его крайне редко.

И еще одно наблюдение: он не любил ставить оценки в зачетки, всегда морщился, прежде чем вывести «хоро-

шо» или «отлично». Видно, для него «хорошо» и «отлично» было что-то другое, недостижимо высокое, никак не равнозначное тому, чем он мог оценить наши опусы. И вообще он не любил подписывать листы, не любил всего того, что имело отношение к бюрократическому процессу. Этот процесс его раздражал.

Когда ему нравилось что-то в наших работах, он вначале хмурился, как бы недоумевая, не веря, а потом становился приветлив, почти даже нежен. И вообще, когда он постоянно бывал в институте, между нами устанавливалась связь, даже своего рода родство. Когда он исчезал, то он словно забывал о нас, о нашем существовании, и в первые дни после появления эта связь с трудом налаживалась; в такие дни он казался мне героем своей сказки, волком, потерявшим или забывшим своих щенков...

Общий разговор, шедший на собрании, нас вначале не касался: успеваемость, сроки курсовых, задания на практику и т. д. Эта обыденность сначала успокаивала и усыпляла. И я уже начал думать, что все опасения преувеличены, поговорили да перестали, а теперь, может, и вовсе не вспомнят.

Река текла вяло, неся щепки и щепочки повседневной институтской жизни, текла, никуда не впадая и ничем не кончаясь, так как сколько я учился, столько слышал эти разговоры на всех собраниях, более или менее одинаковые. И вдруг вялое течение этой реки напряглось, обозначилось холодное течение и на берег полетели первые камни.

Тревожные сигналы, симптомы болезни... не упущения, но ошибки. Изъяны в воспитательной работе... Недостаточная требовательность... Неверное понимание задач художника... Все это раз и навсегда отлитые определения одно за другим вылетали из уст декана.

Старейший наш преподаватель по рисунку, работавший в институте чуть ли не с его основания, пробормотал в паузе, но так, что все слышали:

— Уж что-то больно мрачная картина.

— Нет, я нисколько не сгущаю краски,— декан посмотрел сквозь толстые стекла своими обманно-близорукими глазами, все видящими, все примечающими.— Я бы мог вам рассказать, как вели себя некоторые наши студенты на практике, оглупляя порученную им ответственную работу. Уважаемый Мастер реагировал на это как на обыкновенное мальчишество. А на второй практике, на

заводе, все повторилось в гораздо более серьезной форме. Мы видели это на студенческой выставке. И если мы сейчас не сделаем должных выводов, то...

Стало тихо. Фраза как бы повисла на середине. Никто ее не поддержал, но никто и не возразил.

— Может быть, руководитель мастерской, Игорь Николаевич, выскажется? — не поворачиваясь к нашему Мастеру, сказал декан.

Мастер не вставая сказал своим ворчливым тенорком:

— А что тут высказываться? Собственно говоря, я не вижу предмета для обсуждения.

Декан широко развел руками:

— Вот видите, нету предмета. Что же у нас с вами в вузе должно случиться, чтобы вы посчитали это за предмет? Так вот мы и потворствуем им, так вот мы их и портим... Вот как мы относимся к нашей творческой смене.

— Относимся, действительно, не лучшим образом. Только я о другом думаю. Мало мастерских. Плохо с натурщиками. Формально проходим, точнее пробегаем, историю искусств, историю живописи. Художникам, будущим профессионалам эта история толкуется ученически, упрощенно, по-дилетантски. Не знаем собственного прошлого, своих памятников, великих взлетов ранней нашей живописи, русского зодчества. Вы много говорите о современности, о связи с жизнью,— Мастер быстро, жестко взглянул на декана,— но мы с вами ее понимаем по-разному. Я за точность видения, за свой взгляд. Вы — за приблизительность. А приблизительность в искусстве не проходит, здесь, если не выстрадано — значит, пусто. Очень мне жаль, что меньше стало в институте классных преподавателей, знающих мастерство, умеющих конкретно показать студенту, *как* надо делать.

— А те, которые есть,— бесстрастным, нарочито стертым голосом сказал декан,— появляются редко, не знают, чем заняты их студенты.

— И с этим я согласен. Я принимаю на свой счет. Но художнику и самому хочется поработать, пока работается.

— Значит, надо, как бы это поточнее сказать... выбирать...

— А выбора нет. Я бы, может, ушел из института, да, выходит, нельзя уходить. Нельзя отдавать способных людей в чужие руки, тем более в руки, от нашего дела далекие.

Кашлянув, вступился до сих пор молчавший ректор:

— Мы сейчас, уважаемый Игорь Николаевич, педагогов не обсуждаем. Мы студентов обсуждаем. Так что ближе к теме.

Так же не подымая глаз, острым своим, как бы раздраженным голосом Мастер сказал:

— Педагогов тоже иногда обсудить не худо... А что касается студентов, то в качестве самой большой заразы и бог знает чего еще здесь говорится о наиспособнейших. Никитин у меня самый сильный, да и не только на курсе... И работа, представленная им на выставку, очень занятна.

— Вот именно, занятна,— сказал декан.

— Ну, это уж моя терминология. Я бы мог сказать талантлива, самобытна, но я опасаюсь таких слов. Во всяком случае, в Никитине я вижу художника. Что же касается второго, Афанасьева, то он тоже одаренный человек, у него есть фантазия, я бы сказал, прирожденная техника... Правда, он несколько книжный, но и это не беда, пройдет. А ярлыки клеить — дело легкое.— Казалось, его сейчас поведет в спор, в какую-то неслыханную дерзость, такое у него было лицо, но, словно спохватившись, он сказал уже другим, спокойным и как бы типично преподавательским тоном: — Не знаю, как по другим дисциплинам они успевают, но по моей я спокойно могу поставить им хорошую оценку.

В зале прошел шумок.

Побледневший декан встал.

— Вот вы сказали, педагогов мы не обсуждаем,— сказал Цесарский.— Будет время, обсудим и педагогов. А сейчас мы обсуждаем студентов. Двое наиспособнейших, как выразился их руководитель, самовольно покинули практику, представили работы, сознательно искажающие людей. А когда им было сказано, что эти работы не принимаются, они самовольно выставили их на всеобщее обозрение. Вам не нравится термин профнепригодность. Пожалуйста, я ставлю вопрос о гражданской непригодности, опаснейшем инфантилизме и о том вреде, который может принести нам попустительство и поглаживание по головкам. Не такое сейчас время. Мы подорвем авторитет нашего вуза, если будем терпеть пренебрежение к его порядкам и традициям... Может быть, они действительно и небездарные люди. И я вовсе не желаю им зла. Но они должны получить урок, который будет понят и остальными, потому и отношусь к этому со всей серьезностью и прошу всех от-

нестись также. Считаю необходимым поставить вопрос об отчислении.

— Этот вопрос мы будем решать на ученом совете,— нарочито неторопливо, как бы снимая накал, напряжение, сказал ректор.

Неопределенность затянулась и стала привычной. Никто нас не выгонял с лекций, мы готовились по-прежнему к зачетам, но, проходя каждое утро мимо доски приказов, останавливались.

Мы ждали приказа, а приказа все не было. Мы оглядывали эту доску бегло, но цепко, мы не показывали даже друг другу, что ждем... Нет, не ждем, все будет в порядке.

Но я ждал. Не знаю, как Борька, но я ждал. Меня еще не исключили окончательно, но я сам словно бы исключил себя. Еще не случившееся виделось мне как случившееся.

Борька же чаще всего был хмур, резок, слегка поддавал и тогда добрел и говорил мне: «Ни хрена, прорвемся».

— Ни хрена, прорвемся,— повторял я.

Я не показывал своей жалкости, своей растерянности, наоборот, я шутил, острил, небрежничал. Потом ребята говорили: «Ты держался молотком». У нас так тогда говорилось: «молоток». То ли от слова «молот», то ли от слова «молодец». Кремень-парень, железо.

Раз никто не видит, значит, я действительно молоток.

Борька Никитин видел, скорее даже не видел, а чувствовал.

Мы провожали друг друга, то он меня до дома, то я его до общежития. Говорили о самых разных вещах, только не об этом. Вроде все уже давно рассосалось... Но висело, висело. Мы и сами это хорошо чувствовали в институте. И потому Борька, чуть кривляясь, говорил мне, когда прощались: «Старичок, не боись».

Выражение дворовых огольцов послевоенной поры. Нормальные слова «не бойся» как бы поворачивались, приобретали другой смысл: лихость, напористость, бесстрашие.

Такой корявенький, успокаивающий девиз.

...А приказ, который мы ждали, был уже напечатан.

И был обсужден. Кем-то утвержден, а выше — нет. И в последний момент ректор дал отбой.

Секретарша, жалевшая нас,— есть такие секретарши, которые всегда жалеют,— показала нам потом стенограмму ученого совета.

Цесарский наскакивал, но ректор его сдерживал, поправлял, снимал углы, и в заключение он сам выступил.

Он говорил весомо, рассудительно, как всегда.

— Ну что ж, и так бывает. У двух уважаемых педагогов две противоположные точки зрения. Думаю, что каждый по-своему прав. Конечно, мы живем в напряженное время, и нам следует быть более внимательными к нашей художественной смене. Студенты, о которых идет речь, люди одаренные, безусловно перспективные. Но их, что называется, несколько занесло. Но на то мы и педагоги, чтобы их поправить, подсказать. У них есть сильный творческий руководитель, известный Мастер. Но и Игорь Николаевич прав, заботясь о творческой индивидуальности, о самобытности, о том, чтобы наши студенты были не копиистами, а художниками, мастерами. Только тогда они и сумеют передать дух времени, его движение. И поэтому, я думаю, надо вести разговор шире, не сводя к работам двух отдельных студентов, надо говорить об учебно-методическом процессе, о наших практиках, о порядке в наших общежитиях, о каждодневной воспитательной работе.

И обсуждение пошло по совершенно другому руслу. Мы мало знали нашего ректора. Нам всегда он казался очень осторожным и далеким от художественных интересов человеком.

Только через много лет мы оценили его византийскую мудрость.

Впрочем, если бы он не был мудр, он бы не был ректором.

На последнем занятии Мастер подводил итоги за семестр.

Начал он с самых слабых и скучных работ. Потом отвлекся, сам вид этих работ рождал скуку, и, чтобы забыться, Мастер стал рассказывать о японских гравюрах, об их технике. Он сравнивал их с японскими тристишиями, и даже прочитал одно наизусть.

Оно поразило нас с Борькой своей простотой:

Долгие дни весны
Иду чередой... Я снова
В давно минувшем живу.

И еще нас удивило, что Мастер знает стихи. Почему-то казалось, что кроме живописи — все ему чуждо.

На том и кончилось то странное занятие. Мастер попросил зачетки. Мы с Борькой были где-то в середине. Я подошел и, не глядя на него, сунул зачетку и отвел глаза. Я уже говорил, что меня всегда не покидало ощущение, что в последний момент что-нибудь сорвется, что судьба отвернется от меня.

На этот раз рукой Мастера судьба старательно выводила журавлик пятерки.

Потом подошел Борис. Он выложил свою зачетку и усмехнулся.

Мастер тоже усмехнулся. Мне даже показалось, он подмигнул Борьке. Оценка была та же.

Будто ничего и не случилось, будто и не было декана, выставки, «неореализма», угрозы исключения.

Странная слабость и теплота, близкая к дурноте, охватила меня... Хотелось что-то говорить, благодарное, может быть, даже жалкое. Хотелось сказать, что раз есть Мастер, значит, есть и справедливость. Но мне показалось, что это слишком громко.

Благодарного — не получалось. Жалкого — не хотелось. К тому же признания не были приняты в нашей мастерской. Стихи были здесь редкостью, может быть, единственный раз. У нас был деловой стиль, и Мастер редко нарушал его.

Значит, и нам не пристало.

Я даже не помню, как декан исчез. Существовал, существовал и исчез. Времена изменились, и он стал не нужен. Уже никого не корили «неореализмом», внимательно изучали всякие другие «измы», особенно начала века, они становились даже модными, правда потом пришла полоса критики абстракционизма, но в этот период декана уже не было с нами. Свою воспитательную работу он проводил, возможно, уже в другом вузе. Кто-то рассказывал, что его вообще убрали... Что не преподает, проштрафился. То ли кому-то слишком помогал при поступлении и был небескорыстен при этом, то ли что-то еще, в общем, что-то бытовое, не идейное.

Но возможно, это было досужим вымыслом, местью недоброжелателей.

Лет через пять — семь он снова возник: брошюрки, книжечки, что-то на тему «Зритель и искусство».

На одной выставке книжной графики я встретил его. Я представил там иллюстрации к «Ледяному дому» Лажечникова.

В конце он выступал, хвалил художников, ищущих свою индивидуальную манеру, и среди тех, кто ему особенно понравился, отметил и меня.

Еще секунда, казалось,— назовет учеником.

Эта лодочка, видно, была непотопляема.

Еще не раз он встретится в нашей жизни, постаревший, но не одряхлевший, всегда энергичный и возбужденный, как бы постоянно включенный в сеть и вибрирующий, как перекаленная электробритва. Да, он подобрел и стал более терпим к способам изображения жизни. Впрочем, время от времени появлялись его статьи с металлическими нотками.

Учтивый, оживленный блеск под толстыми стеклами старомодных очков неожиданно вдруг застывал и сгущался, тускло посверкивая свинцом.

А Мастер наш вовсе не переменился, так же исчезал и появлялся, но авторитет его все рос и рос, даже вне зависимости от его собственных новых работ. Да, кажется, они почти не появлялись. И каждое новое поколение, приходившее в институт, подхватывало старые легенды: о его твердости, о том, как он защищал подвергшихся гонениям, и т. д.

Быль всегда смешивается с легендами, а легенды становятся былью.

Ленинград, Питер, Петербург.

Мы срывались на три дня, жили у одного нашего приятеля по институту в ленинградской коммуналке, на Литейном проспекте с высоченными, в вензелях, голубоватыми, как небо, потолками, с огромными окнами, в которых долго и серо занималось петербургское утро.

Знакомый до слез.

В ту пору я любил этот город больше всех городов, больше родины своей, Москвы.

Мы пропадали днями в Эрмитаже и Русском музее.

Богом моим был тогда Нестеров. Полузабытый, лаконично отмеченный петитом в наших школьных программах, еще не переживший новую, позднюю свою славу, даже моду.

Три его портрета буквально околдовали меня: «Портрет дочери», «Портрет Сергия Радонежского» и особенно «Великий постриг».

В «Великом постриге» крылась тайна, никогда не разгаданная; с годами я лишь подошел, пододвинулся к ней. Тайна преображения, не судьбы, а души. Душа, измученная обидой, или, может быть, ошибкой, почти раздавленная, но одновременно способная на великое чувство. Но кому нужно это чувство, и где предмет его... Теперь она ищет успокоения.

Я подолгу всматривался в это нежное, очень юное лицо монашенки, уже познавшее боль. В глазах — примиренность, но еще что-то давнее, полное надежды встретиться живет. Только что? В этом и была тайна. Казалось, она понимает, что постриг не принесет избавления. Скорее он попытка избавления, попытка выхода. Лицо выражало и страх перед самой жизнью, перед ее неразберихой, и готовность к смирению, служению и страх перед ним.

Вспоминалась героиня «Чистого понедельника» Бунина. Мы с Борькой прочитали его в рукописном виде. Бунин еще не начал издаваться. Рассказ этот поразил меня пряной горечью, звуком, цветом, живописью. В нем была златоглавая, трактирная, театральная, немного романтическая старая Москва, идущая неотвратно к невиданным переменам, к неслыханным мятежам. О такой Москве мы знали, догадывались. Готовые к сносу, не представляющие исторической ценности, уже пустые, разоренные домики Замоскворечья пытались рассказать что-то, да мы не всегда умели услышать. Постоянная обращенность в себя, перелом судьбы, такой с виду счастливой и яркой.

Оказывается, страх перед жизнью иногда сильнее, чем страх перед смертью.

Борька — суеверный, тайно верящий в предопределенность судеб — в повседневном своем поведении не только отталкивал всякую мистику, но и потешался над ней. Может быть, он чувствовал, предвидел?..

И любил он другие полотна, хотя и к этим был явно неравнодушен. Более всего он простаивал у мало кому известного портрета Зеленова «Мальчик у стола».

Портрет как портрет. Такой можно было встретить и у Сороки, и у кого-нибудь еще.

Деревенский мальчик у стола, сидит с ложкой, ждет похлебки, каши. Вот и все. Блеклый тон. Тьма избы, тьма жизни.

Только в глазах ясность, скрытое, но какое-то радостное удивление, удивительная чистота, улыбка. Вот в ней и было все дело, вся тайна портрета.

Чему он улыбался, мальчик, в котором, наверное, Борька видел себя? Тому ли, что мамка пришла с поля, а он наголодался и ждет и мать, и еду; и само ожидание — маленький праздник. А возможно, никакой мамки нет, а он сирота, уж больно он одинок. Одиночество в его позе, еще в чем-то неуловимом.

— Выходит, опять мистика,— говорю я Борьке, продолжая старый спор.

— Никакой мистики. Просто он благодарен за то, что он есть, за то, что так получилось, что он живой, существует на этой грешной земле. Он живет плохо, но радуется тому, что живет, в отличие от твоей возлюбленной.

— Какой возлюбленной?

— Нестеровской... монашенки.

В институтской мастерской мы сидели втроем и отрабатывали обязательный курсовой натюрморт. Противоестественно яркие муляжные яблоки, груши лежали перед нами. Там же стоял букетик цветов.

Сашка делал это все технично, быстро: цветы так цветы, и они были как живые. Мы втайне смотрели на его работу свысока, нам казалось это похоже на фотографию. Позднее мы поняли, что он рисовальщик-профессионал, что он умеет изобразить натуру, и это не мало, когда вокруг бродят стада дилетантов, неспособных натуру воспроизвести и выдающих за образ лишенный гармонии и мысли случайный набор световых пятен.

Было жарко, Борька лениво макал кисть, возникало что-то кирпичное, красное на фоне зеленых травинок. Я не понимал, чего он хочет, куда ведет. Лень было понимать.

Я трудился, проклиная все на свете, ненавидя это обязательное упражнение.

Я встал, в голом окне мастерской был виден сквер, незапылившийся московский скверик, с вытоптанной травой. В этих пролысинах травы копошились дети. Я отвернулся от окна, походил по мастерской, с мукой взирая на возрастающее усердие друзей, и увидел, словно впервые, пол, выщербленный, в подтеках краски, пустые бутылки, ворох окурков, осыпавшихся над консервной банкой, га-

зовую плитку, с почерневшим, много раз сгоравшим и так и не сгоревшим кофейником.

На каждом из нас спортивные, заляпанные краской штаны, на подоконнике угластый репродуктор, на стене «Весна» Филиппо Липпи. Весь этот ставший тягостным набор освещался солнцем, свободно, жгуче входившим в мутно-стеклянный, как бы парниковый потолок. Я ходил и ходил по мастерской, концентрируя что-то вокруг себя, нагнетая некое состояние, которое должно было сообщить мне силу напряжения.

Но нагнетания не получалось.

И тогда, не прощаясь, освобождаясь от всех обязательств перед собой, перед институтом, перед искусством вообще, я бежал из мастерской почти счастливый от возможности такого простого, хотя и малодушного выхода.

«Завтра все придет»,— успокаивал я себя.

Сколько раз потом в жизни я испытывал эту беспомощность, тупость, леность, преступную вялость, неспособность, а скорее даже нежелание пробудить в себе живое чувство.

Натюрморт с полузасохшими цветами...

А сейчас — какое счастье — земля, асфальт, трава. Заправдашний, терпкий, реальный мир, а не тот мертвенный, полудохлый, что скопирован тобой.

Сила воображения, обгоняющая жизнь. Но как сделать, чтобы оно подняло тебя, когда оно ползает по полам и видит лишь то, что попадается на глаза? И какое рабство нагнетать его в себе.

Правда, бывали и другие, счастливые, лихорадочные минуты, часы, подобие радостной болезни. Возникали они не сразу, а через вялую муку начала, через темную первую пробу, и вдруг тепло догадки, может быть, счастливой, и тут же страх сбиться, пойти не туда, а дальше уже как бы от тебя не зависящее движение руки, словно мозг переселился в нее и диктует, потеря ощущения времени, даже не радость от работы, нет, не радость, а естественность, единственность этого состояния, такого же необходимого, как сон, или, наоборот, пробуждение.

Так бывало, и не раз. Легче всего мне было тогда, когда работал постоянно, каждодневно, подавляя собственное безволие. В эти дни, казалось, его и нет, не может быть. Жадность к работе, тяга, азарт, радостное ожидание завтрашнего дня.

Но бывало и по-другому.

Безволие имело разные формы. Иногда форму откровенной лени, особенно в юности. Знаете это: «завтра, завтра, все начнется завтра»?

Потом другое, уже более серьезное: боязнь начала, новой работы, бесконечное топтание на подступах...

Это лишало покоя, уверенности в себе. Ты завидовал даже тем, кого считал слабее, бездарнее. Они что-то делали, трудились, у них было «рабочее состояние». А ты забыл, что такое рабочее состояние. Оно так долго не возникало, что ты забыл, на что оно похоже, что это вообще такое за состояние. И ты жил воспоминанием о той, прежней работе, как живут воспоминанием о прежней, уже ушедшей жизни.

А сейчас я видел лишь шланг, дохлой змейкой свернувшийся в саду.

Попробуем представить, что это сад, а не обычный московский скверик, сад из еще только начавшейся твоей жизни, где был дачный кооперативный поселок «Красный строитель». Дед и бабка, поливающие сад. Сейчас нет ни деда, ни бабки. Не старость, а волны эпохи смыли их и смыли твой сад.

А сейчас прочь все. Нет ни прошлого, ни будущего. Ты один в своем настоящем, еще очень молод, свободен, так возьми маленькие радости жизни в надежде на большие.

Хотя бы детский вкус к газировке, которую наливает женщина в халате. Над ее белой спиной, над ее чудо-аппаратом навес от солнца. Густой рубиновый сироп за 40 копеек, сейчас такой вы не найдете. Автоматы хоть отмеривают точнее, но не подарят вам забытого детского блаженства.

Что же дальше? Домой? Нет. Не хочется из одной маленькой темницы переходить в другую.

Да и что делать в пустом дому, если нет никого? Родители в экспедиции, ты сам себе хозяин.

Итак, смесь горечи и сладости, глоток газировки, огромность города, всегдашнее одиночество, в котором все-таки ты связан со всеми и чего-то ждешь от них так же, как они чего-то ждут от тебя. Так только в молодости бывает.

Ожидание чего? Неизвестно. Это даже трудно объяснить. Это состояние точнее назвать ожиданием ожидания.

Может быть, это и чушь для сегодняшнего молодого делового человека, уже запланировавшего заранее все свои деловые и неделовые встречи.

Но мы-то другое поколение. Понятие о цене минуты, о

точном маршруте дня, месяца, года, запрогнозированность будущего у нас другая. Мы и часы-то заимели поздно, собственные личные часы, собственную «Победу». Какая взрослость и какая роскошь! Я, например, получил их лишь в десятом классе, после выпускного вечера, с вручением аттестата, выпивкой, беготней в светлых рубашках и белых платьях по московским мостам и неожиданно закончившей эту чудесную ночь дракой.

Итак, ожидание ожидания — это вообще. Это состояние.

А конкретнее если: то ожидание встречи. С кем? Неизвестно. Образ неясен, двоится, троится, четверится. Важно, что эта встреча изменит все, навсегда.

В тот день ничего, естественно, не произошло.

Троллейбус. Какая-то смазливая девушка, хочешь подсесть, познакомиться и одновременно чувствуешь натянутость и пошлость такого знакомства, особенно по сравнению с тем Великим ожиданием. Так и не познакомился, дурак.

Вышел на своей остановке. Пыль и гарь летней Москвы. Улетающие парашюты ярких платьев по моде тех лет. Куда они летят? Где снизятся, где упадут с шуршанием?

Все чужое и вместе с тем, если посмотреть со стороны, чувствуя себя ничьим, одиноким,— свое, очень знакомое, свой, обжитый город; странная робость перед жизнью и такая же уверенность, что она состоится именно так, как ты задумал.

Кисть уже обмакнута в краску, рука уже поднесла ее, но не знает, не ведает, может быть, и умеет, да не решилась. А может, просто сознание, что все это еще черновик, необязательный блокнот, многие листы можно переписать, вырвать, начать сначала.

Беловик еще далеко... Оказывается, он начинается раньше, чем мы думаем.

Итак, ничего не произошло, ничего не происходит.

А произошло на следующий день.

Обыкновенный телефонный звонок, только, может быть, чуть более долгий и настойчивый. Его настойчивость заставила меня, уже запиравшего дверь, вернуться назад (вопреки привычке никогда не возвращаться), пробежать через всю квартиру и буквально поймать, подхватить последний, наверное, уже звук длинной, энергичной трели.

— Это ты, Юра?
— Да.
— Ты не узнаешь?
— Нет... Если можно, поскорее.

Но словно не чувствуя того, что я тороплюсь, спешу, незнакомый голос продолжал эту незамысловатую, почти детскую игру.

— А ну-ка, припомни.

Голос был певучий и, словно непривычный к телефонным разговорам, неуловимо провинциальный.

— Угадайка-угадайка, интересная игра,— передразнил я невидимую собеседницу.— Извините, но я опаздываю в институт.

— Это Нора, слышишь? Ты что, забыл?

Грудной голос, еле ощутимый грузинский акцент, неожиданная детскость тембра. Нора.

Обрадовался ли я? Скорее удивился. Это было недавно еще, но как бы из другого мира.

Я абсолютно ясно увидел ее лицо, освещенное солнцем, загорелое; счастливую улыбку. Оно было отдельно от мрака, ужаса той ночи, когда я увидел обескровленные губы Арчила, белый лоб самоубийцы, услышал крик: «дядя», ощутил что-то еще более страшное, чем сама смерть, что-то более противоестественное, чем она.

Сила чужого отчаяния. Только в молодости легко удается отогнать *такое*, жить как ни в чем не бывало, засыпа́ть ворохом дел, новостей, встреч.

И голос ее я не забыл, просто другие голоса накладывались и забивали, словно в междугороднем телефоне, и совсем заглушили, хотя только год прошел.

Да, я помнил ее голос, не помнил только слов; помнил еще скрип гальки, тишину южного вечера с теплым ветром и влюбленность, лишенную ответа, нелепое соперничество с другом, что-то унизительно мальчишеское и вместе с тем неотвязное.

По настроению, что называется «по химическому составу» чувств, все это походило на первую любовь, хотя на самом деле моя первая любовь была далеко и после нее уже были эпизоды и встречи и прочее. А сама эта «первая любовь» была совсем не такою, какою набрасывают художники легкой пастелью.

Учительница немецкого языка в средних классах, Алла Петровна. Когда она входила в класс с журналом, я не мог оторвать глаз от ее длинных ног, слепящих капроно-

вым блеском, от ее глаз, голубых чуть, от ленивых движений ее рук, ее наманикюренных пальцев, сжимающих мелок.

— Тишина! — звучал ее сильный голос, в котором я чувствовал вовсе не учительскую власть.

Это была та любовь, о которой никому не рассказываешь, которая так и остается в плохо освещенном туннеле подсознания.

Впрочем, какая там учительница!.. Старый сон... Нора в Москве, вот неожиданность.

Интересно, что мы с Борькой не говорили о ней ни разу...

Но об этом лучше сейчас не думать... Сейчас мы в Борькином доме, поедаем пельмени, приготовленные его женой, из столовой на кухню дверь открыта, и я вижу: ее крепкие руки ловко подбирают мясо, заворачивают в теплую тонкую наволочку теста, как нескончаемый конвейер несет кораблики пельменей — целый флот, плывущий в наши рты, в молохи наших желудков.

Нельзя сказать, что она некрасива, у нее ясные, холодновато-серые глаза, прекрасные волосы, чистый овал лица, у нее тонкая талия, кустодиевская грудь, но в походке, в руках, в плечах — что-то неженственное, даже мужское.

Я видел, как она гребет. Мы плыли на рыбалку, очень рано, почти на рассвете. Борька сидел на корме; воспаленные глаза, серое, пористое как губка лицо выдавали то, что он пытался скрыть улыбкой, редкими всплесками энтузиазма, когда Сашка рассказывал о поездке на Алтай.

— Здорово! Завидую, братцы,— говорил он и вроде бы ждал все новых рассказов, а мы чувствовали: он замкнут, по-настоящему не слышит нас; долгая мучительная бессонница измотала его. Общение с ним подменялось видимостью общения.

Сколько же таких дней выдержала она.

И вот сейчас рыбалка и мы, как когда-то, гребем к Плесу, не столько в ожидании добычи, сколько в предвкушении прекрасного вечера, костра, разговоров, свежего запаха жареной рыбы.

Ничего этого, впрочем, не будет. Пить в его присутствии нам нельзя и не хочется. А рыбалку она затеяла

лишь для того, чтобы вывести его из состояния привычного равнодушия, вялой угнетенности.

И глядя на мужской размах легко, сильно работающих рук, я спрашивал себя: почему именно она стала женой нашего Борьки?

Ведь за долгие годы его одиночества были и другие, более женственные, более красивые... Они так хорошо говорили ему о даре, о славе, которая, только еще немного подождать, и придет.

Но они исчезли, отпали. Она же прошла, как сквозь олимпийский отбор, долгий путь, где финал и не виден.

Чем она взяла?

Она никогда не говорила ему о его гениальности, о его таланте. Я знал, что он не верит словам, придает им малое значение, иногда они даже раздражают его, но ему необходимо как художнику хоть какое-то признание, пусть хоть друзьями, хоть женой, искреннее, пусть даже молчаливое.

Кстати, я редко слышал, чтобы она говорила с ним о живописи, об искусстве. Слушала, да, но не говорила. Возможно, в ней было непонятное, недоступное мне очарование, может, ее простота, прямота, некоторая грубоватость давали Борьке ощущение прочного тыла, где он прикрыт от всех бед и неудач жизни.

А скорее всего, она вошла в его жизнь в тот единственный момент, когда и надо было войти, в тот момент, когда он начал терять то, что всегда держало его на плаву: уверенность в своей творческой силе.

Вот тогда она и появилась и осталась с тем, чтобы его спасти, и он это понял и принял.

Не случайно вспомнилась та рыбалка. Борька не хотел никуда ехать, но она настояла, никому из нас не доверила весла; была не лучшая для рыбалки погода, лодку сносило, но гребла очень спокойно, и это спокойствие передавалось всем. Она вела лодку, на корме которой с бледным, равнодушным, злым лицом сидел Борис. Но уже через несколько часов он стал приходить в себя, глаза его обрели цвет, ожили, словно прояснился и наладился фокус в телевизоре, появилось отлаженное изображение.

Вот он уже нырял в воду, заплывал далеко.

Ныряли глубоко, до дна, зная, что вынырнем, что нам еще не время тонуть.

Лодочки, кораблики, челны...

Пельмени по-сибирски, теплый дом. Все вроде бы на-

лаживается, и потому ни слова о делах, тем более дела не очень хороши, выставка его, которую мы с таким трудом организовывали, кажется, срывается, но говорить ему об этом мы не станем.

Я скашиваю глаза на рисунок в деревянной рамке, висящий чуть в стороне от фотографий. Интересно, что на стенах нет ни одной Борькиной картины, кроме этого рисунка. Зато фотографий множество, как в деревенской избе: Катя с отцом, Катя с матерью, Катя с Борькой. И в стороне, над ними, чужой им, точно из другого альбома, из другой реальности незаконченный рисунок.

Она сверху, чуть прищурившись, смотрит на нас. Мы разговариваем, встаем, садимся, позвякивает посуда, а я чувствую все время ее взгляд: словно ей оттуда надо разглядеть нас: Борьку, меня, Сашку, Борькину жену Катю.

Сколько всего было, сколько же времени, как бы разверстанного в пространстве, разделили нас и ее. Словно поезд, из которого она вышла, а мы сидим, те же пассажиры, только изменившиеся до неузнаваемости. Поезд то рвется, то катится медленно, то стоит на остановках, но он все дальше и дальше оттуда, где она осталась навсегда.

— Нора,— говорит она мне певуче и почему-то с более слышным по телефону, чем в жизни, грузинским акцентом.

Трубка повешена. Нас разъединили, и слышно только шелестение, разряды, неясные шорохи темного бездонного эфира...

Мы встретились у кинотеатра «Аврора» на Покровке.

Но времени, пространства и событий, разделивших нас на год, будто и не существовало. Словно вчера или позавчера расстались.

— Может, в кино?..— предложил я.

Она усмехнулась и покачала головой. И тут я впервые увидел, что глаза у нее другие, чем там, дома, несколько потухшие, и вся она смотрелась иначе; неуловимо угадывалась какая-то неуверенность, лицо стало меньше, не смуглое, как дома, а желтоватое, словно с отцветшим, побледневшим загаром.

У меня не было денег повести ее в кафе, но мы пошли в рыбный магазин наискосок от «Авроры» и у мраморных

столиков поедали бутерброды с рассыпающимися, младенчески розовыми крабами, перевитыми гирляндами майонеза.

Она ела, стараясь сохранить осанку и безразличие к еде, ела красиво, неспешно, как чаще всего красивые женщины умеют есть, и каждое движение ее было красивым и внешне спокойным, но я чувствовал неуловимую растерянность; ее гортанная речь с чуть заметным орлиным клекотом грузинского акцента была на сей раз смягчена и даже чуть искательна. Может быть, это наш огромный город придавливал ее?

— Ну как ты, где ты? — спрашивал я.

— Я все-таки поступаю туда, куда хотела. Уже прошла предварительный творческий конкурс.

— Значит, все хорошо?

— Да, конечно, кажется, все неплохо.

Мы вышли из магазина, шли вверх, мимо казарменного здания пожарной охраны с его старинными окнами-бойницами, мимо белых, с ярким на солнце желтком домиков с колоннами и большими старинными венецианскими окнами.

Я хотел ей показать свою Москву, от Чистых прудов до Большой Ордынки, с тем чтобы потом вернуться к Гоголевскому бульвару, в Филипповский переулок, показать церковь, где моя мать святила куличи на пасху («Я не верующая, не думай, но это традиция, так в детстве было»), извилистые московские дворы, холодные вечерние скамейки, множество соблазнов обещающего и просторного вечера.

Она слушала, смотрела, восторгалась со мной вместе, но скорее механически, была чуть рассеянна, и я ощущал все время то ли тревогу, то ли скрытую, но разъедавшую ее заботу.

Я думал с удивлением и гордостью: «Она все-таки мне позвонила, а не Борьке», пока не сообразил: Борька в общежитии, а у меня есть телефон; вот как все просто, вот почему я, а не он.

Она ни разу не спросила меня о нем, будто его и не существовало. Это даже настораживало, наводило на мысль о том, что я чего-то не знаю в их отношениях.

В буфетике на Пятницкой пили вермут, она морщилась: «Разве это вино, разве это можно пить?»

Я незаметно захмелел, так как пил за двоих, и, осмелев, взял ее за руку, приобнял, она не сопротивлялась,

была рядом и все время — далеко, приветливая, почти ласковая, но очень чужая.

— Нора, ты здесь... как странно, что ты здесь.

Странность и вместе с тем закономерность ее появления — вот скрытые лейтмотивы того вечера, внезапное перенесение совсем из другого края, видящегося отсюда далеким, душным и пряным ботаническим садом. Оттуда — на будничный московский асфальт.

Кстати, всю жизнь меня удивлял закон быстро, почти мгновенно меняющейся реальности, внезапное изменение декорации, сначала удивительное, потом становящееся закономерным и само собой разумеющимся — перенесение в новую обстановку.

Никогда там, на ее родине, мы не были с ней вдвоем, но почему-то казалось, что сегодняшнее бесцельное блуждание по вечереющей летней Москве — продолжение чего-то уже бывшего, словно в огромности этого города одинокие и вместе с тем неожиданно слитные, быстро привыкая друг к другу, мы приращивали к этим двум часам хождения по Москве месяц той, далекой, уже нереальной жизни и год разлуки.

И в тот момент, когда я уже не думал ни о ком, кроме себя и нее, когда никого уже и не существовало, она спросила о Борьке.

Вовсе не хотелось сейчас говорить о нем.

— Как он? — переспросил я и добавил: — Ну как он... Нормально.

Это стереотипное, ничего не выражающее словцо инстинктивно было произнесено мною, оно должно было снизить, точнее занизить, ее интерес к нему; именно то, что она сначала ничего не говорила, а потом спросила, именно то, что он и не существовал и вдруг появился, сразу как бы зачеркнув все наши разговоры, хождения, превратив все это в заполнение паузы, в бессмысленное убивание времени перед чем-то более важным и существенным для нее, перед встречей с ним.

— Если хочешь, сейчас к нему поедем — в общежитие.

Я говорил вполне искренне. Если так, то поедем. Если это ей надо, то поедем. Троллейбус «двойка» до конца маршрута и дальше немного по пустырю, а там и общежитие. Там еще не спят. Может быть, пьют, может быть, спорят об искусстве.

Она помолчала и сказала:

— Да нет. Может быть, в другой раз.

Шли, болтая о чем-то неважном, необязательном. Такой разговор только разъединял. Зачем-то я ей рассказал о том, как нас исключали. Она слушала очень внимательно, чуть испуганно.

Теперь она вновь доверчиво шла за мной, мы успели посидеть на всех чистопрудных скамейках, потом пошли в переулок Стопани, в Дом пионеров, где начиналось мое художество, мимо диковинных машин у швейцарского посольства, мимо хрустально светящихся нарядных его окон, сквозь сад Дома пионеров, затем в утлый тупичок с мрачной надписью «Кожно-венерологический диспансер».

Очутились в тупике, в ямах строящегося дома, трещащим забором перелезли на Харитоньевский. Мы оба устали до одурения. Хотелось еды и тепла. И тогда я предложил:

— Зайдем ко мне?

Она постояла в нерешительности, затем молча кивнула головой.

Комната моя в коммунальной квартире, в доме на Машковом переулке, была пуста, родители с ранней весны уехали в партию, да и вся квартира к этому часу должна была затихнуть, прижавшись по комнатам к толстым линзам, водянисто светящимся над маленькими экранами.

Я нащупал в карманах последнюю мятую десятку, в нее уместилась бутылка плохонького сухого и двести грамм колбасы в дежурном магазине на Кировской.

Экипировавшись таким образом, я решительно повел ее за собой.

Вечерний торжественный подъезд с мраморными лестницами, проницательный взгляд вахтера, старинный лифт фирмы «Карл Гоффман», нервный тычок ключа в гнездо замка, насыщенная и скрипучая тишина ночной квартиры, и вот наконец твоя дверь, ограждающая от всех и спасительная.

О чем-то неважном, несущественном говорили, она морщилась, пила, перебарывая себя, по-моему даже насильственно старалась слегка захмелеть, уйти, оторваться от чего-то, тревожащего ее, мне неизвестного.

Я завел проигрыватель, мы станцевали арабское танго, но, видно, у нее не было настроения для ночных танцев, и, вежливо, но твердо отстранив меня, она села на диван.

— Идти уже пора.

— Так ведь метро работает до двух часов... Я тебя провожу.

— Проводишь? Куда?

— Как куда? Туда, где ты живешь.

Она не ответила, усмехнулась.

— Дай закурить,— неожиданно сказала она.

Я достал сигареты, молча удивившись.

— Вот какая история,— тихо сказала она. Затянулась, закашлялась, сломала сигарету, роняя клочки горящего табака.— Я не поступила, я снова провалилась.

— Ну и что... Тебе в армию, что ли? В следующем году поступишь.

— Слушай, я потеряла уже три года на эти театральные дела. Я, видно, не талантлива, бездарна, и никто мне не сказал правду. И вы тоже с Борькой только хвалили меня... Я оказалась дурой. Абсолютной дурой. У матери на турбазе отдыхал администратор театра. Мать вздумала меня ему показать. Что-то я там читала, изображала. Он похвалил. Обещал, что поможет, говорил, что связан с училищем. В Москве я с ним встретилась. Он быстро смекнул, что я помешана на этой идее. Он долго объяснял мне, что все можно устроить, что все оценки зависят от меня... Нет, не от моих способностей. От другого. Ты ведь понимаешь?

Мне не хотелось понимать, но я понимал.

— Провинциальная дурочка, одержимая... Должно быть, он решил, что я готова на все. Первый мой порыв был прогнать его, сказать ему, что он не за ту меня принял, высказать все, что я думаю о нем, о его так называемой «тактике приручения». Это он мне говорил, что не хочет форсировать событий, что влюблен в меня и постепенно меня приручит... Я с отвращением видела это постепенное приручение. А с другой стороны, представь: снова бесславно вернуться, ожидающее лицо матери... снова потерянный год... Что было делать?

Я напрягся, мысленно сопереживая ей, входя как в мутную илистую воду в эту ее ситуацию, которая, хотел я или не хотел, но с момента, как встретил ее здесь. в Москве, у «Авроры», стала и моей.

— Я хитрила, старалась выиграть время. Этот человек, сначала такой бескорыстный и заинтересованный в моей судьбе, все более открывался — специалист по таким провинциальным дурочкам. Мне хотелось немедленно послать его подальше и высказать при этом все, что я о нем думаю, но я сдерживалась. Сдерживалась и от этого презирала себя. Мне были навязаны правила игры. Конечно,

я их не приняла, но все-таки, все-таки... Я не выходила из игры. Я разговаривала с ним, улыбалась ему, хотя понимала, что он скотина. Я боялась его, знала, что, если пошлю, он перекроет все пути.

На первом этюде я получила четверку. Я выложилась, как могла, и, кажется, на этот раз получилось. Вся комиссия сидела тихо, они смотрели на меня внимательно, слушали меня, не было иронических подшушукиваний, как в прошлом году. Я была убеждена, что получу пятерку. Но не судьба. И все-таки еще были надежды. Я готовилась ко второму экзамену, но тут меня выперли из гостиницы, куда он меня устроил, чтобы мне легче было готовиться... Не знаю почему. То ли он подсобил, то ли иностранцы какие-то приехали. В общежитие оформляться уже было поздно. Он стал звать меня к какой-то своей сестре, возможно, несуществующей. Сказал, что институт в кармане, если не буду идиоткой... Со мной была истерика. Я ругалась так, как никогда в жизни... Все было для меня чужим, ужасным, этот гостиничный номер, куда он меня устроил и откуда теперь гнали, ощущение зависимости. Впрочем, когда я высказалась ему, вся зависимость прошла. Теперь я ночевала у девчонок в общежитии, без пропуска, нелегально. Одна из них говорила, что я старомодная дура, дескать, театральный институт стоит и не таких затрат... Там, в общежитии, разная публика. Я завалилась на следующем экзамене. То ли нервы не выдержали, то ли еще что. В общем, все.

— Хочешь, я найду этого человека и набью ему морду?

— Зачем? — тихо сказала она.— В конце концов я благодарна ему за урок. Жила-жила себе, закрывая на все глаза, почему-то всегда веря в чужую силу, в чужую поддержку, в доброго дядю. Вот он и подвернулся, добрый дядя... Как это мы учили в учебниках: «Свинцовые мерзости жизни». Вот я чуть-чуть и хлебнула. Ну ладно, идти пора.

— Куда?

— Попробую в общежитие.

— Оставайся, я прошу тебя. Куда ты сейчас пойдешь? Ты ляжешь вот здесь, на диване. Завтра встанешь. Утро вечера мудреней ведь. И в конце концов ничего ведь не случилось.

Она покачала головой. Потом опустила голову на руки. Я увидел ее школьный девический пробор. И погладил каштановые жестковатые волосы. Я знал,— останется,

потому что некуда деться. А даже не потому... Может быть, единственный человек в Москве, который может ее понять сейчас и выслушать, это я. Понять и выслушать. Больше ничего. А что дальше... Ничего дальше. Я не могу, не должен обидеть ее... Сейчас она моя младшая сестра, и все, и только.

Она встала, бойко спросила, скрывая смущение:

— Где у вас... тут?

— Сейчас, я провожу тебя.

Она пошла за мной по темному тоннелю нашего коридора. Возможно, она впервые в жизни видела ночную московскую коммунальную квартиру.

Кухня пропахла луком. Днем она становилась рабочим цехом квартирных домохозяек. У каждой свой стол, а станок — это плита, и она одна на всех. Входя в кухню, я видел, как они трудились, и шум был действительно почти фабричный, стучали молоточки, мясорубки со скрипом проворачивали фарш, кипела вода, время от времени женщины переговаривались. О чем? Я не вникал в их разговоры, но доносились обрывки, казалось, это был один и тот же разговор, обрывающийся, но растянутый на много дней.

Высокие своды кухни были закопчены. Иногда их сотрясал крик: ссорились. Ссорились редко, но все, это была как инфекция, краткая, но бурная.

А сейчас тишина, инструменты начищены, чуть поблескивают в темноте, на столах.

В маленькой закухонной комнатке свет: не спит, молится старуха Феона; она больна, приготовилась умирать, все собрала для последнего обряда.

При всей своей давней безропотной готовности к иному существованию на неведомой нам планете, она живо откликается на события повседневной жизни. Во всяком случае, и сейчас она выглянула и зыркнула на нас своими старыми быстрыми глазами; все узрела и все поняла именно так, как ей надо было. И мне даже показалось, что глаза ее подмигнули мне, а тонкий рот понимающе ухмыльнулся.

Я подсознательно чувствовал: с виду смиренна, но страсти ее раздирают. Она выпивала тайно, в одиночку, я это знал, я писал ее портрет и чувствовал мужской водочный запах, в ее смиренных, давно отцветших глазах словно бы блуждал какой-то бес... Вот этого беса я никак не мог передать, поймать: благостность, внешнее смире-

ние, готовность к иной жизни — все это давалось, все это как бы лежало на поверхности, но я чувствовал, догадывался: это первый слой, за ним другой, горький, юродивый, скрытый до поры до времени.

Она не преминула мне как-то сказать после того вечера:

— Я-то думала, ты тихонькой, робкой, а ты э́вон какой скорый. Но бог простит, ты молодой, а быль молодцу не в укор.

Любопытство удивительно сочеталось в ней с отрешенностью.

Я чувствовал ее взгляд в тот вечер, ее необидную ухмылку, и сам ухмылялся над собой, когда стоял у ванны, слушал шум воды, ждал Нору, чтобы проводить ее... Как и старуха Феона, я был и светел, и греховен.

Я знал, что я не должен обидеть ее ничем, что я не могу, не имею права... Я понимал, что она впервые в своей жизни душевно оскорблена: выйдя из домашней защищенности, из уютного окружения, впервые увидела притворство и подлость. И раз так, и она в моем доме, и ей тяжело — то во имя нашей дружбы я буду человеком и сделаю для нее все, что смогу.

Так я говорил себе, ожидая ее, прислушиваясь к тому, как шипела газовая колонка, как она наконец, фыркнув, отключилась.

Стало так тихо, что я слышал шелест Нориного белья, платья и чувствовал почти физически, как я двоюсь... Конечно, я уже все решил и ничего такого себе не позволю, если бы я не был чист в своих помыслах, то я не решился бы оставить в своей многонаселенной квартире девчонку, давая им всем пищу для сплетен.

Но с другой стороны — зачем это острое, изнуряющее ожидание, это поднимающееся волнение: в том-то и было противоречие, что я ничего не хотел и не ждал, но подсознательно ждал всего и хотел всего.

Она вышла, сказала, улыбнувшись:

— А я чуть не взорвалась.

И протянула мне мокрое полотенце.

В лице ее я не увидел ни смущения, ни неловкости: наоборот, ясность и спокойствие. Теперь у нее был ночлег и она могла отдохнуть.

И вновь я провожал ее по коридору, мы проскользнули двумя тенями, одна легкая, как бы свободно парящая, вторая сутуло-напряженная (я весь сжался, готовый к

отпору, если вылезет кто-нибудь из наших не в меру любопытных, а то и бесцеремонных соседей).

Но мы прошли без препятствий, тяжелая, обитая войлоком и кожей дверь закрылась, отделив от зримого и незримого присутствия чужих; и такой славной и светлой показалась мне сейчас моя старая, порядком надоевшая комната.

В соседних домах уже почти все огни погасли, только наша комната тепло и празднично светилась, и чувство отдельности от всех сближало меня с нею и опьяняло.

Все больше хмелея от этого состояния, я без умолку говорил, читал стихи, помню, что читал именно такие:

Ночь нема, как дух бесплотный,
Теплый воздух онемел,
Но как будто мимолетный
Колокольчик прозвенел...

— Какой-то ты странный сегодня, что-то все время читаешь, а ведь уже бог знает сколько времени... Давай укладываться.

В этом так просто сказанном «давай укладываться» не было ни намека, ни самого малого обещания, но было что-то доверительное, милое и опять же сближающее нас. И еще раз решив для себя, что я буду безупречен по отношению к ней, я стал вытаскивать из матерчатого рваного чехла старую раскладушку.

Все так же радостно я растягивал эту скрипучую, намертво сжавшуюся раскладушку, вытягивал ее длинный, ржавый скелет.

Но когда я наконец отладил свое убогое ложе и посмотрел на Нору, то понял, что она не разделяет моей приподнятости, умиленности, всех этих детских восторгов... Она сидела на диване в какой-то неудобной позе, положив на его высокий валик голову, я видел ее полузакрытые большие сонные глаза.

Уже погасив свет, я слышал, как она вздыхает, как ворочается на моем диване...

Я словно физически ощутил: нас разделяют несколько метров, всего несколько метров босиком по поблескивающему крупному паркету, граница между двумя людьми, двумя состояниями: моим детским самодовольным покровительством и ее одиночеством, неуютном в чужом городе, в чужом доме.

Я заснул быстро, неглубоко; сквозь клочковатый тре-

вожный сон увидел ее. Стояла босиком у окна, в моей рубашке, достававшей ей до колен.

Большое, в полкомнаты окно уже лимонно предрассветно светилось. Виден двор, а в нем трехэтажный особнячок постпредства, квадратный, с подстриженной травой газон, еще немного солнца — и он будет изумрудным, сейчас он седовато-зеленый. Когда я загуливал и приходил поздно, а точнее рано, я видел его именно таким, постепенно высвечивающимся, проявляющимся, как негатив.

Я тоже встал, она не обернулась, все так же стояла и неотрывно смотрела, будто была только одна.

Я тихо подошел к ней, осторожно дотронулся до ее плеча. Мое прикосновение было скорее знаком дружбы, чем нежности, но она резко отодвинулась и сказала: «Не надо». И я мысленно как бы предугадал эти два коротких, словно уже заранее заготовленных слова.

Я отстранился, ее реакция обидела меня своей поспешной банальностью.

— Да ты не беспокойся,— сухо сказал я.— Мне ничего от тебя не надо.— И добавил: — Кажется, к Борьке ты была более благосклонна.

— Он нравился мне.

— Нравился? Почему в прошедшем времени?

— Потому что сейчас мне не до него. Мне вообще ни до кого. Понимаешь?

— Ну ты не поступила, ну и что из этого?

— Не в этом дело. Просто мне некуда деться. Возвращаться назад, домой, я не могу.

— Почему?

— Тебе, наверное, кажется, что там рай... Да, на месяц, может быть. Там можно отдыхать, но жить там тяжело. Праздность, многолюдие, пустота. Мне, во всяком случае, там нечего делать. Я хочу совершенно другого, а у меня не получается... Я не знаю, куда деться...

— Я уверен, что твоя мать прекрасно устроит тебя до следующей весны. А потом ты снова попробуешь... И я уверен, выйдет.

— Мать и так уж во многом загубила жизнь из-за меня. А сейчас у нее есть возможность выйти замуж... Есть человек. Может быть, это ее последний шанс. И я не хочу, не могу возвращаться туда.

Не до конца мне понятное, сдерживаемое с трудом отчаяние словно бы росло в ней, ширилось, вот-вот готовое взорваться истерикой. Я видел это по ее ярко, сухо бле-

стящим глазам, по резко, безжизненно побелевшей коже смуглых щек.

— Не надо, не надо, не надо,— пытаясь заговорить ее, как ребенка, троекратно возвращал ей эту ее же бессмысленную, ничего не означающую фразу.— Не надо, мы все для тебя сделаем.

— Кто «мы»?

— Я и Борька.

Она усмехнулась и, успокаиваясь, тихо сказала:

— Да... вы хорошие, но при чем тут вы...

Моя широкая клетчатая рубашка сидела на ней как хитон, щедро открывала загорелую, нежную шею, начало высокой груди...

Она стояла босиком, нежно-легко поставив на пыльном полу маленькие, аккуратно вырезанные загорелые ступни, и я мгновенно забыл о роли друга-охранителя, обо всем на свете и притянул ее к себе.

Целуя ее, я слышал тихое, приглушенное: «Не надо, нехорошо так».

Но я уже не знал, хорошо или нет, уже другая власть управляла мной. Подсознательно я чувствовал: моя нежность, страсть не захватывают ее, не передаются ей, она мертвая, чужая, это только натиск, который она терпит, но в конце концов оттолкнет, убежит... А может, и хуже. Может, и оскорбит меня. Все это я знал... Так, так, и поделом. Но я уже ничего не мог с собой поделать, т о было сильнее...

Но она не отталкивала. Она была одновременно и безучастна и странно податлива.

Теряя ощущение времени, пространства, видя перед собой как бы расширяющийся столб солнечного света, я тянул ее к себе, тащил, вел куда-то, больно натыкаясь на раскладушку, пока мы оба не грохнулись на диван с нагретыми ее телом раскиданными простынями.

— Что ты творишь,— тихо и как-то обреченно сказала она.— Ты же не любишь меня.

— Люблю,— счастливо, уверенно не то прошептал, не то выкрикнул я.

Я много раз потом наново переживал, словно бы проигрывал, тот вечер, стараясь не забыть ничего. Я спрашивал себя: врал я тогда или нет? Нет, в моем таком поспешном, легко сорвавшемся с языка ответе — была все-таки правда.

Запомнились мне с детства строчки: «Часто говорят люблю те, которые не знают, сколько букв от Л до Ю».

Я произносил это слово чрезвычайно редко. Слово это не было расхожим в нашем поколении. Наша жизнь с детства была так организована и устроена, нас так воспитывали в раздельных женских и мужских школах, что этой самой любви будто и не существовало. Но может быть, и существовала в каком-то особом виде, скорее всего в виде дружбы и товарищества, отличной учебы и взаимовыручки, а также в виде совместных женско-мужских бальных танцев.

Мы приходили в соседнюю 613-ю школу чинной группкой, поднимались маршами мраморных лестниц, и на нас с любопытством смотрели сотни девчачьих глаз; девчонки подхихикивали, пока мы шли, будто мы были существа не только другого пола, но с другой планеты.

Это любопытная вещь: на улице, во дворах, где мы жили, мы встречались с этими девчонками неоднократно, трепались, шутили, а когда приходили в их школу, как бы официальной делегацией, то становились уже не мальчишками и девчонками, а представителями двух замкнутых мирков, как бы отделенными друг от друга, и смотрели по-новому, будто в первый раз видели.

Потом торжественный падекатр, салонный падепатинер и наконец вихревая мазурка объединяли нас. Мы протягивали друг другу руки, влагали в теплые ладони свои трепещущие пальцы. Ход раздельного обучения как бы мгновенно нарушался. В шелестении торжественных бесполых танцев мы чувствовали вдруг таинство нераздельности, смутную, опохабленную на стенах школьных туалетов тайну пола.

Мы важно танцевали под чужой ритм. А наши излюбленные ритмы мы вынуждены были скрывать, наши мелодии слетали, задыхаясь, с тоненьких кругляшей пленки на самодельных пластинках, которые продавались в подъездах странными типами в кепочках-малокозырках с продольной полосой, в ботинках на толстом каучуке, типов этих обычно звали на американский манер Бобы, Григи, Джоны. На самом деле они были Борьками, Иванами или Гришками.

Впрочем, это был один слой, один тип компании, это были джазовые ребята. Но существовали и другие. Они собирались в музее Скрябина или просто дома. Сидели

допоздна в коммунальных квартирах, читали стихи, мало известные широкому читателю; возможно, там был и Заболоцкий, и Кедрин, да и Есенин. Помню вечер, где наш товарищ делал доклад о творчестве символистов — потом долго у других присутствовавших спрашивали, о чем еще говорилось и зачем вам эти символисты, упадочные, заумные, непонятные.

Скромные вечеринки пятидесятых годов: какое-то особое пространство между Нею и Тобой, сильно сокращенное следующим поколением.

Его не сразу преодолеешь, невозможно сделать шаг, чтобы обнять, поцеловать, нет, сначала надо иначе, как бы бесплотно пройти это пространство, заполненное чужими, своими стихами, разговорами, цитатами. Любовь упрятана, прикрыта, закрыта, закамуфлирована общими интересами, бальными танцами, диспутами, спорами.

Многие из ребят старались казаться старше, опытнее, а победы болтливых и хвастливых мальчишек были сильно преувеличены.

Центр, улица Горького — «брод» — манили своими заведениями, но больше всего крутились старшеклассники у коктейль-холла. Там странным образом объединялись студенчество, первые фарцовщики 50-х годов, поэты, с которыми можно было легко поговорить, которых молодые люди называли на «ты», хлопали по плечу, одалживали у них, а может быть, и им, тридцатку, двадцатку. Тот мирок всех приравнивал хотя бы на два-три часа. Девиц в коктейль-холле было немного, но они поражали своей невиданной по тем временам элегантностью.

Одеваться, пижонить в то время было очень трудно. Стиляги выделялись в толпе как белые вороны.

Я вообще не представлял, откуда у этих парней роскошные светлые пыльники, туфли на толстенных рафинадного цвета подошвах, шляпы котелком.

Я ходил во всем отцовском, перелицованном. Самыми пижонскими вещами были перелицованное габардиновое пальто и американские, солдатского вида ботинки на микропоре.

А эти проплывающие мимо девчонки в широких пиджачках, открыто покуривающие, всегда улыбающиеся и грустные, если приглядеться.

На них интересно было смотреть. Но любить следовало других. А кого?

Торжественно, с неприступным видом юных графинь проплывали под звуки духового оркестра наши старшеклассницы. И мы быстро придумывали себе предмет любви, выскакивали из душного зала, слонялись по пахнущим вечным неистребимым запахом среднего образования коридорам, выскакивали в весенние дворы, неумело-торопливо целовались.

Целуясь, чувствуя головокружение, уходя, ускользая от школьных стен, от всех на свете табу, мы все-таки избегали слова «люблю».

Потому что еще смутно представляли себе, что это такое.

В шесть часов утра меня разбудил голос Левитана, загремевший из невыключенного радиоприемника, бронзовый голос важных сообщений, парадов, собраний и манифестаций, в недавнем прошлом сводок Совинформбюро, голос, от которого ждешь чего-то необычайно грозного или, наоборот, торжественного, на этот раз просто возвестил начало нового дня и начал перечислять последние события в стране и за рубежом.

К счастью, он не разбудил Нору. Я метнулся к приемнику и вырубил клавишу. Снова стало сонно и тихо. Связь с событиями в мире оборвалась, а Нора во сне заворочалась и чуть застонала. Я накрыл ее сползшим на пол одеялом, подоткнув его с боков...

Первый раз в жизни я проснулся рядом с женщиной. Я увидел ее как в первый раз, бледное, тревожное даже во сне лицо, с легкой синевой под глазами, с арками густых, но тщательно выщипанных по моде бровей.

Сейчас я видел ее больным ребенком, может быть, сестрой. Странно было: только что прошла эта короткая ночь, переполненная стольким, что я не мог бы связать друг с другом — нежностью, страстью, смущением, борьбой, полнейшей свободой и странной скованностью. А сейчас не было ни разочарования, ни отчуждения, только какая-то жалость к ней, а может быть, и к себе, оттого что все дальнейшее было неясным, запутанным, оттого что я чувствовал какую-то новую связанность с ней и зависимость от нее... Все это ворочалось внутри меня живым острым комком, поднимавшимся к горлу и запиравшим дыхание.

Босиком, стараясь ее не разбудить, я прошелся по комнате, которая тоже как бы изменилась с ее присутствием, и подошел к окну.

Во двор постпредства въехала машина с почтой. Они получали почту раньше, чем обычные дома или учреждения.

Маленький человек с тяжеленными портфелями торопливо шагал к широкой дубовой двери постпредства.

Ровный, ухоженный газон постпредского сада, напоминающий маленькое футбольное поле, наливался краской, зеленел на глазах. Да и само здание в прозрачном, струящемся воздухе казалось золотистым и как бы взлетающим вверх.

Я почти всегда вставал с трудом, когда надо было идти в институт, редко начинал день легко и счастливо, сразу врастая в него, а как бы преодолевал зябкую, неживую полосу.

Сейчас же я с неожиданной полнотой и остротой счастья ощутил начало дня.

Вдруг как бы увидев себя со стороны, с высоты какого-то другого возраста, мне неизвестного, я подумал о том, что вот это утро часто буду вспоминать, оно останется для меня навсегда — может быть, до конца жизни. Впрочем, тогда этот самый конец жизни представлялся мне таким же далеким от сегодняшнего утра, как это сегодняшнее утро, скажем, от дня восстания Спартака.

Убежденность в ее бесконечности...

И оттого так четко и с поразившей меня новизной я чувствовал надышанное сонное тепло комнаты, пробивающуюся в форточку свежесть летнего, настоявшегося за ночь на запыленной, но живой листве бедных городских рощиц утра, ясность и чистоту неначавшегося дня, желтовато светящуюся барочную колоннаду графского дома с вывеской дипломатического представительства.

Все это вдруг связалось в одну цепь давно известных, но как бы впервые открытых мной предметов, явлений, а началом этого яркого, сверкающего, будто тронутого киноварью потока была девушка, свернувшаяся под моим одеялом, спящая на моем диване.

Моя девушка... Что это значило «моя»?

Я не мог даже допустить, что она проснется, встанет и уйдет. И больше мы не увидимся.

И все-таки это было. И всякие мелкие, будничные мысли: надо или не надо ехать в институт в мастерскую,

что сказать Борьке, когда я его встречу, или вообще ничего не говорить. Все эти ничтожные мыслишки, которые я изгнать не мог до конца, но как бы засунул куда-то в подвал своего сознания, не могли ни снизить, ни омрачить, ни испортить сегодняшнее утро.

Пустая утроба стоявшего в углу комнаты холодильника время от времени издавала короткий глубокий звук, урчала, напоминала о том, что в доме нет еды. Но было рано, и все магазины города были еще закрыты.

Я подошел к дивану и тихо лег рядом с Норой. Я обнял ее, поцеловал в закрытые глаза.

— Не надо,— сонно сказала она.— Уже, наверное, поздно и пора идти.

— Никуда ты не пойдешь,— твердо сказал я.

Что еще было в те предосенние дни?

Участие в ее судьбе... Постоянное ее присутствие... Желание ее защитить. Я даже добрался до администратора, до того самого типа.

Вот я стою перед ним. Он видится мне, по ее рассказам, на расстоянии, плюгавым, лысым, вертким, такими обычно изображают театральных администраторов. На самом же деле он высок, плечист, кудряв, наряден и только улыбочка у него ироническая и чуть наглая, вот она и дает мне толчок опоры, она стартовая площадка моей ненависти, моего наказания. Какого?

Избить его я не могу при всем желании. Я щупл, низкоросл перед ним. Когда я пришел, он сидел за столом, и я увидел его мощную кисть, толстые пальцы, поросшие волосами, зажавшие авторучку. Авторучка в этой здоровой ручище казалась спичкой... Достаточно было таким рычагам заработать...

Тем не менее благородная ярость переполняет меня: «Негодяй, сукин сын, проходимец, вас надо выгнать из театра, я вас опозорю, вы ответите»,— мысленно говорю я, но на самом деле молчание, тишина, и он с высокомерным ожиданием смотрит на меня.

«Что вам надо, если хотите контрамарку, пожалуйста»,— это я тоже мысленно слышу, а точнее, готов слышать, но этого он не произносит.

Он вовсе будто и не замечает меня, пишет и пишет, сжимая своими клешнями тоненькую шариковую спичку.

— Я брат Норы.

— Какой еще Норы?

— А вы забыли?

— Что-то не помню.

— Той самой, из Келасури, из Абхазии, той, которой вы обещали.

— Обещал, да, кажется, но, кажется, не получилось.

Он отвечал не глядя на меня.

— Вы негодяй,— прямо ему в лоб выстреливаю я.

Он смотрит на меня, таращит удивленно небольшие желтые глаза.

— Вы что, делаете вид, что не понимаете? — говорю я.

Он продолжает писать и, так же спокойно, негромко, не подымая глаз, говорит:

— Ваша сестра не вправе на меня обижаться. Я ничего плохого ей не сделал.

— Сукин сын,— задыхаясь, кричу я.— Воспользоваться положением, наобещать, шантажировать...

— Но ведь я ничем, кажется, не воспользовался до конца и никаких, я полагаю, претензий у вас ко мне не может быть,— с поражающим меня спокойствием говорит он.— Ваша сестра, извините, запуганная провинциалочка. Вы же, очевидно, истерик. Вот так.

— Как интересно видеть живого мерзавца,— говорю я громко.

— Ну и смотрите на здоровье,— так же спокойно, не повышая тона, не вставая, говорит он.— Только выйдите на всякий случай. Работать мешаете.

Я стою в растерянности. Вроде бы я сказал все, что надо, а он не реагирует, и даже на драку не идет. Впрочем, если дело дойдет до драки...

В углу его стола стоит полузасохшая чернильница, взвинчивая себя, я думаю: может, бросить в него чернильницу... Но тут же я успокаиваюсь, черт с ним, с негодяем, долг исполнен, во всяком случае.

Я осматриваюсь по сторонам. Висят афиши, я механически обращаю внимание на то, что они выполнены в одной манере, будто все спектакли на одно лицо. Хотя, кажется, спектакли этого театра идут всегда с аншлагом. Я не был здесь ни разу.

Афиши яркие, но без выдумки, иллюстративные, я бы сделал совершенно иные.

— Что, заинтересовались? Могу контрамарочку дать на два лица. Вам с сестрой.

— У вас бездарные афиши и плохой театр.

С этими словами я покидаю кабинет администратора.

Взад и вперед исхоженная нами осенняя Москва, особенно часто шли мы мимо Библиотеки имени Ленина, по мосту, на набережную, потом на Ордынку.

Чистые пруды и Ордынка — вот два места, где прошло мое московское детство. Я рассказывал Норе историю этой улицы, в то время я был очень увлечен старой Москвой, мне хотелось написать цикл акварелей «Москва ушедшая». И я смотрел в архивах старые чертежи, пожелтевшие рисунки: Ордынская местность, в которой жили «тягловые люди», время от времени они должны были возить в Золотую Орду поклажу, а в лучших домах проживали послы Золотой Орды. Потом здесь возникла Ордынская слобода, или Варлаамовская, по пределу святого Варлаама Хотынского... Может быть, где-то здесь, недалеко от церкви Преображения господня опричник преследовал красавицу жену купца Калашникова.

И казалось, что мы с Норой тоже оттуда, я только не мог определить наше сословие, я говорил, что она грузинская княжна, невесть как попавшая в Москву, а она называла меня мелким купчиком, особенно после того, как я затаскивал ее в кафе, в шашлычные. Она отказывалась от грузинской княжны, она видела себя монашенкой.

— Монашенки не целуются на скверах,— говорил я ей.

— Я блудница с душой монашенки,— смеясь, отвечала она.

И опять я видел перед собой «Великий постриг», та тоже была живая и целовалась, наверное.

Это был месяц совершенно безмятежный и счастливый. Борьку я так и не встретил, он уехал в деревню, родители еще месяц должны были находиться в экспедиции, и она пока жила у меня. А что дальше? Дальше посмотрим. То, что за пределами месяца, казалось еще далеким. И нечего всматриваться в завтрашний день.

Завтрашний день размыт и неясен, но все же хорош. Август все жарче, все меньше тени в московских садиках и скверах.

Все время чувствуешь свои городские пересохшие губы. Подставляешь к ним выщербленный стакан с газировкой и на дне приторно-сиропного питья ощущаешь горечь...

То, что сделало нас с Борькой почти врагами, то, что что разделило нас на несколько лет,— потом примирило,

сблизило. Вслух, в разговоре, мы всего один или два раза вспоминали о ней.

Но мы оба совершенно отчетливо чувствовали ее незримое присутствие. Зримое присутствие столкнуло нас когда-то, ближайших друзей, незримое объединило навсегда.

И едва я входил в его квартиру, где правила его новая жена (почему-то я все считал ее новой, хотя она уже много лет была с ним), я безотчетно, долго смотрел на рисунок в углу. Зачем мне нужен был этот рисунок? Все уже давно переменилось в жизни. Я не думал, плох он или хорош, хотя он был удивительно точен и легок, нарочито не закончен, а может быть, и не нарочито...

Я чувствовал в нем силу остановившегося времени.

Я уже давно привык к ее отсутствию, вся моя жизнь, долгие годы шли без нее, словно поезд, навсегда, давно оставивший какую-то станцию, неутомимо идущий к своей.

Легче, светлей было бы думать, что она солнечно растворилась в небе, нет, она была в земле, под серой мраморной плитой с уже несколько размытым барельефом, который Борька выбивал днем и ночью, друзья подсвечивали ему фонарями. Пригнувшийся к земле, исступленный, заросший, казалось, вот сейчас он рухнет и не поднимется никогда. Но он поднялся.

И все же физическая реальность ее исчезновения была не до конца постижима. Уехала надолго, на годы, навсегда, но где-то есть. Жена же Борькина думала, очевидно, что Нора действительно до сих пор жива. Поэтому, словно безошибочный радар, перехватывал мой осторожный взгляд на рисунок взгляд Борьки на меня. Он охранял и защищал сегодняшнее от вчерашнего, загнанную внутрь и непроходящую ревность.

Есть жена, есть мы с Борькой, есть ее бессмысленная ревность, есть Борькин рисунок.

Нет Норы... Но это еще не скоро. Еще несколько лет сплетшимся клубком нам всем по земле.

Однажды, еще при жизни Норы, Борька прочитал мне стихи. Я удивился и спросил: чьи? Он ответил: естественно, мои. Я их запомнил наизусть.

И без ответа, без вопроса,
Но так, как нужно нам двоим,
Мы, закуривши папиросы, в глаза
Друг другу поглядим.

В кривой улыбке губы скрепим,
И тяжко будет нам курить,
Курить, не стряхивая пепел,
Курить, и глаз не отводить.

Молчать, и все припомнить снова,
Курить, и не скривить лица,
Курить, и не сказать ни слова,
Но мы докурим до конца.

Кроме наших скитаний по Москве, я еще занимался другим, главным. Я решил сделать ее портрет. Портрет давался очень трудно.

Если бы я поставил цель нарисовать портрет незнакомой женщины, если бы я писал с натурщицы, было бы гораздо легче.

Чувства было слишком много, оно теснило, распирало и потому мешало. Может быть, труднее всего писать «свой» материал. Личное владеет тобою, и исчезает необходимая отстраненность.

Я все время приглядывался к ней. Она шутила:

— Ты что, меня в первый раз видишь?

— Да, в первый,— отвечал я.

Но именно я не мог вспомнить, какой я ее увидел в первый раз. А мне необходимо было именно это ощущение. Все свои поздние чувства надо было забыть, убрать. Нужна была именно острота первого взгляда, отчуждение от натуры.

Я много раз его переписывал, переделывал. Я делал другой портрет, уже после... А тот первый вариант сохранился. Недавно я взял его и посмотрел, будто на чужую работу. Мне было даже неважно, как исполнено. Был важен лишь облик...

Она сидела за столом, склонившись, в сиреневой кофточке, с голыми загорелыми руками, со счастливыми, тихими, медовыми глазами. Ни облачка, ни тени предчувствия...

Каждый вечер мы ходили куда-нибудь в кино, просмотрели все стоящие и нестоящие фильмы, их, впрочем, тогда выпускалось немного, таскались по молодежным кафе, входившим тогда в моду. Молодые поэты читали там свои стихи, микрофоны, как правило, не работали или их не было. Напряженные голоса поэтов раскладывались на отдельные звуки и фразы, прорывавшиеся сквозь

гул посетителей, как ни в чем не бывало попивавших вино и поедавших мороженое.

Чужеродны были эти поэты здесь, с бледными, серьезными лицами, среди других, распаренных, красных, блаженно-рассредоточенных. Вдохновение строки не могло перебороть винного вдохновения.

«Нет, никогда я не буду выставляться ни в каких кафе»,— решил я для себя, хотя и никто не предлагал мне выставляться.

Сквозь этот разнородный и чужой гул мы вели с Норой свой долгий, постоянный диалог. Мы бесконечно спорили, хотя, казалось, наши взгляды были похожи, и мы сверяли их друг с другом и уточняли, словно раз и навсегда, именно в этот месяц, нам надо выработать единую общую линию жизни.

Сосуды наших жизненных впечатлений стали как бы сообщающимися: все, что было увидено, прочитано, пережито, надо было сию же секунду передать другому.

Мы знали теперь все друг о друге, да и не только друг о друге, о наших близких, о наших родителях.

Только о своем отце Нора почему-то умалчивала, так же как там, у нее дома, умалчивала ее мать. Но однажды Нора рассказала мне и об отце.

Отец ее, немец-коммунист, судя по ее словам, всю войну был здесь, в России. Какую работу он вел, я так и не понял, да и Нора не знала. Ясно только, что он принимал участие в нашей общей борьбе против фашизма.

В конце войны, уже в мае сорок пятого, ему предложили отправиться в Германию, и мать, взяв с собой маленькую крикливую Нору, отправилась в Берлин по разоренным дорогам Европы. Они прожили там несколько, судя по словам Норы, мучительных лет. Я не понимал, что было самым мучительным: не могла ее мать жить т а м или не могла с н и м... Видимо, у них были какие-то сложные отношения, о которых Норе не хотелось говорить. Впрочем, Нора очень часто повторяла, что мать очень любила отца, но он целиком занимался политикой, его никогда не было дома, и мать мучилась в одиночестве в полуразрушенном чужом городе.

Время от времени мать возвращалась назад, домой, и после этих возвращений ехать в Германию было особенно тяжело. Мать отказывалась принимать т а м все: и еду, и климат, и людей. Еда была постная, климат сырой, люди чужие.

Но главное было в чем-то другом...

Норе запомнились лишь бессонные ночи в поездах, таможенниками, солдатами паспортного контроля, и запомнился пригород Берлина, в котором они жили: в первый приезд ржавый и разрушенный, во второй очистившийся, с одинаковыми аккуратными домами, с разноцветными наличниками на окнах, со свежей черепицей новеньких крыш, еще ей запомнилась гулкая пустая церковь, куда забрела голодная собака, старуха тщательно мыла полы, тускло светился орган. Его звенья показались ей позолоченными кавказскими газырями.

Старуха спросила ее что-то по-немецки, а девочка растерянно сказала:

— Не понимаю.

И старуха что-то долго говорила, глядя на нее незрячими, открытыми глазами... Говорила долго и жарко, будто что-то пыталась объяснить, а что — Нора не поняла. Озлобления не было в том, что говорила эта слепая старуха, так Норе показалось, во всяком случае.

Потом еще в один приезд город увиделся ей рафинадно-белым и розово-пряничным. Он был умыт, почищен, похож на декорацию. В кондитерской продавались удивительные пирожные: мышки с глянцево-черными спинками.

Мышки таяли во рту. Большой, грузный отец с ноздреватым носом, не вынимавший изо рта трубки, что-то рассказывал. Ей было странно, как можно говорить, держа в зубах трубку. Слова словно цедились. Ей хотелось любить своего отца, да и мышки, которыми он угощал, были такие вкусные, но во время отъездов она всякий раз отвыкала от него и привыкала с трудом. Она чуть-чуть боялась его. Он называл ее «майне тохтер» и с гордостью показывал сидящим в кафе знакомым на свою дочь. Она чувствовала, что он очень гордится ею. И еще она понимала, что он важный человек в этом городе, все почтительно здоровались с ним, а некоторые смотрели с неприязнью и страхом, но здоровались еще более почтительно.

Вот и все, что она помнит: музыка из сверкающего автомата, мороженое, сладкий морс, отец с трубкой, а потом вдруг белое запрокинутое лицо отца, длинная процессия, мать, сжимающая ее теплыми мокрыми руками, то молчащая, то рыдающая, толпа, музыка, и, наконец, ти-

шина, и очистившаяся от цветов черная лодка с отцом опускается в бездну...

Когда они отъезжали от этого отгороженного забором здания, где навсегда остался отец, то она смотрела на плоскую, серую трубу, словно с привязанным к ней жидким клубком дыма.

Больше ни она, ни мать не были в Германии.

Мать часто вспоминала его, кручинилась о нем, будто и впрямь жила с ним счастливо и безмятежно.

Однажды мать, непривычно оживленная и как-то неприятно пахнущая кислым уксусом вина, сказала, что у нее, у Норы, есть в Германии братик, только он не полунемец, как она, а настоящий немчик, он уже взрослый и однажды даже прислал письмо; возможно, ему хочется посмотреть на свою сводную сестру...

— И ты не ответила ему? — спросил я ее.

— Нет... Все собиралась, но так и не ответила. Ведь все равно он мне чужой человек.

— Странно... Я бы ради этого поехал в Германию или нашел бы его и вызвал сюда.

— Да, мне тоже хотелось, но я не знала, что ему написать. Все откладывала, откладывала, да так и не решилась.

Я мысленно представил себе ее брата и думал о том, как непохожи ее судьба и ее родители, те города, в которых она росла,— на мою судьбу, на моих отца и мать и на мои города.

И вот две такие наши непохожие судьбы встретились, неожиданным образом пересеклись, и ничто не разделяет нас. И не разделит никогда.

Никогда было обещанием вечной близости, нераздельности с нею.

Теперь превратилось в побитую снегом и дождем плиту с барельефом, ее именем, двумя датами, с таким кратким расстоянием между ними.

Родители мои вскоре должны были приехать, и я тратил все свои дни на поиски комнаты, которую Нора могла бы снять. Я со страхом думал, что в один прекрасный момент ей надоест это бездомье, она махнет рукой на все и отправится домой, к матери. Наконец удалось снять угол у пожилой женщины, машинистки.

От самого этого слова «угол» пахло сиротством, началом века, жизнью бедной провинциалочки в господах... Только настоящие господа выделяли не угол, а комнату.

Да еще эти то длинные, то короткие очереди, сухой, нервный треск машинки.

И все вечера после фильмов, спектаклей, эстрад, а иногда и без них, с того момента, как вечер подтемнял рябые мостовые Москвы, мы искали прибежища во всех ее парках, скверах и зеленых массивах.

Фили, Краснопресненский, ЦПКиО, Измайлово, Сокольники — вот были наши прибежища.

Снобам нынешнего поколения это может показаться странным, смешным; действительно, что может быть пошлее хождения в подобные парки. Я же и мои сверстники любили их не только за тьму и уединение; дети города, мы искали и находили там дубравы, сени и даже поляны.

Правда, эти поляны были забросаны бутылочными осколками, которые валялись здесь словно окаменевшие, застывшие слезы, след какой-то забубенной исчезнувшей жизни.

Эти жалкие московские поляны напоминали другие, настоящие, они пахли травой послевоенных пионерлагерей; и рос среди тех же, но более редких бутылочных осколков живой и наглый чертополох.

Качели, гигантские шаги, тиры, силомеры, обморочное колесо обозрения, вот-вот готовое сорваться со всеми своими болтающимися домиками, внизу покачивающийся зеленый газон, на нем — красный серп и молот, затейливо уложенный специальным художником... Я помню, что еще несколько лет назад здесь красовался усатый портрет вождя.

Иногда Нора брала с собой учебники, она решила теперь поступать в медицинский, а я рисовал грифелем на картоне черно-белые пейзажики или фигурки движущихся людей,— меня всегда интересовали схемы человеческого движения, мне казалось, что характер в первом своем слое открывается именно в движении человека, в его походке.

Я не понимал, как воистину она относится ко мне, любит ли она меня. Она была ласкова, нежна, иногда чуть снисходительна, иногда она называла меня мальчик. Это ее «мальчик» пронзало меня нежностью, лаской, а иногда в этом слове виделся и какой-то иной оттенок, словно подчеркивающий какую-то мою слабость, неспособность ее защитить, даже приютить. Мальчик мог сопровождать, занимать, не более. И словно на горячем, беспечном бегу

натыкался я на опустившийся по пояс шлагбаум. Все. Дороги дальше нет. Перспектива бесперспективна.

Но об этом я старался не думать.

Буквально каждый тот день и вечер я помню и сейчас. И все они сливаются в один сплошной праздник.

И даже эти долгие сидения на скамейках, ожидание тьмы, ненависть к мелькающим белым рубашкам или светлеющим во тьме платьям, «черт-те кого носит рядом», и наконец пауза, тишина, пустота, никого, и мы как бешеные бросаемся в объятия друг другу, словно годы ждали этого момента.

Я бы, кажется, убил любого сознательного и бессознательного соглядатая наших встреч. Умом я понимал: со стороны объятия на пошлых скамейках глупы, со стороны бесстыдны, но мне плевать было на это. «Со стороны» не существовало для меня, я знал,— может, это и высоко звучит. — но я чист, как никогда, и душа, словно моторчик вибрировала от мощного напряжения любви.

Двойственная суть любви: разрыв между рождающимся из горней выси чувством и его плотским претворением; эта остро-ранящая, особенно в юности, несовместимость — не только уходила, наоборот, возникало чувство полностью поглощающей, новой и абсолютной близости.

Слово «близость», обозначающее отношения мужчин и женщин с его бытовым, постельным смыслом тут было ни при чем.

Другое. Наверное, не близость, а просто одно целое.

И каждый раз я целовал ее, будто в последний раз; после солнечного, слепого взлета была пустота, ноющая, раздавливающая грудь боль; сухой запах земли, терпкий дух чебреца — дыхание разлуки. Откуда, почему?

Может быть, груз первой в жизни, яростной настоящей любви был слишком тяжел? Может, и это... Наверное, и так. Но что-то еще мучило. Странное ощущение, что счастье слишком огромно, но далось как-то уж легко, случайно, без боя, что досталась она мне просто даром и ни за что. И потому — дар временный, недолгий.

Но еще рано об этом. Пока мы сидим в Сокольниках, во вновь открытой стекляшке шашлычной, дождались, наконец, пока одновременно рассеянно и судорожно по какой-то ему одному знакомой орбите официант дошел до нас. И вот, наконец, мы получили неопрятную медицинского вида колбу с табачного цвета кислым вином и несколько кусков горячего, тянущегося как каучук, полусы-

рого мяса. Как проголодавшиеся звери, мы рвали его молча, сосредоточенно.

Вдруг мимо нас степенный, сосредоточенный Сашка, а за ним Борька...

И все-таки мы не могли не встретиться. Москва слишком огромна и слишком тесна.

Борька похудел, осунулся: вернувшись из деревни, где ел картошку и пил чистый самогон, в городе, в какой-то столовке, он отравился, да так, что угодил в больницу.

Я несколько раз навещал его. Тема его болезни была для меня спасением.

— Ну как ты там? Несло тебя сегодня или нет?

— Нормально, у других еще хуже. Пушку в зад вставляют.

Так мы подшучивали, и как, действительно, мог я ему, больному, рассказывать о том, что происходит, как мог я, чтоб в этих дурацких желудочно-кишечных темах мелькнуло святое для меня имя?

Да и как мог я вообще кому-нибудь рассказать о нас с ней?

Его южный, легкий флирт с ней или, как там это назвать, увлечение — теперь, после всего нашего, московского, казался игрой, чепухой давних, безответственных, напрочь ушедших времен... Теперь свою жизнь я делил на «до нее» и «при ней», как историки делят эпохи.

Конечно, следовало бы сказать ему, что она здесь, но все как-то не получалось. Да и почему, кстати, я должен ему докладывать? Кто она ему? Кто он ей?.. Никто. А мне она — все.

И все же, когда встретились, стало жарко, противно, нехорошо. Не то чтобы предательство, но первая моя в отношениях с ним неискренность, умолчание на грани лжи.

Он посмотрел сначала с изумлением, автоматически перепроверил вторым взглядом: не ошибся ли, и, удостоверившись, что все так и есть, усмехнулся; трудное, вынужденное движение лицевых мускулов.

Улыбка, тяжелая, как вес, который необходимо взять, рвануть на помосте, прежде чем начать разговор.

— Однако, это интересно.

Он сильно окал всегда, когда волновался.

Помолчав, добавил, глядя на Нору просветлевшими почти до белизны глазами:

— И давно это вы... здесь... в наших северных краях?

Лицо ее выражало какую-то умственную работу, мне

показалось, она шевелит губами, добросовестно подсчитывая:

— Ровно два месяца.

Он еле заметно помрачнел. Два месяца это было много; еще неожиданное, как снег на голову, ее появление в Москве, случайную встречу со мной можно было понять: он в больнице, не нашли его и ринулись вдвоем в парк, посидеть в кафе... В таком случае все было бы нормально. Тогда можно было бы все переиграть, снова взять инициативу, но два месяца — это много.

Чудак, он еще не знал, какие д в а м е с я ц а.

Он скрытно, незаметно (но я-то все замечал) следил за каждым моим жестом, словом, за каждым обращением к ней.

И опять ему было непонятно: ушел поезд или нет.

А понятно стало на следующий день в институте. Он в упор, без всяких прелюдий, как-то по-мужицки грубо спросил:

— Ты что, спутался с ней?

Он еще хуже спросил.

Я ответил твердо, будто камень, вылетевший из его глотки, с силой толкнул ему обратно:

— Не смей. Мы любим друг друга.

Хотел сказать: «Я люблю ее». Но сказалось само: «Мы любим друг друга».

Теперь я знал, это навсегда разъединит нас с Борькой. На каком-то этапе мы все: я, она, он — были частью одного целого, и звенья этого целого не ломались, соприкасаясь друг с другом. Теперь все изменилось. Мы разделились: я и она — одно, он — другое и на другой стороне. Сначала был маленький холодный ручеек, перешагнуть его ничего не стоило... Но не шагалось. Стояли на месте. А он все ширился между нами, и все холоднее, глубже становилась эта вода.

...И не видно у реки той края.

Вокзалы, ухающая музыка, тогда эта музыка громыхала в вокзалах, заглушая напутствия, пожелания, плачи. Со времен войны это осталось — музыка на вокзалах.

Я отсчитывал дни и часы до ее отъезда.

Что ж, не привыкать было прощаться и встречать...

«Едем мы, друзья, в дальние края...» — это даже не песня, это рефрен целого поколения. Сначала товарняки и эшелоны войны, эвакуации, разлуки на вокзалах, сортировочные станции, откуда выползали поезда медленно и как гусеницы, иногда под кружащимся и примеривающимся немецким самолетом.

Потом другое, начало 50-х, стройотряды, студенческие отряды, слово «отряд» уже потеряло свой военный, боевой окрас.

Отряды двигались в Казахстан, на целину. Все мы или почти все прошли через это. Все поколение. Целина сделала нас взрослыми, многие ценности вдали от дома прояснились. Палаточные городки вошли в жизнь навсегда. Они были святы для нас. Может быть, поэтому я так не любил бойких туристских песен о стройках. Я всегда считал, что их писали люди, ездившие только по курортным маршрутам.

Любование чужими неудобствами, воспевание этих неудобств, всякого рода фальшивая мечта о голубых городах чаще свойственны людям, удобно устроившимся и крепко оседлым.

Надо сказать, что и в институте была традиция — хождение за три земли за жизненным материалом. Поездки, новые города, новые маршруты многое давали нам, особенно в юности. Потом мы почувствовали потребность выбрать что-то важное для себя из всего этого калейдоскопа, не прикасаться к новым темам перстами легкими как сон, а вжиться в одну — освоить до конца свой город, свой поселок, свою дорогу. Впечатления нельзя брать напрокат. Тяжелее гнать из себя, из своих недр, из своего жизненного сока. А езда в незнаемое тоже не всегда плодотворна. Не станет ли она постепенно ездой в заемное?

Да и бесконечная командировка с бесконечной сменой мест, с промельком приездов и отъездов вдруг становится поперек подлинной выстраданной жизни, и ты чувствуешь какую-то новую необходимость (а может быть, и старую) командировки в самого себя, в свое, в свой выстраданный судьбой материал; получается, что самые зрелые краски добываются оттуда, они, правда, труднее добываются, надо лезть в нутро, в них и привкус крови, и волокна слизистой, и запах этот не всегда приятен, но, может быть, из такого и вырастает твоя картина.

Аккуратно, мастеровито сработанные портреты, грамотные композиционно, с контрастирующим или подчеркиваю-

щим фоном — он согласован с внутренним миром портретируемого.

Внутренний мир — что это такое? Горняк смотрит с необыкновенной зоркостью, так он привык во тьме шахты, но зоркость его подсказана тебе торопливостью твоего ума и сердца.

Это не горняк, а изображение горняка.

Способ изображения — не твой, он взят бессознательно у кого-то, не одного даже, а многих, он старый, но вместе с тем новехонький, точнее кисть новехонькая, она жесткая, будто еще не купалась в краске, не останавливалась, не шлепала в отчаянии по безмолвному холсту, оставляя розовые, кровянистые пузыри.

«Любите живопись, поэты, лишь ей, единственной, дано души изменчивой приметы переносить на полотно...»

А как ее поймать, эту душу изменчивую, в мелькающих командировках?

Впрочем, и не в командировках дело, а в том, чему не научишь.

И я вспоминаю прочитанные когда-то в юности слова старого мастера, с наивной простотой он раскрывает свою тайну — берите, пользуйтесь, вот мой секрет, он так прост. «Вместо того, чтобы писать голову на фоне банальной стены какого-нибудь убогого жилища, я пишу бесконечное, я делаю простой голубой фон, наиболее богатый, наиболее интенсивный, какой я только в состоянии дать, и, благодаря этому простому сочетанию, освещенная белокурая голова на насыщенном голубом фоне приобретает таинственный характер, как звезда среди темной лазури».

Проклятое дело, в который уже раз ты выходишь из Русского музея или Эрмитажа, подавленный, с сознанием, что все уже было, что все уже сказано. Что еще ты можешь добавить?

И от этого мне хотелось уйти во что-то более конкретное, скромное, может быть, даже подчиненное чужому замыслу. Я робел перед живописью, хотя мечтал о ней и все время к ней возвращался. Но я сознательно убегал в книжную графику, хотя она была ох как нелегка.

Борька же никогда не робел перед живописью. Он очень редко говорил о себе, о своих работах, но как никто другой знал себе цену, а иногда, мне казалось, что в нем есть (и он просто не открывает это другим, чтобы не стать посмешищем) самоощущение сильного дара, может быть, даже гениальности.

Может, такое завышенное самоощущение необходимо таланту, чтобы он еще выше поднялся.

Борька работал над своей живописью скрытно, долго, не выставлялся не только потому, что ему не предлагали, но и потому, что не хотел. Может быть, он ждал своей Выставки. Почему он ушел в преподаватели именно тогда, когда каждый из нас уже пробивался в люди, становился в какой-то мере известен?

От неудач? Да ведь и неудач-то не было, было непонимание, неприятие, но все ждали от него, даже те, кто говорил, что он закис, выдохся или бог знает что еще,— даже они не от кого-нибудь, а именно от н е г о ждали.

Одним казалось, что, уйдя в интернат преподавателем живописи, он протестует против всеядности некоторых ловких на все руки выпускников нашей альма-матер, или «клиентов», как мы их с иронией называли.

Не думаю. Ему нравилось это дело, в нем неожиданно появлялось терпение, способность объяснить, желание показывать, открывать. Но была еще одна причина, вполне понятная, бытовая. Он занимался одной живописью, она шла медленно, к тому же у него бывали перерывы, когда он совершенно не мог работать, а подрабатывать он не умел, да и не любил; выходит, преподавательство было для него еще и средством существования.

Долгое время после того, что случилось с Норой, он никого из нас не хотел видеть, жил в своем городке анахоретом, работал тяжело, судорожно, потом дела его неожиданно поправились, его заметили в городе, он вроде пошел, пошел... До того момента, когда на слишком многое замахнулся... Замыслы были мощные, но организатор он был несильный, да к тому же время этих замыслов, видно, еще не подошло. Об этом я еще расскажу.

После этого он тяжело пил, потом болел, лечился, в доме у него на столе беспорядочно валялись разноцветные горошины лекарств, коробки с пугающими и незнакомыми названиями.

Вот в этот момент, еще до того, как он женился, в доме его я встретил впервые маленького, худущего мальчика, мучительно заикавшегося, Егора, Егорку...

Но сейчас до этого еще годы и годы.

День ее отъезда. Проводница, бегло глянув на билет, также бегло, механически спросила:

— Вы провожающий?

— Да, провожающий,— угрюмо и так же механически ответил я.

Что же это происходило? Какие-то люди, протискивающиеся с бесконечными чемоданами, вжали нас в стену вагона, шли мимо нас, мне даже казалось, что они идут сквозь нас.

Потом начали бубнить и отсчитывать оставшиеся минуты, прогоняя провожающих. Я еще как-то толком ничего не понимал.

Чьи-то крики, пьяные мужики, тащившие пиво, пожилые, меланхоличные носильщики, неторопливо толкавшие свои коляски, будто без них поезд не уйдет, все вдруг уменьшилось и затихло. Муравьи копошились вокруг кубиков поезда. Со стороны словно я видел огромный, желтоватый аквариум вокзала, замкнувший это быстрое, по-муравьиному целенаправленное движение.

Явью же было сухое, жесткое, как этот серый бетон подъездных путей сознание: отъезд... Значит, я остаюсь без нее.

Еще какая-нибудь минута, и все. Но если успокоиться, ведь не в чужую сторону уходил поезд, а на родной юг. И это ведь ненадолго, конечно же ненадолго. Вот так же скоро я буду ее встречать. Еще успокаивали эти гортанные, громкие переклички южан, придавали всему ощущение временности, незначительной бытовой перемены, притупляли, скрашивали разлуку, да, все было спокойно, но в воздухе вокзала, под его сводами, в его гулком и одновременно спертом дыхании вдруг возник каменный, пыльный, сушащий глаза и рот ветер, предчувствие перемены, потери. И рваный разговор, все тот же, будто и не чувствуешь ничего:

— Когда? Когда?

— Пиши.

— Да, да.

— Мужчина в купе? Может, поменяться?

— Какая разница. Я грузинка, я их не боюсь.

— Я буду ждать, ждать.

— Да, и я... Я постараюсь скоро.

О чем еще? Ни о чем. Мы расставались, влюбленные и — вдруг я с остротой, почти с ужасом понял — чужие.

Да, там, в парке, в лесу, на поляне, друг перед другом, один на один мы были неразрывны, смеженные, как крылья, оторвать нас друг от друга было, казалось, не-

возможно, смертельно — для каждого. Но здесь, перед поездом, в этом нейтральном круге, на тесной, истоптанной ногами площадке, перед тем новым, так неожиданно надвинувшимся, что называлось безобидно «отъезд», но означало разлуку, перед этим мы чувствовали себя беспомощными, это не объединяло, а страшным образом разъединяло нас, и все слова, которые хотелось сказать, вдруг испарились, исчезли, а те, что говорились, были вязкие, бесцветные, такие же чужие, как этот вокзал, почти не окрашенные чувством.

Может, просто мы не умели тогда прощаться?

— Маме привет, если помнит меня.

— Напомню... Какой стыд, снова возвращаюсь ни с чем...

— Ерунда. В следующем году поступишь в медицинский.

— Это же долго — в следующем!

— Да, долго... Ну все, иди в купе, а то сейчас тронется.

Самое обидное, что она послушалась... Вот это меня больше всего удивило. Я думал, она будет стоять в тамбуре до конца, будет свисать с уже поднятой, захлопнутой подножки.

Она послушно пошла, я видел ее мелькающий профиль в стеклах. Вагоны сдвинулись, стронулись с места. Как незначительно, мало было это движение, и я, обгоняя вагоны, шел рядом с подножкой и все выглядывал ее в окнах.

Но быстрее, быстрее. И вот уже загрохотало, понесло.

Орлиный клекот грузинских слов, машущие руки, и вдруг из мелькания белых пятен чужих лиц — совершенно отчетливо ее лицо, прильнувшее к стеклу, улыбающееся.

Ушел с комком в горле. И одновременно с неожиданным чувством не то чтобы облегчения, скорее освобождения.

Пустота освобождения.

Теперь я каждый месяц ходил на Кировскую, на Главпочтамт, ждал ее писем. Даже не знаю, почему договорились, что будет писать на Главпочтамт; скрывать дома мне было нечего, никто в мои письма не лез, но письмо на

Главпочтамте — это было что-то другое, чем будничное получение дома. Это был своего рода цикл: приход, стояние у окошка, тасовка чужой колоды, высматривание своей карты...

«Да, есть, покажите документ». Протягиваешь студенческий билет, забираешь свою добычу, свое письмо.

И впрямь как с добычей уходишь в сторону, подальше от людей, раздираешь ногтями кожуру, достаешь сердцевину... Какая там сердцевина, иногда один листок, холодный, гладкий, всегда с каким-нибудь рисуночком, штемпелькoм в уголке. И всегда без обращения, будто или забыла про имя, или по имени называть казалось слишком просто, а такие слова как «милый», «дорогой» и проч. никогда не писались, они возможны, значит, были лишь в устном, личном обращении.

О чем она писала в своих коротких письмах? Это была, в сущности, краткая информация о погоде, о делах, не столько о делах, сколько о намерениях. В отличие от моих откровенных, полных всяких признаний писем (сколько я себя ни сдерживал, ни засушивал — все равно рвалось) ее были нейтральные, некоторый оттенок чувств примешивался лишь в подробном описании погоды. Дескать, в городе сыро, идут дожди или скучно, грустно, и она все время вспоминает Москву. Но заметьте, что именно Москву, а не мою улицу, не мой дом и не меня самого.

Мне все время казалось, что над ее письмами довлеет некая цензура. Что еще она писала? Что вместе с матерью была на могиле дяди Арчила, что личные дела матери неясны, раньше она вроде собиралась замуж, теперь это, кажется, распалось. Что один раз приезжал Московский театр транспорта, она пошла, но ей не понравилось. Да и вообще она излечилась теперь от этой детской болезни. Явно, театр — не ее судьба, и она твердо решила поступать в этом году в медицинский.

В конце она никогда не писала «целую», но всегда было что-нибудь в таком роде: «скучаю» или «жду». Односложное, но все-таки что-то обещающее.

Почерк у нее был круглый, ученический, немного набок, как по правилам чистописания, но в этих тонких, стройных буковках, чуть-чуть наклоненных вперед, виделось мне что-то большее, и даже отдельное от нейтрального смысла слов.

И еще мне казалось, она хочет дать понять: ничего не было, она совершенно самостоятельна и независима, ни-

кто из нас не скован даже самыми малыми обязательствами... Чего-то она боялась. Может быть, возвращения в Москву.

А может быть, и повторения того, что было. Да и я сам понимал, повторения быть не может. Может быть только движение вперед, какой-то поворот в судьбе.

Всю зиму я рисовал ее портрет, тот, который я начал с натуры, в комнате.

Начало было такое лихое, броское, кажется, я угадал всю систему портрета с самого начала, точно нашел манеру. Но ничего подобного. Когда она уехала, я посмотрел и понял, что совершенно не так начал работать.

Я изменил замысел. Теперь менее всего меня интересовала конкретная передача ее настроения и выражения ее лица; мне хотелось сделать что-то близкое по манере к средневековому портрету, сохранив сходство, верность натуре, высветить дух, притушить земную оболочку. Это было очень трудно. Наблюдение вылезало на первый план, какие-то отдельные детали, штрихи, выражения ее лица, поворот головы. А надо было, я чувствовал, соединить реальное и ирреальное, но я не способен был чувствовать форму так гармонично и слитно, как те мастера, которым я пытался подражать. И потому получалась фотографичность, похожесть или что-то манерное, романтическое.

Подспудно меня тянул «Великий постриг», я ощущал какую-то скрытую трагедию, она мне казалась монашенкой, но если бы я передал это так впрямую, то было бы театрально и искусственно: почему монашенка, откуда монашенка?

Я понимал, чего я хочу, но это очень трудно мне давалось. Может быть, потому, что я слишком хорошо ее знал. Отсюда не возникала необходимая отдаленность, даже монументальность характера. Меня тянуло к средневековому, трагическому, а он был все же бытовой, современный, эдакий «Портрет студентки». Я старался уйти от этого, снова начинал, пытался определить что-то важное в ее характере, одновременно соединимое и несоединимое: старомодность воспитания, мучительную ответственность за каждый свой шаг, и рядом — неожиданная решимость, порыв. Вот это я чувствовал в ней. Но этого еще было мало, что-то еще надо было найти, то, что словами не выразишь, да и не надо выражать, а если можно выразить, то только кистью. Но как?

А вокруг шло брожение середины пятидесятых: магия 20-х годов, внезапные открытия русского авангарда, во всех лекциях и учебниках руганого-переруганого.

Действительно, многое поражало остротой, новизной, новой выразительностью, другое казалось фокусом, ребусом. Но прямо сказать, что это чистый фокус, даже не фокус, а просто обман, было неудобно. Надо отдать должное Борьке, он никогда не приноравливался. И все, что казалось ему от лукавого, упрямо, несмотря на любые аргументы, называл галиматьей.

Удивительные были дела. «Твердые реалисты» вдруг превращались в необыкновенных новаторов, на студенческих и других выставках рядом с обычными картинами строительства, портретами знатных рабочих и порхающих балерин вдруг появлялись кубистические композиции, странные сюрреалистические пейзажи.

Наши с Борькой старые привязанности — Венецианов и проч. считались чуть ли не признаком устарелости.

И действительно, кое-кому работать стало легче. Уже не надо было со всем тщанием изображать, можно было придумать, скомпоновать, назвать так и этак, это могло быть и «Летящим самолетом» и «Девушкой в сарафане».

Но осуждать такое тоже не слишком хотелось. Почему? Не из боязни прослыть ретроградом, просто мы слишком долго сидели на одном и том же, в рамках заданного; о чьих-то завихрениях и ошибках лишь слышали, но не видели, какие они на полотне. А надо было все видеть. И иметь способность сопоставлять. А то ведь и в действительности фокус примешь за гениальное. Но это полбеды, гораздо хуже, когда не поймешь гениальное и почтешь его за фокус.

Тот период, когда пытался администрировать декан, вроде бы навсегда прошел.

И действительно, хотелось чего-то нового.

Может быть, не столько даже нового в форме, все уж, казалось, было-перебыло в истории, а нового во взгляде на старые вещи. Наш Мастер как-то обмолвился: «Через все детские болезни надо пройти в детском возрасте, иначе они вспыхнут во взрослом».

Это время было и тем хорошо, что, приобщив нас к новому, новейшему, наисегодняшнему, оно дало возможность увидеть старое, то, что годами было закрыто.

Мы ездили по северным монастырям, я помню лицо Богоматери неизвестного художника, она смотрела так, что верилось: ты бессмертен и бессмертно все сущее. Противоречие, острое, будоражащее, разрывало тебя между краткостью мига твоей жизни и способностью твоей обрести цельность внутри самого себя, вырваться из суетного, все дальше и дальше тянущего тебя конвейера маленьких обязанностей и незначительных обязательств.

Однажды кто-то принес альбом Сальвадора Дали, того самого фокусника, коммерсанта, пугала с закрученными усами. Кое-что поразило. Фантазия дьявольская, да и рисовальщик замечательный: какой-то необыкновенный песчаный, библейский фон, древняя пустыня, рояль с вытекающей из него водой, дорога в никуда...

Это было совершенно не мое, но знать это следовало.

Хотелось знать многое, все, чтобы найти самого себя. Но появились у меня тогда прочные привязанности, я торчал часами в маленькой комнате над Третьяковкой, где была экспозиция «Мира искусств». Эти устарелые романтики, вздыхающие о прошлом, как о них говорилось на прежних лекциях, оказались совсем иными.

И какие чудеса они делали в книжной графике. А что мы знали о них? Петитом в учебнике, что-то неодобрительное, «ретроспекции, стилизаторство, эстетствующие...».

Ничего себе «эстетствующие». Иллюстрации Лансере к «Хаджи-Мурату», его же яснополянские акварели, черно-белые листы Добужинского «Петербург» — чувство прошлого, переход в сегодня, ожидание перемен, вот что такое их книжная графика, такая старая, такая сегодняшняя.

Смотреть, пропускать через себя, отталкиваться и плыть самому.

Репродукции фаюмских портретов. «Смуглая молодая женщина». Середина или вторая половина XI века.

Большие глаза, прикрытый темными густыми волосами лоб, нитка металла на высокой шее.

Смотрит сосредоточенно, с нежной печалью, мимо тебя. Художник безымянен, девушка — тоже. Старинная техника, восковые краски, живое лицо.

Интересно, сколько ей жить, этой фаюмской девушке? Тогда ведь жили мало.

Чем-то она определенно напоминает Нору. Впрочем, многое тогда мне напоминало Нору.

И я снова возвращался к портрету. Что делать с ним? Может, тоже ударить новизной, придумать такую шарнирную композицию, со смещенными пропорциями на чешуйчатых бабочкой перепонках с невероятными глазами, чтобы остановились и задумались... И назвать «Нора».

Наверное, я бы сумел, да не мог.

Как счастливо было в детстве: листок картона, цветные карандаши, танки, самолеты, тигры и львы — все сильное, грозное, способное загрызть или задавить.

Почему именно в детстве мы так любим силу? Потому, очевидно, что малы и беззащитны. В детстве любим все сладкое и все сильное.

Только уже повзрослев, почувствуем тягу к горькому и узнаем в некоторые моменты всю меру своей слабости.

С Борькой мы виделись, все было внешне как и прежде, только самое главное в этот период исчезло: дружба.

Мы подружились с ним сразу, с первой встречи, у нас не было даже периода приятельства; познакомились и, похоже, с первого дня побратались.

А теперь — назад, теперь мы просто знакомые, приятели, разговариваем по делу, ни перезвонов, ни прогулок...

Но вот случилось мне встретить его в Русском музее.

Приехали мы теперь порознь; я даже не знал, что и он в Ленинграде.

Я опустошенно ходил из зала в зал, скользя по таким знакомым, как если бы они были мои родственники, лицам, с разной высоты глядевшим на меня со стен. Какие-то экскурсанты, иностранцы, школьники с учителями... И охватывает тебя вдруг та необыкновенная усталость, какую чувствуешь именно в музее. Ноги словно чугунные, хочется передохнуть, сесть, а может быть, даже лечь на пол, окинув взглядом все эти замечательные застывшие лица со столь разными выражениями, все эти удивительные и где-то далеко шумящие ветрами боры и рощи, лечь на холодный пол в сознании счастья и полного бессилия.

Но так не принято в государственных музеях. Тут и присесть-то трудно; старички сидят на диванчиках.

Удивительное одиночество, знакомое только тем, кто очень часто многократно ходил по одним и тем же залам, охватило меня.

Возвращаешься словно в улицы своего детства, а перемолвиться не с кем. Некому сказать о знакомых до мель-

чайшего штриха и будто бы тобой самим написанных картинах. Так и ходишь, как немой старожил.

И вдруг я увидел Борьку Никитина. Точнее сказать, я увидел спину Борьки Никитина. Он неподвижно, сосредоточенно стоял перед какой-то картиной.

Интересно, что он там высматривает. Вот так стоит, любуется, а потом будет бранить из последних сил. Бывает с ним в последнее время такое. Я подошел поближе, глянул сбоку.

Он стоял у федотовского портрета Н. П. Жданович... Девушка у фортепьяно.

Смотрел он очень пристально, неотвязно, голубые с расширенным зраком глаза как бы высохли. Портрет был прекрасный, но что-то еще интересовало его. И вдруг догадка, совершенно подсознательная, неожиданно все поставила на место. Эта девушка, отвернувшая лицо от фортепьяно и чуть вскользь, потупив глаза, смотрящая в сторону, совершенно определенно напоминала Нору.

Это было уже не отдаленное и лишь моим настроением, желанием вызванное сходство с фаюмской девушкой. Нет, это было реальное, физическое сходство, так, как будто бы Н. П. Жданович была родная сестра Норы.

Борька посмотрел на меня, я на него. Мы сошлись у центра картины, пожали друг другу руки, и я сказал нарочито легковесно, с ухмылочкой, будто мы оба участники какого-то сговора:

— Хороша... А?

Он посмотрел на меня с искренним недоумением и, помолчав, сказал:

— Шея, пожалуй, слишком лебединая. А так портрет отличный.

И я понял, даже с некоторым облегчением: мы видели разное, думали о разном.

Просто в тот момент, в то время я видел только одно. И кажется, больше ничего.

А он видел все, он разглядывал все портреты и все картины. Я не знаю, искал ли он ее лицо в чужих картинах, как я, думал ли о ней так же неотвязно... Я почему-то был уверен, что тогда — нет.

Мы шли с ним по вечернему Питеру. Заглянули в модное тогда кафе «Норд», ели несказанные двухэтажные пирожные и как фраера запивали ликером в детских игрушечных рюмочках. О Норе ни слова.

Но что-то в наших отношениях вновь затеплилось, ожило.

Помню еще, что в тот день мы были в Петропавловской церкви, усыпальнице русских царей. Молча обходили нарядные, светящиеся монументальные саркофаги с цинком и серебром, защищавшие от света комки праха, славы и позора России.

Ходили по огромной Петропавловке, мне было интересно найти камеру, в которой сидел мой дед по думскому делу, но этой камеры мы так и не нашли.

— Хочешь приникнуть к своим истокам? — спросил Борька.

— Да, хочу, а ты?

— А я хочу узнать, в какой такой земле лежит мой отец. Ведь ни фамилии, ни даты. Без вести...

Мы еще долго бродили по Питеру, разговаривали. Борька говорил, что когда работаешь, то надо забыть обо всем, что было до тебя, что надо закрыть уши и глаза. Что есть только твое состояние и то, что тебе надо передать, тот предмет и та мысль, и нельзя ни на кого оглядываться, лучше самому открывать Америку, чем старательно повторять открытую. Он говорил, что все на курсе,— даже не только на курсе, в институте,— все почти вторичны, что оригинальных талантов, пусть хоть и небольших, но подлинных, он у нас еще не встречал.

Он ворчал и ругался почему-то. Может, оттого, что выпили все же недостаточно и хотелось есть.

Мы замерзли, почувствовали вдруг бездомность в чужом городе, хотя у каждого из нас было где ночевать.

Пошли ко мне, точнее, к моему другу, у которого я квартировал. Я показал Борьке несколько набросков к портрету Норы, которые взял сюда.

Он смотрел очень внимательно и ничего не сказал... Меня это даже обидело.

Потом, через много лет, он признался, что ему понравилось, что он даже не ожидал, что я так смогу. И еще в тот вечер он и сам решил ее нарисовать. Когда-нибудь попозже.

Вот так, попозже, он и сделал этот рисунок, что висит на стене. Чем она была занята в тот момент, когда он рисовал? Ведь не позировала же просто так... У нее уже было много дел, забот. Там, в другой ее жизни, мне неизвестно,

чем она занималась... Может быть, она склонилась над штопкой, над шитьем, хотя глаза и не опущены, а чуть наклонены, потуплены.

Преддипломную практику мы проходили в целинных совхозах Акмолинской, ныне Целиноградской, области. Не только мы рисунком занимались. Достраивали, оформляли зал Дома молодежи, столярничали, плотничали, старались сделать этот зал праздничным, непохожим на стандартные, утлые клубы.

Борька придумал даже проект совхозной пивной, именно пивной, не в ироническом смысле, своего рода место встреч, сельский «паб», а не какая-то деревяшка, где надираются до упаду. Все там должно было быть простым, земным, опрятным, столы и табуреты из неотесанного дерева, тогда это не стало еще повсеместной модой, а было лишь возвращением к прошлому. Идея Борькина понравилась нашим руководителям, те поделились ею в районе, она обсуждалась всерьез и в серьезных инстанциях. И надо сказать, идея победила. Проект в принципе приняли, естественно под названием «Сельское молодежное кафе». Так Борька проявил и свой оформительский дар.

Это не была дежурная командировка. На этот раз руководителем был наш Мастер, мы вместе работали. И не только работали. Он помогал понять, почувствовать живой, на глазах создающийся облик иногда противящейся преображению, но все же неумолимо обновляющейся земли.

Так разнообразно и непохоже было здесь все: прижимистые, крепкие, еще с прошлого века обособленные домишки старого Акмолинска, а рядом разрытая земля, сплошные улицы серых как мыши палаток, улицы фундаментов, а затем — через год, новые здесь и кажущиеся огромными в ровной сплошной степи — сверкающие на солнце здания из стекла, бетона, металла.

Уже к концу практики получил телеграмму из Москвы. Телеграмма коротенькая, буквально несколько слов: «Я здесь, в Москве. Нора».

И еще в конце, как награда, было слово, ни разу не употребленное ею в письмах: «целую».

Неровно, с разрывом наклеенные на грубый желтый бланк слова дышали ее теплом и звали немедленно назад в Москву.

Я стал советоваться с друзьями. Сашка мне сказал: «Поезжай, мы тебя прикроем как-нибудь. Все-таки теле-

грамма, может, что дома случилось». А Борька, присутствующий при этом, посоветовал: «Подожди немного, где-нибудь за недельку до конца уедешь, иначе подведешь Мастера».

Причина была веская — любовь, но Борька был прав: едва ли меня бы поняли правильно некоторые товарищи, и я немедленно был бы зачислен в дезертиры. Атмосфера была такова, что любой отъезд, даже студенческий, с целины воспринимался как дезертирство. Чем-то оно напоминало дезертирство с фронта.

И потому я был со всеми до конца, до последнего звонка.

И меня встречали так же, как и всех: музыкой на вокзале, громкими маршами, объятиями и крепкими рукопожатиями.

Первая моя встреча с ней в Москве совпала с моим днем рождения. Поэтому я позвонил ей и попросил ее прийти пораньше, а уж потом придут друзья. И на этот раз мы будем веселиться все вместе. В конце концов все старые счеты уже закрыты.

И вот я в своей комнате, от которой я уже отвык за эти три месяца, она кажется более тесной, как всегда, когда возвращаешься с далекого простора; да и все более тесное: трехэтажный домик постпредства, уменьшившийся почему-то скверик, сверкающий осенней медью, облетевшие голые тополя.

Я сходил в магазин на Кировской, где всегда была хорошая ветчина, розовая, прохладная колбаса с аккуратными полянками жира. Купил я несколько бутылок желто-лимонной старки и ждал, ждал ее.

В комнате прибрано, скромная, но вкусная снедь сияет на столе между бутылок, каждый звук, каждый шорох кажется мне звонком, я все время вскакиваю, попутно смотрю на себя в зеркало, и на этот раз даже нравлюсь себе: аккуратная, приятно уменьшившаяся после стрижки голова, красноватый целинный загар на гладко выбритых щеках.

Ничего, кажется, все в порядке. Таким не стыдно предстать перед ней.

Ее все нет. Я постепенно начинаю нервничать, жалею, что затеял этот день рождения, лучше бы просто встретился с ней один на один.

Я достаю ее портрет. Смотрю на него, будто не я писал. Мне хочется показать ей, но я еще не знаю, не решил...

То выражение молодого самодовольства, с которым я осматривал себя, слетает, когда я смотрю на свою работу. Я уже давно на нее не смотрел, стояла за шкафом в чехле, а сейчас, перед ее приходом, зачем-то достал. При еще ярком солнечном свете мой цвет показался слишком форсированным. В сумраке ее лицо должно было бы светиться, а сейчас оно слишком торжественно блестело, а глаза показались традиционно иконописными и слишком напряженными.

Пожалуй, наклон лица, поворот, неожиданность взгляда — все это, если не придираться, было неплохо, но все равно казалось много ниже того, что я ожидал от своей полузабытой работы, на которую я не глядел вот уже три месяца. И, подогревая свое разочарование, расширяя ту вначале небольшую трещинку между надеждой на откровение и тем как бы вполне законченным сочинением, которое лежит передо мной, я произнес для себя самое противное слово, которое мог бы услышать из чужих уст: «Мило, довольно милая работа». Порвать, порезать, сжечь? Нет, я не чувствовал той решимости и того самоотвержения, великим было легче, они резали, сжигали легче, да, наверное, и делали легче, потому что были гениальнее и не так пыхтели, не так упрямствовали, потому и так не дорожили своими опусами.

Конечно, все это было еще и оттого, что она не шла. Не так уж плох был портрет... Конечно, он не закончен. Еще работать и работать, но, оценивая трезво, я предощущал будущую удачу... Но сейчас меня злил ее неприход, нервность моего ожидания, неуверенность в ней, а потому злили и портрет, и то, как я все представлял себе: вот она придет, мы прильнем друг к другу, скажем какие-то слова, а может, и слов никаких, и вот я достану и покажу ей то, над чем бился почти год.

Я бросил портрет на диван; показалось, что треснула рамка, которую я специально приспособил, выстругивал, чтобы она увидела, как полагалось, не холст, а портрет.

Бросил, и тут же стало жалко портрета, жалко своей работы.

В этот момент звонок.

Нарочито охлаждая себя, замедленно, как бы нехотя, уже заранее решив, что это не она, что-то делая ртом и

носом, то ли гудя, то ли посвистывая, небрежно, независимо иду открывать.

В проеме приоткрытой двери — она. В красном коротком платье, загорелые прекрасные ноги в красных же босоножках, а уж потом только, подняв глаза, вижу ее лицо.

Оно сдержанно сияющее, повзрослевшее, загорелое, не родное и привычное, как тогда, а новое и слишком красивое: слишком красивое для этого тусклого коридора с пыльными шкафами, для этих прикрытых дверей, для утлого коммунального быта, для меня, для моего жалкого портрета. Я чувствую какую-то странную робость перед ней, перед ее новизной, перед женской завершенностью, зрелой нарядностью ее одеяния. Я осторожно держу ее за руку, стараюсь вести за собой, но она идет сама, свободно, не стеснительно, совсем не скрывая того, что хорошо помнит эту дорогу и эту дверь.

Она уверенно открывает дверь, входит в просторную комнату, вдруг ставшую заскорузлой каморкой, какой-то кургузой, плохонько вытесненной рамой для ее торжествующего лица.

Она прохаживается по комнате, смотрит в широкое открытое окно (как она тогда смотрела, босоногая, худенькая, почему-то жалкая и такая близкая мне), она садится на диван, и опять я вижу ее колени, тоже совершенно отчужденные от меня, элемент завершенной женской формы, мне уже не принадлежащей, и, повернувшись, обращает свой взор на валяющийся рядом с ней на диване портретик с действительно треснувшей в одном месте рамкой.

Она смотрит на него, а потом на меня с удивлением:

— Это я?

— Нет. Это Н. П. Жданович.

— Какая еще Жданович?

— Обыкновенная Жданович. Надежда Павловна, допустим. Ничего бабка?

Она несколько теряется и говорит:

— Очень даже ничего. Я почему-то подумала, что я. Вот дура.

— Скажешь тоже, ты! Это репродукция с работы известного художника. Такое нам задание дали. Сделать репродукцию.

— А...— говорит она разочарованно.— А я думала, ты сам так научился рисовать.

— Скажешь, сам. Чтобы так рисовать, нужны десятилетия, годы труда и работы. Ты старухой станешь, когда я научусь так рисовать.

Странное начало... Присутствие ее мне кажется все же нереальным. И совершенно нереально, что можно дотронуться до нее, обнять.

Успокаиваясь, я нарочито медленно заворачиваю в простыню портрет, отношу его, ставлю туда, куда и положено, в расщелину между стеной и шкафом.

И дежурные, мятые какие-то слова, словно все другие забыл.

— Ну что, ну как?

— Ничего, вот поступила, можешь поздравить.

— Поздравляю.

— И я тебя поздравляю.

— А ты-то с чем?

— Ты что, забыл, что ли? У тебя же день рождения. У меня для тебя подарок есть.

— Давай поедим, выпьем, ты же голодная.— А самому все же интересно, какой подарок. Подарок от нее, это что-нибудь да значит.— Откуда ты знаешь, что у меня день рождения?

— Ты как-то обмолвился, а я запомнила.

— Значит, еще помнишь кое-что?

И, изменив нашему странному ладу и тону, она вдруг говорит тихо, с какой-то удивившей меня серьезной простотой:

— Конечно, помню. Все помню.

Она достает из сумки какой-то маленький предмет, он завернут в платок, она разворачивает. Вижу белый, наверное, слоновой кости, с серебряными готическими инициалами мундштук.

— Это мундштук моего отца. Вот, я тебе его дарю.

Единственное вещественное, что вообще осталось от нее, кроме уже утонувших в большой глухой воде времени слов, жестов,— этот мундштук.

И вот ведь как мы устроены, как и у всего моего поколения, у меня был привкус нелюбви к немецкому, причины понятны, а следствие глупо, как, например, нелюбовь к немецкому языку, который мы проходили в школе, как яростное боление против немецких футболистов, как будто они в чем-то виноваты, но вот этот мундштучок, в готических, похожих на башенки буковках, и то, что он принадлежал ее отцу, немцу, и сам этот неведомый мне отец, от кото-

рого у нее не знаю даже, что и есть: может, иногда неожиданная, прорывающаяся сквозь восточную мягкость жестковатость, прямота; иногда неожиданная откровенность и простота в разговорах на смутные стыдные темы,— да не знаю, что в ней было немецкого. Во всяком случае, мундштук ее отца навсегда примирил меня с Германией.

— Спасибо, спасибо. Тут уж и впрямь, и дорог подарок, и дорога честь.

— Ладно, хватит об этом. Просто мне хотелось, чтобы это было у тебя. Чтобы ты курил и вспоминал обо мне.

— Ага, вот немецкая сентиментальность,— ловлю я ее еще на одной черте.

Сидим на диване, очень хочется ее обнять, но я почему-то долго не решаюсь; да что такое, что со мной происходит, что вообще случилось? Я обнимаю и целую ее, но она как-то высвобождается и вдруг спрашивает:

— А можно, я еще посмотрю этот портрет? Эту, как ее, Надежду Жданович?

— Нет, не надо. Надежда очень смущается, когда ее так пристально рассматривают... А ты что же, совсем не соскучилась?

— С чего это ты решил?.. Для тебя соскучиться это только... А я теперь на все стала смотреть по-другому.

Я не стал уточнять, не стал развивать эту тему. Мне показалось, что смогу лучше развеять эту ее новую систему взглядов, если не доводить ее рассуждения до логического конца.

— Ведь мне уже двадцать один год, три года я мыкалась, а теперь, на старости лет, я поступила. Вот за это и давай выпьем.

Мы выпили. Чокнулись. Все, как полагается. Прошло еще минут десять — пятнадцать. Мне показалось, что она возвращается к той, какой была, что эта непонятная мне новизна стирается, уходит. Теперь было все спокойно, как прежде, как и должно было быть. Я приблизил к себе ее голову, уложенную точь-в-точь как у Надежды Жданович, и стал целовать ее.

Не вовремя, слишком скоро раздались звонки: это были ребята.

Вновь мы собрались в прежнем своем составе, но переговаривались скованно, словно бы осматриваясь... Ничего

вроде бы и не произошло, все те же и всё то же, а неуловимые изменения, проделанные небольшим, но все же для каждого из нас значимым временем — не видны; они внутри каждого из нас.

Но выпивка делала свое дело сглаживания конфликтов и сближения людей. Включили музыку, разогрелись, раскраснелись, разговорились. Пошли вопросы. «Ну как ты, ну что ты?»

Вопросы, естественно, были обращены к Норе. Мы-то друг о друге все знали.

Потом стали танцевать. Бурный рок — три кавалера и одна партнерша. Каждый бросал ее как умел... Но я поймал себя на том, что смотрю, как она танцует с Борькой. Почему-то поставили тихую пластинку, танго, и мне стало почему-то неприятно, что ее рука послушно лежит на его плече... А с другой стороны, как же еще танцевать?

Вообще Борька был тих и немногословен, посматривал исподлобья. Я знал, этот взгляд его не выражает мрачность или хмурую неприязнь, скорее тяжелую сосредоточенность на какой-то одной мысли.

На чем он был сосредоточен тогда, бог его знает...

И был еще один момент, когда далеко за полночь все заспешили, чтобы успеть на метро.

И она тоже, вот что меня удивило. Я был уверен, что она останется. Можно было, конечно, для отвода глаз выйти вместе, проводить их до метро, ну а дальше якобы разбежаться по сторонам, а на самом деле пройти короткий путь пересекающих друг друга переулочков, подняться на пятый этаж, проскользнуть (впрочем, чего уж скользить, плевать, кто что подумает) темным коридором и очутиться вдвоем в моей, в нашей комнате.

Она стала собираться, я отозвал ее и то ли спросил, то ли попросил:

— Останешься?

Она дотронулась до моей щеки ладонью, что-то в этом движении, в этом жесте было снисходительное:

— Нет, сегодня не останусь.

Вот все собрались, пошли к дверям, а я еще не знал, пойду или нет, мне не понравилось, что она уходила, что в первый наш вечер не осталась.

Тут Сашка уж совершенно невпопад начал:

— А ты сиди, куда тебе. Мы ее проводим.

Будто его наняли.

Я еще подумал о том, что буду для себя и для нее жалок, если заспешу провожать, будто не уверен в чем-то...

И вот так, ощущая что-то еще непонятное мне до конца, какую-то несообразность, блик отчуждения, я все-таки шел к метро, отдельно почему-то от нее, будто она такая же для меня, как для каждого из них.

Дошли до метро «Кировская». Оно закрывалось. Все-таки милиционер пожалел, пропустил. И они все втроем вошли в открывшиеся на секунду створчатые с металлом двери. Вошли, словно канули в подземелье, двери за ними бесшумно закрылись, и заглохли их голоса.

Все было в этот приезд не так, как я ждал. Какие-то обстоятельства отгораживали, мешали, выстраивались частоколом, я продирался сквозь них, как через колючую проволоку.

Вначале Нора заболела, простудилась, я ей звонил каждый день, слушал ее больной, обесцвеченный голос, говорить вроде было не о чем, телефонный аппарат окончательно забивал, уничтожал все наше, важное для обоих... Пустые, незначащие разговоры, топтание на одном пятачке.

Мне хотелось прийти к ней, принести лекарств, апельсинов, лимонов, обогреть ее, но, по ее словам, приходить было неудобно, теперь она снимала комнату у какой-то знакомой матери, пожилой грузинки.

Пожилая грузинка аллергически не воспринимала молодых людей, их визитов, посещений, даже звонки она с трудом выносила.

Так три недели мы не виделись. Но вот наконец она выздоровела. Я думал, встреча наша после этой вынужденной паузы будет счастливой. Ничего подобного. Мы просидели на скамейках Суворовского бульвара час, она все время кашляла, мне даже казалось, преувеличенно (нерастраченный запас актерских сил). Говорила, как ей трудно климатически в Москве (это было что-то новое, раньше ей было трудно там, на родине), как ей трудно в институте.

Она вдруг превращалась в этакий восточный цветок, яркий, капризный, на глазах осыпающий лепестки.

Мы поехали на Выставку в чайхану. Горячий зеленый чай отогрел Нору, она перестала кашлять, как-то подобрела и погрустнела. Она была нежна со мной, гладила мою

руку, но я все время чувствовал какое-то отчуждение. И потом слишком часто она стала говорить о своем одиночестве в Москве, дома... Это особенно царапало. Она одинока, будто меня и нет. Будто я не сижу рядом.

Я ее провожал, мы подходили к дому, где на втором этаже светилось окно строгой хозяйки, Нора останавливалась у подъезда. Ей явно не хотелось туда. Мы снова и снова ходили взад и вперед по Рождественскому бульвару, молчали.

Было часа два ночи, когда мы подошли к ее подъезду, она протянула мне руку, я приготовился пожать ее, обычное рукопожатие, никаких нежностей, своего рода протест против ее сознательного отдаления от меня, и вдруг она приблизила меня к себе, я увидел ее глаза, ей хотелось плакать, но она сдерживалась, она быстро поцеловала меня так, как будто прощалась, и оттолкнула. Будто прощалась — вот что я запомнил... А может, другое. Может, просила прощения. За что?

Как-то раз она зашла ко мне домой, опять все было хорошо, и она была своя, простая, без фокусов, и в этот день, пожалуй, единственный во второй ее приезд, я испытал всю полноту близости с ней, счастья и умиротворения.

Потом она снова исчезла. Теперь уже причина была другая: институт. Невероятные нагрузки, нечеловеческие задания, анатомия, морги, бог знает что... Можно было подумать, что она не в Первом медицинском учится, а в какой-то академии, где за год натаскивают на врача, потому загружают круглосуточно.

С другой стороны, она способна к преувеличению, но не ко лжи, и потому я понимал, что, действительно, она много занимается, что существует еще какая-то зависимость от той женщины, у которой она живет... Все это было понятно... Но каждый раз наши договоры о встрече срывались, что-то пробуксовывало, тянулось, исчез тот стремительный, поглотивший нас обоих в прошлом году ритм отношений, в котором ни паузы, ни отсрочки были немыслимы.

Наконец мы договорились твердо и окончательно. Она придет, и мы поговорим с ней.

Я говорил себе и ей: «Мне ничего не нужно, только твое присутствие в моей жизни, любым способом, только твое присутствие, больше ничего».

Но что это значит, присутствие? Звонки, гулянья по бульварам? Раз-два в месяц, когда родителей нет, приход ко мне? Я понимал, что так тоже невозможно. Но что я ей мог предложить, к чему был готов?

И опять, как тогда, зачехленный портретик, к которому я совершенно потерял интерес, бутылка вина, новенькая пластинка, магниево блестящая под рычажком новенького проигрывателя.

Она пришла точно, почти минута в минуту, ее точность даже пугала меня.

Вяло пила чай, от вина отказалась, прокручивалась, проигрывалась пластинка; звук был сильный, свежий, но казалось, что она крутится вхолостую, не поднимая, не завораживая, а просто механически производя сложный, тщательно соркестрованный звук, плывущий мимо глухих огрубевших ушей.

Я пил один, быстро хмелея, самоожесточаясь. Сочтя, что я выпил достаточно, я обнял ее, стал как-то нарочито грубо целовать, был нетерпелив, настойчив, а она и не отвечала мне, и не сопротивлялась.

Во всем этом была какая-то оскорбительная возня, словно я был ей чужой; и она то сопротивлялась, то готова была уступить, словно безропотно выполняя какой-то долг.

Неясное подозрение родилось, еще не оформившееся, слабое, готовое рассыпаться при первом же звуке.

Это было впервые тогда узнано мною и оказалось довольно страшным испытанием, словно прикасаешься к тайне, но мутной, грязной, не с тобой разделенной, и потому отвратительной похожестью на твою общую с ней тайну, на то, что было, казалось, неповторимым.

Вместе с тем это было совершенно непохоже на нее, так не могло с ней случиться; не могло, но все-таки случилось, может быть, иначе, не до конца, и чем больше ты выспрашиваешь, тем однообразнее эти ответы, эти механические «нет, нет, нет» или успокаивающие, как с больным «ну что ты, ну что ты».

Бледнея, еще веря, что скажет твердо, окончательно, безоговорочно «нет» и тем самым даст мне возможность дышать, любить ее, надеясь на продолжение, я словно во тьме брел, трепыхался жалко, словно свет замкнуло, теперь надо было его вернуть, и только она могла его включить: одно движение, одно твердое, как щелчок, слово, и все станет на свои места.

— Но мы же договорились друг другу только правду, только правду,— повторял я, сам чувствуя свою жалкость, но это было неважно сейчас; важен был только ее ответ, причем именно тот, на который я рассчитывал, несущий надежду.

Мое учащенное сердцебиение, тихий мой, неожиданно даже вкрадчивый голос:

— Ну скажи, скажи.

И сказала тихо, пересохшими губами, без голоса:

— Ничего не было... Не было... Но...

— Что — но?.. Ну скажи, скажи...

— Я, наверное, выйду замуж.

— Поздравляю,— грубовато, как бы с иронией, говорю я и не слышу себя, а вижу только ее остановившиеся губы. И, не слыша себя, не видя ее, тем же шутовским тоном добавляю: — За кого же еще?

— Ну ты узнаешь, узнаешь.

— Нет, сейчас я хочу знать. Кто он?

— Зачем тебе это?.. Я не могу больше жить, на каждом шагу ощущая бесприютность и одиночество. А ты думаешь только об одном, только одно тебе важно в наших отношениях. Я ведь много думала. Ты не любишь меня.

— Наступление — лучшая защита,— неожиданно успокаиваясь, говорю я.— Ты сама не веришь в то, что говоришь, да и зачем тебе аргументы, ты лучше скажи, кто. Ну, чего ты боишься? — Вдруг дикая мысль пришла мне в голову: — Администратор, что ли?

Она изумленно усмехнулась:

— Нет, что ты.

— Ну так кто же? Ну не тяни. Кто, я спрашиваю.

Я приблизился к ней, увидел совсем близко ее темные глаза, глядевшие участливо и отчужденно, но будто из дальней какой-то дали.

— Хорошо. Я скажу тебе... Борька Никитин.

Что она еще говорила, когда я молча провожал ее до метро, пудовыми автоматическими рычагами ног железно стуча по земле?

Вспоминается примерно такое: «Да, я люблю тебя и его... Но это же нельзя, это же несоединимо... Нужен выбор».

Помню, мне еще тогда запомнилось и поразило слово «выбор», жесткое короткое слово.

И еще что-то она говорила обо мне: сначала хорошее, как она меня любила всю зиму, как читала и перечитывала мои письма, как ждала своего возвращения в Москву (все в прошедшем времени), потом еще что-то, объяснительное: «В нем есть решимость, а в тебе только настроение, он готов разделить со мной жизнь, а ты?..»

Так или примерно так.

Зачем она это говорила? Она ведь даже и не смотрела на меня, бормотала, не интересуясь, слышу я или не слышу... Да ей и неважно, слышу или нет. Ей важно было объяснить. Кому? Себе, конечно.

Она убеждала, бормотала, уговаривала себя. Она еще не была в себе уверена.

А я ничего не мог ответить. Все это было так странно своей новизной, своей новой реальностью. Может быть, еще что-то можно было «переиграть», переломить. Ведь есть такое понятие: «Бороться...» Надо бороться за нее. Но как бороться и что это такое, если вместо инстинкта борьбы раскаленный ком в глотке ничего не дает сказать...

А ей хочется, чтобы было красиво, чтобы было как надо. Она хочет попрощаться со мной достойно. Она гладит мою руку, говорит, что никогда не забудет меня, что я такой...

Я отталкиваю ее и пересохшим голосом бормочу хрипло что-то длинное, скверное: «Ты сука обыкновенная, вот ты кто».

Я ожидал пощечины, ожидал, что она убежит, ничего подобного. Она, плача, шла за мною, болезненно морщась от моей ругани и все время повторяя жалостно:

— Ну что ты, ну что ты...

Я все ускорял шаг, все обгонял ее и наконец окончательно обогнал у перехода на Садовом кольце (сейчас я думаю, зря я так убегал, может, еще бы все переломилось, еще был шанс, потому что тогда она действительно еще любила меня).

Помню, я пошел на красный светофор, мостовая вначале была пустынна, дождинки подпрыгивали и отлетали от нее, потом издали из пустоты быстро стала накатывать московская ночная стая с волчьими глазницами фар, готовая незаметно, мгновенно снести тебя с мостовой, расплющить так, что никто и не заметит.

«Ну пусть... ну и пусть... теперь все равно».

Не сбили; видимо, я автоматически все-таки ориентировался в этих городских джунглях.

Это был самый гнусный и тяжелый момент в моей жизни. Потом, через ряд лет и дальше я узнал, что есть бездны пострашнее, что бывают моменты...

А тогда теплая ночь, чернота, дождь, машины, бесформенно летящие, отдающие сухим жаром, почти задевающие, равнодушие и слабый вызов всему. «Ну сбивайте, гады, валите, что же вы...»

Пельмени тают, журчит разговор, звенят стаканы, кажется, все это уже было когда-то, какой-то длинный поезд громыхает и мчится, а я стою между вагонов, там, где серая, с перепонками гармошка перехода над угрюмыми буферами.

Что это такое, куда он идет, в каких тоннелях исчезает, проносится, грохоча с погашенным светом?

Лица, дома, пристанционные здания, магазины, солнечный свет, мелкий густой дождь, обрывки разговоров, обрывки мыслей, погасшие окурки.

Пепельница старых окурков, только табаком уже не пахнет, все выветрилось от времени; несущееся куда-то прокуренное купе в черных рентгеновских пятнах никотина.

В детстве это неинтересно, в юности непонятно, потом — еще отдаленно, но уже страшновато, в старости уже близко, но несколько неопределенно, как уже решенный, но еще кем-то не подписанный бланк окончательного приговора.

Начало и конец. Конец. Финал. И кажется, все это неправда, этого не будет со мною.

Но иногда странное, физически осязаемое ощущение, прямо-таки затылком, плечами: издали, из незнакомой тебе, не существующей высоты смотрят на тебя те, которых тебе не увидеть... Мы знаем: они были. Они знают: мы есть...

После окончания института весь курс направили на Рыбинскую ГЭС: там выделили средства на заказы по созданию музея ГЭС, галерею портретов рабочих, на оформление общежитий и так далее.

Жили мы в старом Рыбинске. Лето, широкая Волга, дождь, двухэтажная гостиница-дебаркадер, здание речного вокзала.

Тоска. Ребята пошли на танцы в местный парк... И я пошел. Деться некуда.

Там же и Борька со своей женой Норой, она зачем-то поехала с ним. Еще бы, тут где-то недалеко его родина. Медовый месяц на родине. Делаю вид, что не замечаю. Ослеп. В упор не вижу.

Мелодии здесь на танцплощадке допотопные, чуть ли ни «Мишка, Мишка, где твоя улыбка...», но есть и новейшие: «Вьюга смешала землю с небом».

Ухожу с танцплощадки, напиваюсь тупо в буфетике среди местных алкашей, подгулявших командированных, речников, каких-то хмельных, разговорчивых девок.

Иду с трудом, соображаю, но не хочу соображать.

Теряю упор, потом снова его обретаю... Даже интересно так скользить.

В гостиницу-дебаркадер не пускают. Я кричу, бью кулаком в дверь. Кто-то открывает, видно, вахтер, орет на меня, я несусь на него, получаю удар, падаю.

Потом какая-то возня. Кто-то быстро слетает с лестницы, наскакивает на вахтера, сквозь сумрак вижу, скорее догадываюсь: это Борька Никитин.

И действительно, надо мною, распростертым, Борька Никитин, и бормочет, успокаивает:

— Ну че ты, ну че ты? Так раздухарился... Вставай.

Откуда он взялся здесь, зачем?

— Пошел ты... Пошли вы все.

— Ну че ты... Ну че ты, Юрка, Юрк...

Почему-то меня возмущает, что он меня так зовет.

— Я тебе не Юрка. Я тебе...

И что-то я ору, злобное, бессмысленное, а он застегивает на мне рубашку, тащит меня.

Это он умеет. Когда кто-то из нас отключался (еще когда пили вместе), он первый трезвел и помогал другим.

Умело, как медсестра. Как медбрат при алкоголиках... Как брат твой, Авель.

После того инцидента наши дипломатические отношения восстановились, во всяком случае, мы стали кивать друг другу. С ней, к счастью, не приходилось встречаться. Она жила где-то в деревне и редко появлялась на глаза.

Связующим звеном был у нас Сашка. Он был и мой, и

Борькин, но больше он был **свой**. Он был нашим привычным спутником, он знал о нас все, мы же о нем — маловато.

Виной тому он, его скрытность, а, пожалуй, наша незаинтересованность.

Он был доброжелательный, спокойный, никогда не поднимал голоса, редко ругался, может быть, поэтому он и не считался в институте примечательной личностью, считалось, что он спутник начинающих гениев.

А между тем рисовал он крепко, в нем был как бы врожденный профессионализм, но у него не было чудинки, он не умел, а может, не хотел, себя подать, вокруг него не было никаких историй... А у нас хуже всего быть таким спокойным и хорошим. Из добротности, профессионализма, хорошести славу себе не сошьешь. К тому же он всех старался примирить. Вот и нас с Борькой. Помню, мне он говорил:

— Протяни ему руку, будь выше, вам же всю жизнь придется вместе.

И я отвечал решительно:

— Да пошел он...

Ох и злой я был на него. Думал, навсегда.

Так же, выясняется, он подходил к Борьке:

— Будь выше.

Работал крепко, серьезно, что называется, всегда был самим собой.

А может, и нельзя быть самим собой — с самого начала. Возможно, надо шарахаться и впадать в крайности, чтобы потом стать «самим собой»?

Впрочем, кто это знает.

В выходной мы сговорились с плотогонами. Они должны были нас взять. Так когда-то мы ходили в Воронежской области, втроем.

Но пришло вдруг в голову, что Борька может взять с собой Нору.

— Как ты думаешь,— спросил я Сашку,— она не поедет?

— Думаю, нет.

— Почему? Они же как нитка с иголкой. Куда иголка, туда и нитка, так и норовит в ушко,— сказал я звонко с каким-то странно веселящим меня бессмысленным нахальством.

— Она беременна,— тихо сказал Сашка. И добавил: — Уже ведь заметно...

Мастер на пару недель отпустил меня, дал даже задание посмотреть состояние районных и городских краеведческих музеев и написать отчет.

— Там ты такие портреты можешь найти, что все ахнут... По сути дела эти волжские хранилища еще не исследованы, да что волжские, ведь недаром в сарае нашли звенигородские иконы Андрея Рублева... Может, тебе повезет, ты увидишь забытых художников Коренева, Тараканова, Мыльникова... Ты узнаешь русский XVIII и XIX век, не тот, что в Третьяковке и Русском музее, а губернский, да и людей-энтузиастов встретишь, хранителей старины. А на ГЭС пусть поработают другие ребята.

То ли он что-то почувствовал в моем состоянии, то ли знал, но с его легкой руки я попутешествовал по Волге, побывал в музеях Новгорода, Саратова, потом вернулся в Ярославль.

Там познакомился я с Акундиновым, я даже не знал его должности, вообще-то он был реставратор, но служил в местном управлении культуры.

Человек, видимо, больной, мучительно подавляющий сухой кашель, как бы без возраста, с красным склеротическим румянцем, островками горевшим на желтом лице.

Сначала тихо, будто голос потерял, потом распаляясь и уже включив звук, больной, дребезжащий, рассказывает:

— В послевоенные, пятидесятые годы десятки полотен сгнили, погибли. Некоторые сохранились, но краска сошла, ткань обветшала, попробуй определи, кто. Много я ходил по селам, искал, кое-что удалось спасти, кое-что сырело в сараях, Вишняков, например. Год за годом собирали, приводили в порядок. Но сколько погибло, сколько недосмотрели. Да, видно, после войны люди другим были заняты, потом только спохватились.

Водил меня по тихому, чистому залу, где мы только вдвоем да сонная, одна на весь музей дежурная.

Тишина, ясный свет, скрипение половиц, покой и словно дух тепла из печки, и кажется, все это уже было со мной много-много лет назад, я ходил здесь и видел, встречал еще живых, а не на картинах, этих ясноглазых детей. Они с любопытством, но стеснительно поглядывали на меня, застенчиво улыбались, что-то хотели спросить; дом был просторный, вот так же пахнущий нагретым деревом, воском, вишневым вареньем. «Дети Темирниных».

Дети Темирниных голубоглазые, шустрые, любопытство к пришельцу, ко всему новому и одновременно скромность

и что-то болезненно скорбное, иноческое в глазах уже от будущих разочарований и потерь жизни.

Вот оно, такое обнаженное, открытое в своей простоте искусство, да и искусство ли, не знаю. Может, просто лицо выразило в сей миг главную свою радость, единственную свою печаль. Лицо светящееся и уплывающее в дальнюю даль; там гаснут, затихают шаги на скрипучих, чисто отмытых лестницах; кровные, не чужие: прадедов, прабабок наших.

Куда они спешат по узенькой крутой лестнице?.. Спустятся скоро, уже погорбившиеся, с отцветшими глазами, пройдут по ставшему малым пространству, по тихим комнатам с небольшими окнами, где пахнет шерстью, вишней, сыростью чистых полов. Пройдут насквозь и скроются, не услышу, не увижу, не узнаю, где был их последний шаг, какая болезнь уложила их, да и болезнь ли, а может, и пуля.

Голос то возвышается, то гаснет, то встает. О художниках этих я мало знаю, впервые услышал от Мастера: Тарханов, Коренев, Мыльников, Колендас.

Старый энтузиаст-реставратор, что с ним, туберкулез, может быть, откуда этот кашель, восковое, с густым, неестественным румянцем лицо?

Вечером я у него дома. Крохотная, почти нищенская квартирка, необставленная, сидим в трехметровой кухне, пьем вино; он рассказывает о себе. Учился искусствоведению в Ленинграде, студентом пошел на фронт, побывал в плену, много мыкался по чужой земле, а потом по родной; рассказывает спокойно, информативно, как бы без пауз, и видится жизнь, чрезвычайно горестная, горе — без пауз, без просветов.

Смотрю на него и думаю, почему эпоха выбрала именно его, чтобы всей своей тяжестью, всеми тяготами и несправедливостями чугунно облокотиться на эти слабые, покатые плечи.

Новое в искусстве он не любит, не приемлет. Живопись, скульптура кончаются для него XIX веком, ну а дальше все от лукавого...

Боюсь даже спросить о моих любимых Добужинском, Сомове, Бенуа, еще неизвестно, как и на них посмотрит, ну а уж когда речь о новейших, о западных, глаза наливаются, блестят негодованием, почти ненавистью.

Я не возражаю, слушаю. Я благодарен ему за день, который он мне посвятил, за то, что открыл по-настоящему

тех, о ком лишь слышал. Благодарен и за большее. Он сохранил, спас это. Уже этим он почти свят для меня, но зачем в нем такая нетерпимость?

Откуда мне это узнать, как я могу судить его и его нетерпимость? Мне бы оценить его добро... Да и как соотносится в одной человеческой судьбе удивительная тяга к прекрасному и категоричность, отрицание прекрасного в другом, ему неблизком, непонятном? Как соотносятся добро и боль, человеку нанесенная, каким она его делает, эта боль... Только ли подымает и выпрямляет, как писано и сказано в книгах, очевидно и подавляет, и ожесточает.

А сейчас я только слушаю. Горячее питье входит в меня, голос как в киноленте то рвется, то шелестит, то прорывается громко и ясно.

Он громит бытовиков, «фотографов» и парадных портретистов. Согласен, согласен... А потом принимается и за импрессионистов, ну а уж дальше такие имена, как Кокошка, Гросс, Кандинский, он произносит с уничтожающей ненавистью.

Чаще всего в его лексиконе выплывает слово «муть». Это как бы самое любимое его определение: «муть, муть».

Не знаю. Я то согласен с ним, то решительно не согласен. И чем яростнее он в своих оценках, тем я спокойнее; чистый запах бедной, опрятной квартирки, чистый свет, тепло, вино согревает, никуда не хочется уходить.

И спорить я не могу, многого я не знаю, только догадываюсь, а он многое видел, много маялся, болен человек, ему надо выговориться, а не прерывать. А я, мол, молод, еще успею выговориться... Как много же он терпел.

Но чувствую сейчас: не мудр, не прав, страсть правит им.

— Вы рисовали? — спрашиваю.

— Да нет, немного... Так, начинал. Однажды Кончаловскому понравилось.

— А Кончаловский вам?

— Так, неплохо, добротно, приятно для глаза, но свет хоть и радостный, да поддельный, а вот у Ивана Тарханова, которого ты сего дня видел — не поддельный.

Я неожиданно говорю ему:

— Знаете, я написал портрет. Хотите, покажу?

Он смотрит с недобрым отчуждением:

— Небось тоже с фокусами, с квадратами вместо глаз?

— Нет.
— Чей портрет?
— Норы.
— Кто это?
— Да так, одна девушка. Она грузинка, а отец у нее немец.
— Грузинка?
— Да.
— А зачем тебе грузинка?
— А я ее люблю, кажется. Точнее, любил.
— Как это «кажется»? В чувствах должна быть ясность, иначе ее не будет и на полотне. Вот этой ясности и недостает современным художникам, а посмотри на лицо «Неизвестной» Рокотова, на ее глаза: ясность и высота.
— Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп,— бормочу я.

Он наливает мне чай. Из кружки я пью обжигающий, очень густой, почти черный чай.

— Тебе что, плохо, что ли? — говорит он.— Вот и пей чаек.
— Нет, хорошо,— тихо говорю я и не могу шевельнуться.
— Это настоящий чифирь. От всех болезней, он меня не раз спасал. Пей, полегчает, а то что-то ты бледный... Да не бойся, полегчает, браток.

И так хорошо, успокаивающе он сказал «браток», и вся его непримиримость и ярость куда-то делись, и он пристально так смотрел на меня, с тревогой, будто был мне родственник, может, даже отец.

Потом он провожал меня до гостиницы, уговаривал остаться у себя, да мне не хотелось стеснять его.

Мы шли по тенистым улицам со старыми булыжными мостовыми. Нечетко ставились отяжелевшие ноги, глухой звук отрывался от мостовой. Такая теплая и свежая ночь случается только в молодом лете. И все она, казалось, приняла и утешила, и споры, и крики, и ярость, и непонимание, и самое главное — одиночество.

Потому что молча шли, вдвоем со старым незнакомым человеком.

«Портрет незнакомого художника». А художники бывают ведь не только неизвестные, но и незнакомые... Вот этих, сегодняшних, я ведь почти не знал.

— Что ты там бормочешь? Слабаки вы все.
— Да с чего вы взяли, я еще столько могу.

— Экий могучий... Сейчас все слабые. И художники, и люди. Скоро уже твоя гостиница.

А вот и действительно неопределенный, смягченный какой-то блеск воды, и неподалеку двухэтажный Дом колхозника, где я квартирую.

Подходим к дверям, он заботливо держит меня под локоток, будто я и на самом деле набрался... Чудные эти старики, не поймешь, где они готовы нас бить мордой об стол, где поддерживать за ручку.

— Тебя проводить до комнаты? А то ведь не пустят в таком виде.

— Да нет... кто меня не пустит. Пусть только посмеют. Я-то в полном порядке.

И все-таки по длинному коридору, мимо бдительной администраторши он провожает меня в мой утлый холодный номер, зажигает свет и почти сажает на кровать.

Сквозь туман я чувствую, что ему не очень хочется уходить, не очень хочется в свою пустую чистенькую квартиру, а хочется, возможно, еще поговорить со мной... Да что со мной говорить, если меня прямо так и валит на кровать.

Я еще помню, что он жал мне руку, и у него была легкая, будто гипсовая, рука. Гипсовое пожатие.

— Утром приходи... У меня есть прекрасный рассол. Сразу всю муть снимет. А днем пойдем в музей. Я тебе еще кое-что покажу.

— Ладно... Я приползу с утра.

Мне почему-то представилось, как я, пьяный и слепой, ползу к нему, ползу на карачках, ползу по лестницам музея, по его чистым полам, и засыпаю под светлыми взглядами мальчиков Темирниных.

И на самом деле я заснул одетый, и мне что-то снилось все время, какой-то стог сена, то высвечивающий, то исчезающий во тьме. Зачем мне этот стог? Но надо почему-то, а ноги исколоты, их будто нет, и опять я ползу.

Постепенно все растворяется, исчезает, и стог, и небо, и ступени, и движение, и тайна; и явь сна как бы переливается в ничто, в пустоту.

Резкий стук в дверь.

Я слышу, но не могу встать.

И голос, такой же настойчивый, даже грубый.

— К телефону, срочно! Вниз, к администратору.

Поднимаюсь, в комнате темно, иду на ощупь... Тепло сна выходит из меня, и я чувствую режущий в грудь ост-

рый холодок. Зачем этот звонок? Кто мне может сюда звонить? Почему к администратору?

Внизу горит свет. Женщина-администратор с какой-то настойчивой услужливостью протягивает мне трубку.

И еще о трубке. Первое, что я увидел, это в полукруге света от настольной лампы неестественно распластанную, лежащую спиной трубку, она словно бы вскинула свою голову, зачем-то терпеливо и долго поджидая меня.

— Это я, ты слышишь?!

— Кто я? — это я спрашиваю замедленно, как бы инстинктивно стараясь все перевести в другую скорость. Но я узнаю Сашкин голос.

— Это Сашка.

Он не отвечает. Он только говорит каким-то слишком высоким голосом.

— Несчастье. Нора умерла.

— Кто?.. Как?..

— Нора. Несчастный случай.

— Что такое? Что такое?

Я уже не слушаю его, но слышу все, что он говорит, даже чувствую разбивку фраз и его дыхание между ними.

— Преждевременные роды. Тяжелое подняла, понимаешь? И от потери крови... Никого не было...

Я молчу, я не знаю, не понимаю, но уже верю.

— Приезжай в Москву. Ты приедешь? Мы отправим ее на родину.

— Да.

Услужливая администраторша, чьи-то лица.

— Что-то случилось?

— Да. Смерть.

— Кто-то из близких?

— Из близких.

— Может, вам как-то...

— Нет, я поеду сейчас же, сегодня же. Есть ведь поезд?

— Нет, только рано утром.

Комната, «Охотники на привале», все уже видно — светает, и петухи кричат, зовут.

И стога нет... Не доползти, не добраться. И мысль такая ясная, прозрачная, будто залетевшая издали, и вдруг отяжелевшая, сгустившаяся в железо, в чугун.

«Что же это?» ... Никогда. Это впервые так ясно: никогда. А как же ребенок?.. Борькин ребенок. Тоже с ней? И как же все: моя любовь, и ревность, и молодость моя — тоже с ней... И портрет. И тайный, странный смысл всей

моей нынешней жизни: доказать ей. А что доказывать?.. И кому — теперь?

Не нужно. Бессмысленно... Отпадает.

Какое-то железное, канцелярское слово, выражение чужой, недоступной, ненавистной боли. Отпадает!

Через несколько лет мы сидели с Борисом на веранде второго этажа в кафе на Чистых прудах.

Пыльное московское лето замусорило прудик, в котором плавали лебеди, не с гордыми, а с напряженно-вспугнутыми шеями, будто ждали камня от бездельных московских мальчишек.

Раскинулся вокруг район, или, точнее, местность, каждый метр которой исхожен вдоль и поперек, обточены нашими ногами все эти улочки и переулки — Жуковского, Фурманный, Чаплыгина, Харитоньевский, Лабковский, Покровка.

Желтел массивный купол церкви в Телеграфном; блестел новенький отреставрированный крест, и иногда слышался мне оттуда тихий покойный благовест.

Странное чувство — покоя, остановившегося времени, спокойного примирения со всем.

Борьку я уже давно не видел, почти полгода он сидел в своей «вотчине», а сейчас вот приехал по каким-то делам. Но о делах он говорить не любит, все делает втихомолку, сам, да и что делает — я толком не знаю. В последние годы он стал особенно кустарем-одиночкой и то ли из суеверия мало говорит о своей работе, то ли потому, что считает, что о работе нечего вообще говорить, надо ее делать, а если уж считаешь сделанной и не стыдишься ее, то тогда только можно показывать.

Московское лето было в разгаре, и город потому казался опустевшим: все на дачах, или на курортах, или еще где.

Когда-то вот это обезлюдевшее московское лето имело надо мной особую власть; все стремились за город, на воздух, а мой воздух был здесь — так нравились пустынные, вечерние улочки, бульвары, особое обаяние летней Москвы.

Теперь эта власть московского лета поубавилась, и я тоже стремился нырнуть куда-нибудь в пятницу или в субботу, чтобы вновь возвратиться в бензиновое пекло разрастающегося города.

Что-то происходит с нами, и ведь не только оттого, что разрастается город, становится похожим, одинаковым с гигантскими пространствами, плотно уложенными кубами, квадратами разнотипных и однотипных домов.

Нет, осталась ведь сердцевина Москвы, эти же Чистые пруды, цепи переулочков и тупики, прелесть зеленых дворов, неожиданных двухэтажных домиков, все переживших и все, возможно, забывших.

Все это есть, не исчезла для нас их тайна, но прикосновение больнее — слишком много нашего тут было, навсегда осталось, но другие лица, другие мужчины и женщины ходят здесь, лица незнакомы, многие молоды, рослы, непохожи на нас и чем-то похожи, хотя бы тем, что их тоже манит сюда, в коловращенье этих узких переулков.

«Переулочек, переул, горло петелькой затянул...»

Нет, уже не затянул, прошло, освободило...

Так и сидим, ни о чем существенном не говоря... Что-то он мне рассказывает о своих учениках, как он организовал художественный класс в интернате и что мне неплохо бы там побывать, но я не очень-то слушаю.

Мы с ним видимся не очень часто, но все же достаточно регулярно, и разные у нас бывают встречи и разговоры, почти никогда мы не говорим о ней, но вот сегодня мы встретились именно в том районе, в той местности, которая во всем моем городе, во всем мире с наибольшей полнотой и силой связывала меня с т е м, относила меня к т о м у.

Да и почему мы с ним никогда не говорили о ней, ведь столько уже прошло и столько нового было? Что это, мужская гордость, нежелание переступить через какую-то черту, страх перед прошлым?

Но уж какие там черты... Все черты при жизни были перейдены.

А сейчас они истончились, высохли как волокна, обесцветились в этом жарком городе с зеленой и пыльной листвой.

Я поднял грязноватый граненый стакан и, посмотрев на него, хрипловато сказал:

— Давай помянем.

Не чокаясь, молча выпили до дна. Он посмотрел мимо меня и вверх, словно там что-то хотел разглядеть, и странно так, удивительно соединился и перешел несколько размытый бело-голубой свет неба в чуть потускневший, но еще очень голубой цвет его глаз.

— Удивительно,— сказал он.— Я не могу ее забыть, а вспомнить тоже не всегда могу. Иногда совершенно отчетливо вижу лицо, иногда силюсь, а не вспоминается. А ты помнишь?

Он не стал дожидаться моего ответа, ему, возможно, и не нужен был ответ, ему необходимо было продолжить эту давно и мучительно сидящую в нем, очевидно не выговоренную до конца, очень простую мысль.

— Будто и не было никогда. Столик, пруд, стаканы, люди, мы, как ни в чем не бывало. А она где? Что это такое? Ты это понимаешь? Я вижу, ты понимаешь. Как там, с точки зрения материализма... У тебя ведь на все есть ответ.

Он увидел какой-то мой жест, словно бы протестующий, и продолжал, отмахнувшись:

— Жизнь продолжается... Замечательные какие слова. Мне их все время твердили. Конечно, продолжается. Какие могут быть вопросы? Ты женился, сына родил. Я во вдовцах, в бобылях хожу. Но тоже, верно, устроюсь. Так ведь? Устроюсь и я. Хорошее какое словечко «устроиться». Но почему я без нее живу, как это я сумел? Ведь, казалось, ни дня не выдержу: каждое окно звало, тянуло, а ну, давай, не робей. Так и уговаривало шмякнуться мешком с разбитыми костями. Ничего, устоял; жизнь продолжается... Ну и ты, наверное, погоревал месяц-другой и занялся иллюстрациями к Гончарову. Так, что ли?

— Хватит, Борька. Не смей.

— Да не обижайся ты. Не о нас речь. Я знаю, ты меня долго ненавидел — по-твоему, я увел ее у тебя. А я презирал тебя за то, что ты пытался подправить, переломить судьбу. Она мне была предназначена богом, а ты замахнулся на нее.

— Не надо, то ли ты пьян, но не те слова говоришь. Еще кое-что вспомни. Вспомни в метро после моего дня рождения... Как ты обрадовался, что меня не будет...

Я говорил и чувствовал, что сейчас потеряю самообладание, что перейду на что-то другое, бессмысленное, тяжкое, на выяснение давно несуществующего, того, что и выяснить невозможно, и что наши с ним отношения (единственных двух людей, с нею связанных) опять поломаются, теперь уже навсегда.

И он почувствовал это. И сказал, морщась, глядя на меня потемневшими неподвижными глазами:

— Да, ты прав, нечего нам счеты сводить... Все счеты судьбой сведены. Знаю, и ты страдал... Я все это так говорю. Я понимаю тебя даже больше, чем ты думаешь... Это я не тебе, а себе говорю. А знаешь почему? А потому что все время кажется мне, будто я что-то недоглядел, недосмотрел, потому и случилось с нею... А с тобой, ну что ж нам теперь? Один раз мы уже с тобой крепко разломились. А сейчас, верно, не стоит. Теперь мы одни и остались.

— Еще мать, Беата.

— Умерла Беата. Несколько месяцев назад. Я получил письмо с опозданием, только недавно узнал. Хочу туда съездить.

Он пристально посмотрел на меня:

— Ты что, тоже хочешь? — И тут же сам себе ответил: — А может, тебе и не надо. У тебя другая жизнь, а у меня другой нет, поэтому я все в прошлом и копаюсь, за прошлое держусь... А она ведь не существующая, эта прежняя. Помнишь наш первый вечер? Я уже тогда был уверен, что она мне судьбой предопределена... И я прямо так и бухнул ей. Я и слов-то таких не знал, но как-то почувствовал, и сами сказались. А она сначала захохотала, а потом посмотрела, перестала смеяться, замолчала, поняла, что говорю правду. И поверила. Клянусь тебе, поверила... Ну, а уж потом... Только можешь мне объяснить, за что ей так? Может, мы в чем-то виноваты?

— Да и мы не виноваты.

— Не оправдывайся. Ты сам не знаешь. И я не знаю... Чувствую, что надо жить иначе, а не умею, что вся работа, работенка наша недостойна...

— Чего недостойна?

— Того, что мы ей обещали.

— А что мы ей обещали?

— А то... Многое обещали, да не смогли. Сам все понимаешь, не притворяйся. Давай-ка еще закажем.

— Хватит тебе.

— Нет, нет, хочу. Сейчас так хорошо, уже легче... А где портрет её?

— Какой?

— Сам знаешь, тот, что ты рисовал у себя в комнате — с натуры. Да ты ведь и показывал его мне, забыл? Так ты его закончил?

— Нет.

— И я не закончил... А точнее даже, и не начинал. Вот рисунок при ее жизни сделал.

Он долго рылся в папке, уже нетвердыми, неточными руками достал лист картона.

Черным по белому фону, незавершенно и одновременно законченно, летящей, захлебывающейся линией было означено, намечено, схвачено в какой-то неясный для меня миг ее лицо... Миг чего? Какого-то домашнего занятия, рукоделия, а может, и нет. Глаза были чуть-чуть склонены вниз, но вместе с тем смотрели на тебя. И несмотря на едва заметную определенность взгляда лицо было радостное, солнечное, почти летящее, и все прописано одной линией, не дробя, не мельча, не прерывая.

Я давно уже не смотрел свой старый портрет и не знаю, что было сильнее: он или этот набросок. Впрочем, что значит «сильнее»? Просто на его рисунке она была стремительней, яснее, счастливее... Такой ясной я ее никогда не видел.

И — как давно, в первый наш день, в институте, когда он вошел в буфет со своими портретами,— я восхитился Борькой. И снова ничего не сказал. Нет, не ревновал я теперь. Верно, этот набросок был сильнее моего тяжеловесного портрета. Но какая разница? Не было теперь соревнования, счетов, все они давно закрыты раз и навсегда. Все можно разделить. Только память не делится. Я молчал, говорить не хотелось. Этот рисунок не для оценок, не для признаний писался. Я это хорошо понимал.

— Ты только не потеряй... Ты ведь по пьянке можешь потерять. Лучше мне дай. Я сохраню.

— Ошибаешься. Потерять это я не могу. Не должен. Это мое... И я повешу дома, у себя дома, понимаешь? Ведь будет же у меня когда-нибудь дом.

— Да, понимаю.

И он действительно повесил. Теперь этот рисунок висел на стене, в тонкой деревянной рамочке.

Новая жена снимала с нее пыль. Что делать, так уж жизнь устроена: пылится все, и вещи, и предметы, и портреты, и кожа, и волосы. Не пылятся лишь те, кого нет с нами, кого защищает земля, кто сам стал землею.

А все остальное пылится. Поэтому жене приходится осторожно касаться и стирать пыль и смотреть каждодневно в эти очерченные легким, летящим штрихом счастливые глаза.

Институт остался позади, давней начальной станцией, дороги шли вперед, поезда то набирали скорость, то снижали ее, некоторые так и стояли на путях, а институт высвечивал из тьмы далекими огоньками, которые со временем казались все теплей и ярче...

И это не была обычная ностальгия, нет, в нашем деле действительно бескомпромиссность и робость первого интереса, вхождение, наивная и суеверная мечта о признании — это не просто обычные черты роста, но и черты счастья.

Ведь сколько ругали эти тесные, неудобные коммунальные мастерские, вечную нехватку того-то и того-то, вплоть до краски, а сейчас, при наличии более или менее сносных мастерских (правда, далеко не у всех) те видятся средоточием уюта, вместилищем неистребимых надежд, очагом дружества.

А ведь как ругались и тогда друг с другом, как боролись за лидерство, втайне никого не признавая, да и какое интересное времечко выпало нам. Какие только деканы не вершили над нами свой суд.

Но может быть, потому, что до некоторых истин нам приходилось докапываться самим, до тех, что ныне общеизвестны и расписаны в учебниках, оттого ли, что некоторые явления для себя открывали мы сами, роясь в старых пожелтевших книгах, иногда уже за ненадобностью списанных — может, может, от этого доморощенные наши открытия потрясали, а иногда и озаряли нас неожиданностью и новизной.

Те самые молодые художники, что пугали и удивляли публику невиданными сочетаниями цветов, странными фигурами, кого никто не принимал всерьез, вдруг пошли, да так, как никто и не ожидал.

А дело было простое. Никакой, конечно, ценности их работы не представляли, но они вдруг нашли себе применение в сугубо прикладных целях, и некоторые наши новаторы теперь готовили эскизы для обоев, декоративных тканей и проч. Это приносило хороший доход.

Да и вообще все прикладное шло в ход, ремесло, то самое, о котором в первый наш институтский день говорил Мастер, поднималось в цене, требовалось. А то, чем занимался я, чем занимался Борька, не то что не требовалось, но требовалось не всегда, в отдельных случаях.

По-разному шли наши ребята, одни окапывались в каких-то далеких городах, рисовали и лепили тех, кто жил

рядом, ездили в Среднюю Азию, жгучими красками создавали панно для колхозных клубов... Были и хорошие панно, и неплохие портреты.

Другие писали что-то свое, годами, иногда о них забывали все, но они повторяли все какую-то свою тему, точно она одна и была им ведома в жизни, так и глохли с ней или неожиданно прорывались. И тогда все говорили: вот видите, он был верен себе.

Некоторые как бы обходили официальный рынок и свои странные сочинения продавали исключительно частным покупателям, те брали их вначале по ценам утиля, а потом, глядишь, и подымали цену не только работы, но и автора.

Так же, как когда-то был поток унылых бытописателей, вялых копиистов, так теперь хлынул поток модернистов; и тем из них везло, кто, выставившись, попадался под удар. У нас всегда любили руганых, причем иногда и справедливо, но все равно. Это им только помогало.

И если до ругани у их полотен никто не останавливался, так как казались они ничем не выделяющимися из общего ряда, то после они собирали толпу. Часто это были безвкусные и провинциальные подражания изобретательным и смелым мастерам 20-х годов.

Бывшая в долгом загоне, такая художественная культура потерялась, полузабылась, не имела настоящих подражателей и воспроизводилась теперь в форме безвкусных крайностей и одновременно ученического педантизма.

Я же ничего не мог сделать со своей природой. Я рисовал то, что видел, так или иначе понятая реальность диктовала мне образ, а не образ рождал неведомую никому реальность.

«Ты слишком лиричен,— говорили мне некоторые друзья,— сегодня надо работать жестче и отстраненней».

Борька же вообще не показывал в то время своих работ.

Первый, самый зрелый из нас в пору ученичества, он приобрел вдруг репутацию чуть ли не консерватора. И резче всех обвинял его в этом один наш бывший студент, ранее активный участник институтских выставок, писавший юных фигуристок, ныне мрачно модный художник распада, дальний отпрыск Босха, ругавший устаревшую символику и боровшийся за утверждение реализма, но безумного, гипертрофированно-преувеличенного, отчего реальный предмет виделся пугающим сновидением.

Так и соседствовали невзаправдашние сталевары, веселые, в нарядных ковбойках целинники с мертвыми морями, берущими начало из ничего, с роялями, по белым клавишам которых стекала кровь, со странными гибридами животного и человека, названными просто и скромно «Весна» или «Зима».

Все это напоминало конкурс нашей юности, только участники конкурса заметно повзрослели.

Наш постаревший Мастер покачивал головой: «Какие начитанные, какие наглядевшиеся, всюду были, на все глянули... И есть все — только нет своего взгляда. Но, к счастью, не у всех...»

Однажды, когда Борька исчез надолго, Мастер поехал к нему...

Вернувшись, он сказал, что Борькино настроение и состояние ему не понравились, а работа, которую он делает,— понравилась.

— Очень живая работка.

Это было его любимое и, пожалуй, наивысшее определение. Но что это за «работка», он нам не сказал.

— Увидите,— говорит,— никуда она от вас не уйдет.

Только Борька не показывал. То ли не считал законченной, то ли просто не хотел. Кто его поймет?

Приезд Мастера неожиданно поднял Борькины акции. Мастер побывал у городского начальства, объяснял, какой талантливый и перспективный художник находится здесь, у них, под боком и не используется в полной мере — отчего была бы взаимная польза и городу, и художнику.

К словам этим, видно, прислушались. Предложили Борьке показать свои работы, выставиться, но он отказался. Объяснял, что все у него еще не закончено, что у него действительно есть работы, но он не может спешить и к выставке внутренне не готов.

Ему предложили тогда работу — как бы не совсем по прямой профессии — но это как раз не смутило его, и он согласился оформить интерьеры перестроенного заново рабочего Дома культуры.

Это был большой, старый, 20-х годов Дом культуры конструктивистского типа, острыми и голыми своими линиями выделявшийся среди небольших домов горбатой городской окраины. Заказ был серьезный, крупный, солидный договор... Некоторые удивлялись, что Борька за это взялся. Одни говорили: «жить-то надо, понятное дело», но

я был убежден: Борька видел в этой работе другой интерес.

Я же ходил по журналам, по издательствам, получал заказы на иллюстрирование каких-то быстро и незаметно мелькавших в так называемом потоке периодики рассказов, повестей.

К тем же книгам, которые мне хотелось бы оформить, не подпускали. Там был свой порядок и свой круг.

Я стал делать иллюстрации просто так, для себя. Я брал те вещи из классики, которые любил всегда и перечитывал всякий раз с ощущением новизны и откровения, будто мне пересказали мою собственную жизнь, только проходящую в другой эпохе. Даже и не жизнь во внешнем ее движении, а лишь рассказанную другим историю моих чувств.

Я показал этот цикл Мастеру. Он смотрел внимательно, долго, сделал два-три точных замечания по композиции, по второму плану.

Возвращая мне работу, он сказал:

— Неплохо... Может быть, даже хорошо. Но ты делаешь одну ошибку. У тебя что-то смещается во временах, какая-то незаметная подмена, я даже не могу ее объяснить. Ты создаешь тот антураж, а пишешь сегодняшних людей. Я бы посоветовал тебе отойти от этого, отойти сейчас от иллюстраций вообще и написать свое.

— А что свое?

— Ну что-то пережитое именно тобой, скажем, у тебя ведь была любовь, вот ее и пиши.

Я замолчал, не зная, что ему ответить.

— Это очень трудно, наверное, невозможно... Она была... ну, не такая, как у других.

— Что это значит?

Он увидел и понял, что говорить об этом я не хочу.

— Я и не прошу тебя объяснять на словах... Слава богу, что не такая. Вот и напиши ее. А может, и не ее вовсе. Но что-то самое главное, что ты пережил... Ведь что-то же ты пережил.

Я посмотрел на него. Мне казалось, он чуть-чуть дразнит меня, как бы ненароком, случайно, задевает болевые места... Впрочем, он всегда был таким: дружелюбно-свысока, немного свысока смотрел на нас.

— Что ты усмехаешься так сардонически? Тебе повезло. Ты еще сравнительно молод. У тебя осталось еще две попытки из трех возможных... Готовься ко второй.

Вторая попытка... Мне казалось, что жизнь даст мне еще десяток возможностей, но Мастер вычислил, что их всего три. Может быть, ему виднее. Может, он прострелял все три свои, не осталось ни одной, но теперь он уже обрел другой дар понимания чужих судеб.

Я входил, как бы втрамбовывался в ритм городской суеты, в поиск задания, заработка. Поняв закономерность этого ритма, я стал частью его.

Теперь я стал работать быстрее, не мучаясь так, как прежде, я уже накопил навык, технику, меня стали принимать как профессионала, а я все чувствовал себя учеником.

Был период внешних удач, оформленная мною книга получила приз, предложений стало побольше, и ощущение неприкаянности, незащищенности профессиональной и материальной стало исчезать. Я писал, рисовал, пробовал себя по-разному: акварели, пейзажи... Много ездил, с каким-то новым интересом к людям, к земле. Я не ловил конъюнктуру журнальных заданий, не спешил предлагать свои работы выставкам.

Больше всего по-прежнему тянуло к портрету.

Хотелось найти непритязательную простую форму, в которой обнажилось бы нутро; а на первый взгляд чужое и отдаленное виделось бы как свое.

Но дух человеческий не открывается на ходу. Да и в самой методологии общения была какая-то фальшь: сначала разговор с начальством, листочек со списком тех, кого нужно, желательно, потом отбор из них, причем чисто внешний, отбор по списку.

Нет, так не пойдет. Однажды я попал на похороны тракториста. Потом я нарисовал черно-белую толпу, первое кладбище в поселке, там все было первое, первое общежитие, первый отряд, первая столовая, первый тоннель, сквозь который шла дальше на восток железная дорога.

И вот первое кладбище со звездочкой, тайга, люди, первая потеря.

Утлый квадратик земли, предназначенный мертвым, такой маленький, отгороженный новенькой латунной блестящей изгородью. А вдали высятся краны, морозные дымы, вездеходы, вагонетки... Начало поселка, начало жизни.

Вроде бы предполагалось, что здесь народ молодой и умирать не будут, не должны, и место нужно живым, так как все здесь, кажется, растет, живет, а тем, немногим,

ушедшим, хватит места в этом четко отгороженном квадратике, действительно совершенно пустом, незаселенном.

Был похож он на деревенский погост — только без крестов, да и без могил; кладбищенская ограда, взгорок, красный кумач на фоне редколесья тундрового белесого кустарника.

Что я увидел в этой смерти?.. Катастрофу? Случайность? Подвиг освоения?.. Конечно, и подвиг.

И то, и другое, и третье... И еще что-то не подвластное ни анализу, ни пониманию. Хрупкая связь между бытием и небытием, тайну чужой жизни и смерти.

Вот это и хотелось мне выразить черным цветом на белом листе, цветом вороны, летящей над белым снегом.

Я писал быстро, одновременно мучительно и вместе с тем радостно, писалось как бы само.

Среди всего, что я привез из этой поездки, из всего вороха набросков, зарисовок, графических листов, этюдов, акварелей — эта работа одна казалась мне стоящей.

Я отобрал кое-что, разложил перед Мастером веером. Он цепко скользнул взглядом, отложил одну работу, потом другую, прищурившись (всегда мне казалось, что он смотрит чуть-чуть брезгливо), смотрел на третью.

Наконец он увидел. И, даже чуть разрумянившись, сказал, вернее не сказал, а ткнул пальцем; жест слился с голосом:

— Вот эта.

Я стал убирать все остальное. Теперь эта одна лежала перед ним. Он сказал, сдерживая удивление:

— Не ожидал... Довольно сильно.

Впервые я услышал от него слово «сильно». У него была своя система определений. Классики, мастера как высшее получали: «классно» или «экстраклассно» (он избегал таких слов, как «гениально» и прочее); у нас же, учеников, были три положительные категории: «пристойно», «неплохо» (это означало как раз не средне, а хорошо) и наконец «сильно». Для ученика это было высшее определение, я не удосужился его за все эти годы ни разу. Борька был дважды одарен этим определением.

Но дело не в определениях. Готовилась выставка, и я выбрал ряд работ, в том числе и эту. Причем, она у меня шла как главная, основная, и называлась она «Красная звездочка» с подзаголовком в скобках: «Ангарск. Похороны тракториста».

Я объяснял устроителям, что если это и трагедия, то оптимистическая, что смерть — частица этой новой жизни и проч. и проч.

Да и фон, казалось мне, был написан мужественно, лица людей, небо, вдали первые дома.

Взяли все работы. Кроме этой.

Как быть? Выставляться вообще или нет?

Сашка сказал:

— Выставись, в конце концов... Сначала надо проложить дорогу, наработать имя, потом уж диктовать свои условия.

И это было разумно. Но...

Я пошел на междугороднюю, заказал Борькин номер, кое-как через несколько часов дозвонился ему. Он сказал: «Приезжай».

С ним одним мне и хотелось говорить и советоваться.

Поезд отстукивал жестко, вагон потрескивал, звенел, казалось, не было у него рессор и он идет, ничем не смягчая своего бега, не по рельсам, а по голой каменной земле.

Осенний, словно ветром обдающий душу пейзаж Подмосковья свободно открывался — обдутые ветром, обнаженно распахнутые поля, красные — я почему-то мысленно слушал их кладбищенское, жестяное шуршанье — листья на оголившихся деревьях...

Вы скажете — мрачно... Пожалуй, нет. Пожалуй, что-то другое, но только не мрак. Печаль отшумевшей летней жизни, память о ней, ее ощутимый след в забитых фанерных ларьках, заколоченных домиках, опустевших дачных участках. И не было ощущения конца, наоборот, перемены, обещание зимы с ее светом, с белым мехом снегов, с радостью спокойного зимнего солнца.

Я чувствовал этот переход, незаметное впадение осени в зиму, и было тревожно от собственных молчаливых дум о будущем, о работе, о жизни, от лежащих в узкой картонной папке рисунков, хороших или плохих — самому неясно, от предстоящей встречи с другом, с которым накрепко, быть может, навсегда, объединяет не только настоящее или будущее, но и прошлое...

Странное дело. Еще в самые молодые свои времена я физически ощущал время, эту непонятную горечь, ясное чувство будущего, которого ждешь, а оно незаметно для самого тебя становится прошлым; физическое ощущение

времени, его движение через всю твою жизнь, только в самом детстве я видел время как бесконечность, навсегда принадлежавшую мне.

Хотелось что-то главное запомнить в его лёте, движении, но главное претворялось в повседневность, обманывало, ускользало, виделось промежутком между тем, что ушло, и тем, что еще будет.

Дорога с редкими остановками, этот поезд напоминал экспресс, мягкие сиденья, чистота, тишина, ничего от прежних долгих поездов, от электричек послевоенной поры с резкими всплесками гармошек, с безногими, обрубленными фигурами нищих, инвалидов, быстро катящимися по проходу.

А память все держала то, все относила — туда, к тем послевоенным дорогам, к дребезжащим шумным электричкам.

Помню, как не хотелось ездить в пионерлагеря. Нас возили далеко (это тогда казалось далеко), сейчас — это близко, и возвращение в Москву необыкновенно радовало... Какие там две смены, годы, годы. В детстве другие расстояния, другая протяженность времени. Возвращаясь, я готов был целовать московский асфальт.

А сейчас тихо, чинно еду, но вот на каком-то полустанке ввалилась компания с гармоникой, рыдающие, но одновременно счастливые голоса громко, нестройно пропели, мелькнула стриженая голова мальчика, которого провожали в армию.

Все это привычное и будоражило, и успокаивало, в дороге мне никогда не хотелось спать, она не укачивала, не затормаживала меня, а наоборот, обостряла зрение и слух.

Впрочем, я знал ее недолгость, это, когда вы выезжаете, кажется, что дорога будет бесконечно длинной, и потому обдумываете, какое чтиво взять, чтобы она незаметней пролетела. Но вот что самое удивительное: она и без этого пролетает незаметно.

На самом деле — конечный пункт всегда ближе, чем нам казалось.

За вокзальной площадью, за двух-трехэтажными домами, на петляющей вверх булыжной мостовой я встретил Борьку.

Почему-то так всегда бывало, когда я приезжал, почти никогда я не заставал его дома. И даже нельзя сказать, что

он встречал меня, так как он не торчал на станции, но мы всегда встречались.

Заветренное красное лицо его просияло голубыми глазами, встретились мы сейчас радостно, даже обнялись.

Мы молча шли, ветер нес запах гари, Борька ни о чем меня не спрашивал, я его тоже.

Какие-то люди здоровались с ним, он приветливо и, даже мне почудилось, не без важности им отвечал — это было что-то новое; раньше он то ли чурался людей, то ли мало кого знал, а может, и не хотел знать, а теперь он вроде бы был своим человеком в этом городе.

Вел он меня новым маршрутом, мы прошли мимо деревянного двухэтажного домика, где он жил до сих пор, я хотел было спросить, куда он меня ведет, но вовремя сообразил, промолчал и оставил ему напоследок возможность преподнести мне сюрприз.

По дороге зашли в низенький старый магазинчик, напоминавший сельпо подбором товаров и запахом (в одном углу стояли бутылки с вином, в другом — насосы для велосипедов, а запах был какой-то странный, колбасно-гуталиновый).

В Борькином портфеле было теперь все необходимое для теплой и дружественной встречи.

А встречи наши, как своего рода шахматная партия, состояли из трех стадий. Вначале некоторое торможение, как бы раскачка; мы долго не могли разговориться, топтались на месте, затрагивали что-то незначащее... Спорить мы начинали позднее, чаще всего на художественно-эстетической почве, спор наш доходил до какой-то опасной грани, разрыва, полного неприятия позиций и взглядов другого... Это было тем более странно, что при многих различиях вкусы наши часто совпадали. Нам по-разному могли нравиться те или иные вещи, но не нравилось нам с полной очевидностью одно и то же...

Итак, обычно миновав опасный миттельшпиль, мы приходили к благополучной концовке, расставались друзьями, он провожал меня на ночной поезд или оставлял у себя...

А сейчас мы уже миновали центр города, на пустырях белели, светились в зелени поредевшего, подавленного бульдозерами леса новые дома, валялись куски цемента, плиты. Наконец, мы уткнулись в аккуратный, словно еще влажный, сыроватый от новизны, от склейки, дом-башню.

— Мой,— небрежно сказал Борька.— Первая моя квартира.

Да, действительно, это была первая в его жизни собственная квартира, если не считать дома, где он родился. Интернат, студенческое общежитие, «общага», с двумя еще гавриками в комнате, потом «жилплощадь» в этом городе,— временное, арендованное жилье, а теперь уж настоящая, своя квартира. Далеко не каждый из нас был тогда обладателем квартиры.

В ее белизне, пустоте как бы прорезались черты жилья, зачаток уюта; Борька умел обживать новое место, он был даже домовит по-своему — домовит без дома.

На розовой, светящейся кухне сверкали две новенькие табуретки, такой же стол, в комнате стояла раскладушка, придавая ей вид студенческий, временный, но уже прибиты были полки для книг, в углу стояли подрамники, а на балконе пылился строй бутылок, свидетельствующий о множестве малых предварительных новоселий.

Борька, всегда о своих делах темнивший, на этот раз был открыт и сразу, как пришли, решил огорошить меня.

— Представляешь, городской клуб купил у меня несколько работ и предложил сделать панно, витражи. Вот и договор.

Кое-что я уже слышал об этом, но, чтобы доставить ему радость, удивился и сказал, как в таких случаях было принято:

— Ну даешь!..

Я уважительно вертел бланк договора, где была проставлена довольно приличная сумма прописью.

— И еще персоналку в городе предлагают... Еще не решили, на чьей базе. Но я еще не знаю... Пока не закончу одну картину, вряд ли... В общем, пока все неплохо, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Ну а ты как там?

Мне нечего было противопоставить его стремительному взлету, и я сказал:

— Оформляю какие-то книжки. Что-то рисую для себя. Скоро выставку откроют: «Творческий отчет молодых».

— Молодых, молодых,— вдруг с раздражением сказал Борька.— Искусству нет дела до возраста. А мы все ходим в молодых.

— Искусству... Не мы ходим, а нас водят.

— Вас водят, а вы и рады... «Молодые»... Послабленьице, вроде форы.

— Тебе хорошо, с таким договором можно работать год на себя.

— А я не хочу делить «для себя», «для них». И клуб этот буду делать как для себя. Ни одной уступки исполкомовскому вкусу не допущу.

— Ни одной? — с иронией переспросил я.

— Скажем иначе, почти ни одной... По мелочам — пожалуйста, я уже эту науку знаю и разговаривать с ними умею.

Он был неожиданно боевит, полон оптимизма и веры в победу. Я уже давно не видел его таким. И, честно говоря, радовался за него.

Мы еще долго сидели, он заражал меня своей уверенностью, говорил о том, что если мы начнем постоянно уступать другим, то приучимся уступать себе и уступки станут нашей нормой.

Мне казалось, он на подъеме. Задерживал, задерживал на старте, а теперь разогнался и пошел свою дистанцию. Только иногда его глаза серели, темнели, точно рвалась нить и свет выключался. Тогда молча, словно забыв, о чем только что говорил, он безучастно сидел, глядя на тебя уже чужими, невидящими глазами.

— Ты чего, Борь?

— Да так.

Усилием воли он возвращался о т т у д а, начинал ходить по комнате, громко говорить.

В конце я показал ему тот свой лист. Он смотрел долго, как бы на просвет. По его лицу я уже видел: нравится. Он так и не высказал впрямую своего отношения, никаких замечаний, никаких предложений.

Подняв глаза и внимательно, точно проверяя меня, глянул в мои зрачки, сказал веско, не допуская возражений:

— Без нее не выставляйся.

Сказать по правде, я еще ничего не решил, и, вернувшись в Москву, я колебался. Некоторые мои товарищи уговаривали меня выставиться, говорили, что и другие работы вполне хороши, главное, чтобы заметили сейчас. А через некоторое время и та пройдет.

Несколько бессонных ночей. От бесконечных советов, советований с друзьями, с собой сохла голова.

В последний момент отказался.

Через несколько месяцев я приехал на выставку Борьки Никитина. Ту картину, о которой он говорил мне, он не

выставил. Не знаю уж почему, он согласился на выставку без этой, как он сам считал, главной работы... Возможно, он считал, что работать над ней еще годы.

Открытие прошло хорошо... Его хвалили... «Искренность таланта», «народность таланта».

Кто-то, правда, заметил, что характеры малогероичны, что художника подавляет Нестеров и кто-то там еще. Но это прозвучало вяло.

На открытии неожиданно появился наш декан — теперь он был критик.

Он говорил пространно, цитируя по памяти великих и выдающихся; он был доволен, он хвалил, он считал, что Борька значительно вырос и идет по правильному пути.

Я вспомнил, что меня он тоже хвалил на какой-то выставке, не вдаваясь ни в манеру, ни в стиль. Как и Борька, я был для него лишь предметом для обобщения.

В конце Борька и сам сказал несколько слов. Говорил довольно сбивчиво, с паузами. Он говорил о том, что эта выставка нужна была ему, чтобы увидеть не то, что он сделал за эти годы, а то, чего не сделал, но должен был бы сделать. И еще он сказал о слишком прямом воспроизведении жизни, которое не может в себе преодолеть. Те работы, которые больше всего хвалили, он считал самыми слабыми.

Я знал, что это правда, я чувствовал, что он недоволен этой выставкой. И действительно, чего-то не хватало, хотя все было хорошо.

Было сравнительно много общественности и мало художников. Художникам было лень ехать из Москвы на выставку своего товарища. А вот декану было не лень... Может, это была его обязанность — ездить по выставкам, может, он любил смотреть на рост тех, кого пытался когда-то вырвать с землей... А может быть, он и не помнил этого. Просто времена изменились, и он изменился. И хотя он хвалил Борьку, я чувствовал, по-настоящему это ему не нравится. Впрочем, он слушал Борьку внимательно, и я не уловил на его лице ни тени неприязни, вообще никакого отношения... Гладкое лицо с розовым склеротическим рисунком, возраст его определить было трудно. Казалось, у него нет возраста.

Через год Борька сдавал свой Дом культуры. Меня долго не было в Москве, вернувшись, я сразу поехал к нему. В нем что-то переменилось явственно, определенно. Стал

жестче, резче, грубее. Пил. Ему дали серьезнейшие поправки, замечания по его проекту оформления, по его гравюрам, по витражам. Ему припомнили, что он был не профессиональный оформитель, а художник, живописец, и что некоторые его идеи совершенно неприемлемы.

Ему придали какого-то оформителя и еще одного человека, мастера гипсовых скульптур, какие ставили во дворах заводов или в парках в 40—50-е годы — безликие бронзовые передовики и могучие девушки с веслом.

Все заводские дворы были полны его передовиками.

На некоторое время его как будто устранили, казалось, он устарел, навсегда остался в сороковых, однако понадобился, новые не справлялись с делом, черт-те что рисовали, черт-те какие скульптуры вырубали, и он потребовался вновь.

Вот и сейчас новый художник явно не справлялся, нагородил черт-те чего: непонятных птиц, странных зверей, да и люди тоже были неясны, и поэтому человек, уставший после работы и пришедший поиграть, скажем, в бильярд, только бы головой водил от таких росписей на стенах. Поэтому Никитину дали надежного человека, чьи произведения были проверены временем.

Они возненавидели друг друга тут же, сразу же, после первого рукопожатия. После первых же слов.

Во всяком случае, Борька относился к нему с нескрываемым презрением и называл «чайником».

Я посмотрел Борькины эскизы. И надо сказать, был удивлен... Борька всегда тяготел к портрету, любил сочетать подлинность и условность, они как бы входили друг в друга. Прием был не виден, а лишь подчеркивал стремление кисти передать не облик, но дух... Здесь же он обнаружил скрытые резервы неизрасходованной фантазии, фантазии буйной, любопытной, интереснейший поиск цвета, обнаженность декоративного элемента и вместе с тем несколько необычное и, может быть, оттолкнувшее заказчика построение. Был интересен его цвет, синий и золотой, цвет Волги и осени, надежды и потери. Рыбы, серебристые и золотые, выгнутые в странной пропорции, смотрели на вас человеческими страдающими глазами; вырываясь из синего фона, они сверкали, вились друг вокруг друга, проплывали, точно искали что-то неведомое, захороненное на дне.

В одной из комнат он предлагал сделать избу с печью... Сейчас таких изб много, олеографический стиль стал рас-

хож; Борька же искал чего-то иного, тогда еще мало распространенного... Скорее всего, это была не изба, а терем, расписной, яркий, истинно сказочный — убежище от одиночества, от серых, намокших дождем мостовых, от облепленных людьми деревяшек, где пьют пиво.

Но никто не был готов к такому. И было ясно с самого начала, что такой терем обречен, что рыбы на стенах непонятны, что деревянные древние птицы-археоптериксы не несут задач наглядного воспитания.

Того художника сделали главным. Борькин проект раздолбали за формалистические изыски, стилизацию, далекую от ясной эстетической программы.

Однако ему предложили продолжить работу под началом того. Он отказался.

Благоденствие и признание были недолгими.

В тот день, когда его отстранили, Борька не казался побежденным.

На этот раз поражение не деморализовало его, не знаю, надолго ли... Я чувствовал в нем новую страсть к работе, уверенность в своей правоте, силу преодоления.

Конечно, я знал, что такое состояние может смениться отчаянием, меня неудачи выбивали из сил надолго, ощущение непонятости никогда не было для меня толчком к работе, наоборот, ослабляло дело. Это пришло ко мне не сразу. В юности я бесконечно верил в свою правоту, возможности и удачу. Теперь же правота все чаще становилась для меня самого спорной, удача сомнительной, оставались только возможности, они еще, пожалуй, казались неисчерпанными.

Дома сидеть не хотелось. Зашли в ресторан, там было душно, людно, громыхала музыка. Мы еще долго рыскали, где бы нам приткнуться. Наконец забрели в какую-то чайную, необыкновенно захолустную даже для этого города. Там, естественно, никто не пил чая.

Борьку узнавали, какая-то компания звала нас к себе, кто-то приветливо махал рукой.

— Художник, эй, художник!

Мы посидели недолго и ушли. Рваная сырая мгла влажно облачила нас. Было вётрено, зябко, а там тепло, и вслед цокали граненые стаканчики и кто-то призывал:

— Художник, эй, художник, ты куда пошел? Не спеши, посидим.

Согретые этим непрочным теплом, этим огнем, который, как язык в свече, колебался, то освещая нас, подымая наши тени, то с отвратительным стеариновым шипением загасал, мы ходили по городу.

Было темно, ничего не видно, но Борька с упорством, вслепую показывал мне то, что осталось от старого города, и я то ли верил на слово, то ли видел приземистые домики, горбатость защищенных от ветра переулков, спуск на набережную, древние липы над ней: вкус и прочность давней, передаваемой от века к веку, от поколения к поколению жизни.

Борька говорил о том, каким он делал бы этот город. Я уже не помню сейчас его проектов, но мысль о безликости, ординарности новых застроек уже тогда волновала меня и его.

Тогда эти новые дома, спасение для многих семей, живущих в коммуналках и подвалах, только строились и даже казались красивыми. Мы думали о том, как разрядить геометрическую сухость светлых коробок, сметающих деревья, как при всей однотипности сделать их непохожими, найти какую-то линию, цвет; найти в этом симметрически однообразном царстве живую асимметрию. Что можно было придумать, противопоставить, изобрести в этом небольшом, старом городке?

Борькин терем в Доме культуры?

А может, наоборот, конструктивистское, летящее, стальное, с огромными во все пространство стеклами, отражающими воду?

Мы не знали, терялись в поисках. Мы не видели других стран, мало знали, как там строят.

Заграница, даже поездка в Польшу, в ГДР, была тогда редкостью, событием, хотя полно «демократов» училось с нами, и какие-то первые молодежные бригады, тургруппы, специалисты по обмену уже начали свое поступательное движение.

Хотелось ли нам? Наверное.

Но в целом это не очень занимало нас. Культ заморских путешествий, познания заграниц не был привилегией нашего поколения. Только много позднее мы увидели мир.

А мне с юности хотелось поехать во Флоренцию, да и вообще в Италию. Боттичелли, вот кто был моим богом.

Набродились, замерзли, пришли домой. Борька сунул в граненый стаканчик кипятильник, насыпал чаю. Командировочным, гостиничным духом веяло в комнате новосела.

Неожиданно позвонили в дверь. Тревожно, длинно прокатился по тоненьким переборкам настойчивый, слишком резкий звонок.

Пошел открывать не Борька, а я.

На пороге стояла женщина.

— Кто там? — крикнул из комнаты Борька.

Я не смог ее разглядеть в полутьме прихожей. Она стояла, в несколько смущенной позе, тоненькая, в черном, ветряном распахе дверей.

Мне вдруг почудилось, вернее не столько почудилось, сколько захотелось, чтобы пришла та, которой вот уже столько лет нет с нами.

И я с усилием удержал на языке чуть было не выпорхнувшее короткое имя.

Она стояла в дождевике, в капюшоне, сбросила капюшон, сделала шаг вперед к свету, и стало видно молодое, но не юное женское лицо, выгоревшие брови, остренький носик, небольшие, тоже как бы выгоревшие, почти бесцветные глаза.

И теперь она не казалась такой уж тоненькой, это проем двери делал ее такой. Скорее она была плотновата, сбита крепко и нисколько не походила на ту, которую нам в земной нашей жизни все равно было не дождаться.

— Вы Борис Никитин?

Приняв секундную паузу за замешательство, она пояснила:

— Борис Никитин... художник.

— А, художник,— сказал я, словно проснувшись.— Он там, в комнате.

Не снимая плаща, она вошла. Художник в это время размешивал слишком густую, клочками, заварку, разводил ее и сгонял на дно стакана.

— Простите, что так поздно,— быстро заговорила она.— Я никак не могу вас застать... Вас не бывает никогда, поэтому я... решила.

— Может, вы снимите плащ, посидите? Вот мы чай пьем.

— Да нет, уже поздно, я спешу... Я ведь по делу... Я ведь преподаю в интернате черчение. Я слышала, вы интересный художник, даже была на вашей выставке.

— Что вы мне предложите? — с неожиданной колкостью сказал Борька.— Оформление интерната? Я уже оформлял Дом культуры... Вот что из этого вышло.

Он обвел глазами пустую комнату, стаканы на голом столе, ржавый кипятильник.

— Да нет, вы не поняли меня... У нас интернат для трудных детей.

— Ну и что? Мы с ним тоже трудные. Вот посмотрите на него.

Она, помолчав, сказала:

— Я ведь не шутки шутить пришла к вам. Я вас ищу уже несколько дней.

— Слушаю вас,— серьезно сказал Борька.

— Я бы хотела, чтобы вы пришли к детям. Это сложные дети, интересные дети... Многие практически брошены родителями.

— Что же я могу сделать? Заменить им родителей?

— Да нет,— уже не обращая внимания на его шутки, продолжала она.— Мы решили проводить беседы о прекрасном.

— О чем?

— О прекрасном... Но может быть, это нелепо называется, но вы должны понимать, о чем речь. Там есть самые разные дети, есть очень тяжелые... В этом возрасте они еще чутки к красоте... Вот мы и пытаемся... А то упустишь.

— Что вы конкретно хотите от меня?

— Чтобы вы встретились с ними, поговорили о живописи, может, показали свои работы.

Борька помолчал, поморщился.

Она опустила глаза.

— Когда? — неожиданно деловитым тоном спросил Борька.

— В четверг... Если вам удобно, после уроков, ну, в два.

Лицо его изобразило заботу и напряжение, словно он листал свой деловой, забитый до отказа календарь. Я знал, что он по характеру своему безотказный, тем более в таком деле, но поломаться, особенно когда перед ним женщина, тоже любит.

В конце концов он сказал:

— Хорошо. Давайте адрес.

— Мы за вами придем.

— Это еще лучше.

Она кивнула мне, Борька встал, чтобы ее проводить. Что-то они там говорили, уже на лестничной клетке, но я не слышал.

Что я знал о его так называемой «личной жизни»?

Довольно мало. Естественно, Борька не был Иосифом прекрасным, и я заставал у него каких-то околохудожественных девиц, бойких, любящих выпить, обхаживающих Борьку. Было странно: казалось, не он приводил их, а они сами приходили к нему, и уже хозяин был безучастен и не выказывал к ним ни малейшего интереса, а они все не уходили. Это были скорее собутыльницы, чем подруги. Приходили и какие-то молодые люди, старавшиеся казаться раскованнее, чем были на самом деле.

Все это чем-то напоминало вечеринки и сборища в нашем институтском общежитии, на которые я приходил, но без той естественности веселья, без той чрезмерной, но насыщенной жадным интересом к искусству болтовни, без тех полузабытых песен, еще доокуджавского периода.

Здесь тоже говорили и пели, гитара наигрывала что-то, и разговоры шли о том о сем, но все же было пусто, словно я случайно зашел в чужое купе.

Может быть, я просто постарел и эта компания была не моей? Я смотрел на Борьку, тихо сидящего в уголке, поднимавшего кружку и опускавшего ее (эмалированная, оббитая кружка была его бокалом), и чувствовалось, что и ему все это не очень нужно, не очень интересно, он словно бы не участвует, а присутствует и кажется со стороны гостем в своем доме.

Я мысленно представлял, что одна из этих девиц останется здесь до утра, а потом, может быть, навсегда, а Борьке будет пусто с ней самой глухой и больной пустотой. Она будет что-то спрашивать и говорить, бойко, с молодым задором, а он будет думать о своем.

А что это за «свое»? В него спускаешься медленно, как в подвал глубокий: сначала прохладно, потом еще холоднее, потом совсем замерзнешь...

Несколько месяцев мы не виделись, и я мало что знал о нем. Я работал безвылазно, трудно, оформлял Мишеля Монтеня для детского издательства; бился, не мог найти решения, получалось слишком философично, будто я иллюстрирую идею, концепцию, а надо было искать зрительный отзвук этих идей, понятный детям. Получалась графическая заумь, ложная символика, а надо было найти простое решение, ясный образ времени, и эту простоту и ясность соединить с чем-то необычным, отражающим таинственное излучение неистребимой мысли, ищущего духа.

Работать было интересно. Я перечитывал книги, точнее, не перечитывал, а читал, к которым едва прикоснулся в детстве.

Раза два звонил Борька. Голос его был то далек, то близок, будто звонит с соседней улицы. И голос его мне не нравился... Безразличный, раздавленный, размытый...

Телефонное общение у нас вообще не получалось. Он не умел и не любил разговаривать по телефону. Ни его состояние, ни его настроение по телефону определить было нельзя. По телефону с ним лишь можно было договариваться о чем-либо, о встрече, о поездке.

Я мучительно, зная, что не получу ответа, спрашивал его:

— Ну как ты, ну что ты?

— Нормально,— отвечал он.

И в этом «нормально» чувствовал я болезнь и отчуждение. И не зная, что ему сказать, я произносил какие-то пустые, дежурные слова, которым словно надлежало отвлечь его, настроить на другой лад. Бессильные эти слова произносились с каким-то простецким грубоватым оптимизмом:

— Ты бросай,— говорил я ему.— Кончать с этим надо. Пьешь небось? Работать тебе надо... Бросай это дело.

— А бросать-то че? — так же грубовато и вместе с тем тускло, как бы без выражения, отвечал он.— Сам бросай, у меня все в порядке.

Однажды я съездил к нему, не застал. Искал по всему городу, соседи внизу сказали, что несколько дней не ночевал.

Наконец под вечер встретил бледного, опухшего. Он смотрел косо, глаза под набухшими красными веками потеряли цвет. Он почти не разговаривал, только вытирал языком пересохшие губы и, не глядя на меня, отчужденно, недобро бубнил:

— Все вы там в Москве... Все вы там.

Словно мы были из чужих, враждебных краев.

А между тем в Москву он приезжал, но не звонил ни мне, ни Сашке. Что он здесь делал, я не знаю.

Была у нас одна странная встреча. Я шел из кинотеатра «Художественный». Был я не один. Девушка, которая молча шла со мной рядом, вскоре должна была стать моей женой, но в тот вечер я мало думал об этом...

Осень переходила в зиму, рано темнело, мы шли по Суворовскому бульвару и заглянули во двор, где стоял старый

памятник Гоголю. Вокруг него бегали дети, хлюпая, выбивая брызги из жидкого, подгнивающего снега, на склоненную голову Гоголя косо падал снег. Ни прожектора, ни лучика — на лицо. И оно темнело, угадывалось, знакомое до мельчайших подробностей: измученная улыбка с оттенком то ли прозрения, то ли издевки.

Я помню, как улыбался он в изначалии Гоголевского бульвара давно, прежде чем его заменили другим, торжественно-подтянутым, словно офицер или генерал на параде.

И странное совпадение.

С другой стороны, с тылов памятника, выходил Борька. Что он там делал? Почему он не позвонил мне?.. Я знал, что он тоже любил этот старый памятник.

— Ты надолго в Москве?

— Да нет, на несколько часов.

— Вот, познакомьтесь. Это Боря Никитин, это Таня. Я Тане о тебе много рассказывал.

— Да? — усмехнувшись, сказал он.— А что рассказывать-то?

— Ладно. Может, пойдем посидим куда-нибудь?

— Нет. Пора домой. Поезд скоро.

Я бы с удовольствием проводил его до вокзала, хотел было предложить, но в летящем мокром снеге видел его бледное, далекое, очень чужое лицо и промолчал.

Глаза его чуть оживились, когда он пожимал мою руку, посматривая не без интереса на мою девушку, потом он секунду помешкал, словно не зная, как с ней прощаться, за руку или кивком, в конце концов улыбнулся, кивнул головой и исчез, слился с бульваром, с снежным дождем, с прохожими.

— Какой-то он странный, твой Борька Никитин,— сказала моя девушка.— Он по твоим рассказам казался мне другим.— И добавила задумчиво: — Все вы немного странные. Такое уж поколение.

Она была моложе меня на шестнадцать лет.

Через некоторое время он очутился в больнице. Заболевание печени. Лежал он довольно долго. Как только я узнал, я поехал.

Мы долго сидели в палате, болезнь сделала его мягче, открытее. У него было желтоватое, будто он загорел каким-то странным, нездоровым загаром, лицо. Ему не велено было вставать, но он, естественно, нарушал больничные

порядки и сейчас тоже пошел за мной к лестничному пролету, где была как бы прогулочная площадка для тех, кого не выпускали на улицу. Гудели голоса, больные разговаривали по телефону, курили. Борька стоял спокойно, разглядывая ходящих взад и вперед людей; я знал за ним эту привычку, смотреть на что-то знакомое так, как если бы впервые видел. Наверное, десяток раз в день мелькали перед ним эти лица, но он вдруг с пристальным любопытством всматривался в них. Я это давно знал за ним. И этот взгляд обрадовал меня... Значит, он был живой. Его желтоватое лицо казалось помолодевшим, может, оттого, что он сильно похудел и лицо уменьшилось.

Неожиданно повернувшись ко мне, он сказал:

— Когда нависает — хочется работать, чего-то еще успеть... Если так пойдет, ничего не успею.

— Успеешь... Ты обязательно должен успеть. Вот поправишься, перевезем тебя в Москву, будешь нормально работать.

Я говорил, не очень веря себе, потому что темное предчувствие укололо меня, точно мне открыли вдруг карту его болезни.

Впрочем, в тот раз я ошибся.

— Нет уж, в вашу Москву я не поеду,— спокойно, без прежнего раздражения, сказал Борька.— Я не столичный человек, я человек провинциальный, районный.

Мотив этот был знаком, я перевел разговор на другую тему. И вдруг я увидел, что он смотрит вниз, на лестницу. А по ней быстро подымалась женщина с сумкой.

По лестнице подымалось много людей, были приемные часы, многие женщины несли сумки, авоськи, но Борька внимательно, потеплевшими глазами смотрел на одну в сереньком плащике, быстро, в такт движению покачивающую свою, видимо тяжело нагруженную сумку.

Я узнал ее. Это была та, учительница из интерната.

Я отошел в сторону. По-моему, она меня даже и не увидела.

О чем-то они быстро поговорили, и Борька несколько смущенно сказал мне:

— Подожди минутку.

Вот тогда она перевела на меня взгляд и сдержанно улыбнулась, очевидно, тоже узнав.

Потом они пошли в палату, он впереди, стараясь шагать боевито, не как больные, маленький в больничной пижаме, похожий на чуть постаревшего огольца, она за

ним, с сумочкой, из которой выглядывало голубое горло кефирной бутылки.

Вот тогда я и понял: она будет.

После возвращения его из больницы она навсегда осталась в Борькином доме. И квартира мгновенно изменилась. Весь ее дух, одинокий и безбытный, буквально в день или два изменился. Я уже говорил, что Борька был домовит, и в первые дни его переселения полупустая квартира казалась мне образцом мужского уюта.

Но потом он потерял к ней интерес, она стала не домом, а местом ночевки, напоминая какой-то запущенный номер с постояльцем, который и не живет и не уезжает.

Теперь же ощутимо чувствовалось присутствие женщины, дом стал чист, из него выбили всю пыль, весь мусор, угарный дух последнего года, появилась мебель, появилась еда в холодильнике, а прежде не было ни еды, ни холодильника.

Только стенки были голые, Борька не вешал своих работ, как другие, разве что в уголке висел тот самый, чернобелый рисунок.

Трудно сказать, как складывались мои отношения с ней, мне иногда казалось, что она смотрит с неприязнью, будто все мы были в чем-то виноваты.

Кто знает, может, и были.

«Девушка с пельменями». Безотчетно хотелось ее занизить, она мешала нашему братству, я понял с самого начала, что она будет стоять между нами, не только между мной и Борькой, но между ним и его прошлым.

Но было и другое. И это перевешивало все наши скрытые недовольства: без нее, мне кажется, он просто бы не выжил.

Между тем интернат стал занимать все большее место в его жизни. Уже не встречи и беседы о прекрасном раз в месяц, а стационарные преподавательские часы. Интернат понравился ему, и он, видно, понравился интернату.

Теперь единственный из нас он получал зарплату и из вольного художника превратился в служащего.

В тот приезд дверь открыл не Борька, не она, а мальчик лет тринадцати-четырнадцати.

— Ты, извини, кто? — в некоторой растерянности спросил я.

— Я Егор,— сказал мальчик и, помедлив, добавил: — Дядя Боря в мастерской.

Я пошел в мастерскую. Она была получена Борькой в самое первое время, когда он только обосновался в городе и преуспевал. Находилась она на краю города.

Но город был невелик, и минут через пятнадцать я уже подымался по выбитым ступеням рано состарившегося нового дома. На шестом этаже были мастерские.

Борькина дверь была полуоткрыта. Я тихо постучал, не услышав ответа, вошел.

Борька отпрянул от холста, двинулся мне навстречу. Движения его были слишком быстрыми, почти суетливыми.

— Садись, да нет, вот сюда. Сейчас чаю согрею. Хочешь? Я и не знал, что ты приедешь.

Я понял, он уводит меня от картины, ему почему-то не хочется, чтобы я ее видел. Он повел меня в маленький темный закуток, нечто вроде кухни, там стоял чайник, стаканы, а рядом банки из-под краски, шурупы, доски для подрамников.

Он быстро провел меня по диагонали мастерской в этот закуток, но я все же не удержался, бросил взгляд.

Взгляд этот был мгновенным, и я не разглядел картину, но я увидел ее. Этого было достаточно.

Мне захотелось подойти к ней, рассмотреть ее как следует, но его цепкий взгляд все время держал меня на расстоянии, почти физически не подпускал меня к картине.

Я не стал подходить.

Странно, что он никогда ничего мне о ней не говорил.

Он почувствовал неловкость и пробормотал:

— Я тебе покажу потом... Я уже давно работаю, но урывками, и конца не видно... Вот когда кончу, тогда покажу.

— Как назвал?

Почему-то именно здесь, в этой картине, мне было важно название.

— Пока нет. Есть что-то общее, не название, конечно, а мысль, идея... Примерно так: «рассвет радости и скорби». Но над названием я еще буду думать, сейчас не до названия. Кончить надо. Ты небось с дороги замерз? Выпить хочешь?

Он перехватил мой удивленный и укоризненный взгляд.

— Да не бойся, я сам не пью. Хочется иногда, но нельзя... Другого выхода нет, иначе... Ну, а для друзей держу.

— Что это за мальчик мне открыл?

— Это из интерната. Егор... В выходные приходит ко мне, остается. Мальчик хороший и будет рисовать. У него там дома сложно. А так мальчик перспективный, надо только ему руку поставить.

Он что-то еще говорил о мальчике Егоре, не о его жизни и сложностях в семье, это он как раз обошел, а говорил о каких-то его рисунках, говорил со сдержанной нежностью, но сейчас не это занимало меня.

Меня занимала его картина. Я не рассмотрел ее, но увидел. И должен признаться, что она поразила меня. Что-то совершенно новое для Борьки было в ней, хотя шел он — от себя.

Белое поле, снежное, бесконечное. Спокойная снеговая равнина, а вдали призраком цветущее вечнозеленое дерево. По полю, над полем шла, точнее летела, девушка, она как бы из второго плана переходила на первый, ее лицо было обращено к вам, она одновременно и знакомилась и прощалась с вами; улыбка ее была удивительно молода, но глаза полны позднего знания жизни, и я узнал в ней ту, которую мы оба любили и потеряли; но она была совершенно иной, чем была в жизни, хотя и похожа, и мало общего с тем рисунком; в знакомом лице было что-то совершенно незнакомое, одновременно и ее и не ее. И меня поразило это соединение знакомости и незнакомости. А в лице было одновременно и ничем не потревоженное счастье и тень тяжкого предчувствия. Все ее движения, руки, лицо выражали краткий, единственный и угасающий миг счастья.

А сбоку и на втором плане стояли люди, улыбающиеся и живые, идея вечной жизни всегда занимала Борьку. Кто же были эти люди? Деревенские старики и, наоборот, молодая пара, его родители, но совершенно другие, чем на тех портретах, которые он принес на конкурс, маленький человечек в немецкой форме, точнее не было формы, шинели, а был какой-то намек на то, что он из *той, другой* армии. Был и человек с ярким, молодым, улыбающимся лицом, с гигантским яблоком в руках, и я узнавал дядю Арчила... Они странным образом соединились в этой картине. Мне трудно было понять и не хотелось разбираться в том, *как* это строится. Я видел лишь поле, поле жизни, с очень разными людьми, живущими своей разной жизнью, в просторном квадрате картины.

Я даже не мог определить манеру. Реализм соединялся с мистикой, с условностью, но мистика была не приемом,

не самоцелью, а ощущением того, что всем предназначено встретиться, всем тем, кого так или иначе соединила жизнь.

По белому и вместе с тем как бы цветущему полю к нам шла или летела эта девушка, то ли здороваясь, то ли навсегда прощаясь с нами живой, гаснущей улыбкой.

Что-то он говорил, объяснял, но я не слышал его.

И не слыша его, а видя эту картину, ворвавшуюся в мое зрение лишь на мгновение, лишь на секунду, я тихо сказал:

— Я тебя поздравляю... Это очень сильно, очень необычно. Жаль, что ты не дал поглядеть как следует.

— Знаешь, еще рано. Не хочется, пока не сделано. Фигуры второго плана еще не прописаны... Да и многое меня не устраивает. Я ведь уже очень давно работаю... Но все урывками, урывками.

Потом мы пошли в Борькину квартиру, сидели допоздна, и я остался у них ночевать. Катя хозяйствовала в доме, пекла крендельки, посыпала их маком, душно и сладко пахло тестом.

Делала она все споро, умело и держалась как хозяйка. И только иногда в каком-то мимо тебя скользящем взгляде угадывалась неуверенность. Роль была еще новой для нее.

Егор тоже сидел допоздна, а потом собрался уходить. Борька сказал ему:

— Если хочешь, оставайся. Места на всех хватит.

И парень легко, даже с радостью, согласился, хотя был законный родительский день и можно было пойти домой.

За весь вечер при нас он не сказал ни единого слова, только помогал Кате, таскал тарелки, стаканы, мыл; внимательно слушал наши разговоры.

О чем в тот вечер говорили?

Помню смутно. На дно времени ушли старые, забытые, прошелестевшие и исчезнувшие, как старые листья, слова.

Только помню, что, засыпая, я думал о Борьке и о себе.

О том, что он ни в чем не изменил себе, всегда делает то, что хочет.

Иногда шумно, со скандалом, как в истории с Домом культуры, иногда тихо, никому не говоря, ни на что не надеясь.

Но — только то, что ему необходимо, только то...

А я? И ведь не скажешь, чтобы шел на поводу, брал что придется, тоже ведь старался сохранить себя, делал то, что хочется, то, что нравится. И вроде сделано немало.

И кажется, не только крепко профессионально, да и с душой... Так говорят понимающие люди.

Но только сам я знаю, что не вся душа положена, а как бы частями, частицами, часть сбережена на случай, на будущее.

И потому есть, что предъявить, а показать нечего.

Борька же выкладывается до конца... И ведь все, и даже я, считали, что у него и в работе, и в жизни есть как бы нарочитый слой дури, своего рода бравады, чуть показной бескомпромиссности.

А оказывается — не показная.

Но ведь я тоже не пошел на выставку без главной своей картины, без «Похорон тракториста». Я вспомнил это, и мне стало легче.

Да и работа, кажется, была неплохая, сильная, да ведь и Борьке понравилась.

Но почему я ее забросил, почему ни разу не вернулся, точно она была закончена, почему забыл ее, будто не я писал? И теперь выставлялся с легкостью уже без нее, будто она была не моя. А ведь она, наверное, была лучшей.

Еще был портрет Норы... Его ведь я никому не показывал. Только Борьке и ей.

Как-то несколько лет назад Мастер мне сказал:

— Вы рисуете очень хорошо, у вас счастливо сочетается и нутро, и техника. Но вы начинаете и бросаете. У вас нет сквозной темы и мало одержимости... Нужна одержимость. А тема придет — ее подскажет судьба.

Теперь Борька стал чаще звонить мне. И всякий раз просил: «Приедет Егор, если сможешь, своди его в Музей изобразительных или в Третьяковку. Покажи ему то-то и то-то. Скажем, голландцев или же зал Сурикова».

Мне представлялось, что у Борьки есть какая-то программа, которую он не то чтобы проводит, а как бы осуществляет в Егоре. Какой-то замысел, не до конца мне еще понятный и больший, чем просто образовательные цели.

Я выполнял его просьбы. Должен сказать, что это было нелегко — не только потому, что я был занят и приходилось вдруг ни с того ни с сего идти в Третьяковку или в Музей изобразительных искусств, которые так часто и плотно были мною исхожены за эти долгие годы, что, казалось, не могли вызвать ощущения новизны и чуда, столь

необходимые мне самому, чтобы в какой-то мере передать другому.

К тому же разговаривать с Егором было тяжело. Иногда это напоминало общение с глухонемым. То ли я на него так действовал, то ли московская обстановка, то ли он втайне ощущал, что отвлекает меня от работы, дел, но он замыкался, молчал. Я вел его за собой, рассказывал, объяснял. Он слушал внешне внимательно, но с каким-то отсутствием. Глаза его не выражали отношения к моим словам. Скрывая раздражение и стараясь собрать его внимание, я приподымал голос. Вокруг нас собирались люди, принимая меня за экскурсовода. Я показывал ему те или иные детали, приемы, казавшиеся мне важными, старался переломить стандартный, учебниковый подход к картине, отбить у него охоту к преждевременным суждениям, общепринятым оценкам, но все мои старания казались пустыми. Его взгляд старательно следовал моему голосу, но во взгляде этом не было ни ответа, ни содержания.

«Что он нашел в этом ненормальном?» — думал я с тоской, жалея драгоценное время, свой впустую растраченный пафос приобщения к искусству. Как вообще Борька с ними работает? Ведь это будто ты кидаешь камень, и он идет на дно, без звука, не поднимая кругов, неужели они все у него такие в интернате? И что за крест этот интернат?.. Надо будет как-нибудь поехать посмотреть, как он с ними занимается. Может, просто у меня нет подхода к этому мальчику? Я говорю с ним так, что он не понимает меня?..

Как-то мы шли с Егором по центру, мимо «Метрополя».

Был сияющий июльский день. Врубелевские фрески, незаметные в другие дни, как бы затерянные среди крыш, сейчас, в сгущенной свежей синеве зажили, задышали.

Я поймал себя на том, что и сам, годами пробегая мимо этого здания, почти не смотрел на него, а сейчас будто увидел в первый раз.

Я ничего не сказал мальчику, но он заметил, что я чуть приостановился, поймал и, мне показалось, понял мой взгляд, обращенный вверх. Его глаза как бы пошли за моими, он смотрел так же, как и я, с удивлением, восхищением. Первый раз, пожалуй, я увидел его восхищенным. Но, может, виной тому просто синева неба, яркость столичного дня, праздничность центральной улицы?

Мучительно преодолевая робость, боясь ошибиться, будто на экзамене, мальчик спросил:

— Это Врубель, да?
— Да. Ты откуда знаешь?
— Дядя Боря показывал.
— А хочешь посмотреть Врубеля?
— Конечно,— сказал мальчик.

В его тоне мне даже почувствовалась благодарность. Мы вернулись в Третьяковку; я старался не упустить этого неожиданно пойманного контакта и ожившего интереса, подвел мальчишку к картинам, ничего ему не рассказывал, чтобы не сшибить впечатления, две-три подталкивающие реплики. Вот и все.

Но странное дело, он вновь погас, словно своды музея что-то подавляли в нем, а может, и не в этом было дело. Смотрел он старательно, ученически, но не так, как смотрит художник, не так, как смотрит человек, уже заболевший *этим*. А ведь Борька говорил мне, что он необыкновенно способен.

Мы вышли из музея молча, я уже не старался его разговорить, дал себе волю думать о своем. Тем более, что шли мы по Ордынке, мимо церкви и дальше вниз, мимо домов и двориков с еще не пожухшей листвой...

Давно не шел я так, вниз по Ордынке, просто так, без дела, один. Впрочем, разве один? Рядом со мной, подстраиваясь к моим небыстрым шагам, шел Егор.

Неожиданно он сказал:

— Похоже, как у нас.
— Что? — не понял я.
— Да дворы такие же есть в Старом городе. И петунья такая же.
— А ты в Старом городе живешь?
— Да.
— Отец у тебя кто?
— Отставник.
— Работает?
— Сейчас нет. Работал счетоводом. В совхозе, а потом уволился.
— Чем же он сейчас занимается?
— Цветами.
— Чем? — переспросил я.
— Да цветами! Разводит всякие сорта, на выставки возит.
— А на рынке продает?
— Продает,— с неохотой сказал мальчик.
— А почему ты не дома?

— А что дома делать? Он все с цветами возится, ему ни до кого.

— Ну, а вечерами?

— А вечерами он выпивает,— спокойно сказал мальчик.

— Ну и что ж, многие выпивают, но ребят в интернат не отдают.

Я пожалел о последней фразе, мне казалось, я вторгаюсь во что-то чужое, может быть, тяжелое, да и могу ли я вот так походя вызнать его судьбу? Но странное дело, мальчик отвечал, кроме отдельных каких-то моментов, спокойно и даже охотно. Не то чтобы подробно, но без внутреннего сопротивления.

— Пьют-то все,— сказал мальчик,— но мой, как выпьет, дурной становится. Контузия у него. Раньше держался, а в последние годы совсем не справляется.

И словно впервые я увидел на его лбу сравнительно свежий шрам; он полз змейкой и скрывался в волосах.

Я ничего не стал спрашивать у мальчика, но он понял мое изумление, даже испуг и сказал спокойно, как о чем-то вполне обыкновенном, может быть, даже само собой разумеющемся:

— Это он ключом от калитки.— И пояснил: — Я калитку как-то забыл на ночь запереть, вот он и разнервничался... К нам, конечно, многие лазают, цветы хорошие, дорогие... Ну а я от дяди Бори пришел поздно, задумался как-то, забыл запереть. А отец уже спал. А наутро — проснулся, еще до опохмела, увидел... Ну и...

— Так ведь и убить мог,— тихо сказал я.

— Так-то он не злой. Ешь до отвала. Деньги дает. Но как выпьет — не попадись под руку... И не дай бог чего с цветами. Если кто-то цветок повредит... Не дай бог.

Мальчик глядел спокойно, даже смиренно, констатируя, а не осуждая.

— После того случая соседи прибежали, хотели на него дело завести. Там уже серьезным пахло. А я сказал: «Не надо его в тюрьму, лучше я все время в интернате буду. Домой вообще не буду возвращаться».

— Ну и сейчас как?

— Я и не возвращаюсь почти... А он обижается. Когда я есть, он злой. Когда меня нет — еще злее... Это он после смерти матери такой стал.

Снова он замолчал, замкнулся, весь этот всплеск был, видимо, для него необычно труден, и поэтому шел он те-

перь совершенно безучастно, а мы уже давно прошли Ордынку и зашли в серпуховской универмаг, где по просьбе Борьки я купил ему набор цветных карандашей. Но и это не обрадовало его. Уже до самого вокзала, до поезда он был молчалив и ко всему равнодушен.

Нагрянул в Москву и сам Борька. Встретились у Никитских ворот, гуляли просто так, без дела, сидели на скамеечках, беспечно грелись на летнем солнце, разговаривали о чем-то и мимоходом поглядывали на проходящих девушек.

Что-то институтское, давнее было в нашем сидении: казалось, у нас бездна времени, все время человечества — наше. И можно тратить его так радостно и беспечно. И девушки эти, бегущие куда-то или ненадолго садящиеся на нашу скамейку, такие блестящие, нарядные, совершенно новенькие, не обращали на нас внимания и вместе с тем чувствовали наши взгляды, так и уходили они, не сказав ни слова нам, и мы знали, что больше не увидим их в этом огромном, солнечном городе; как золотистые рыбы, они уплывали по бесконечно синей реке.

Было солнечно, легко, неопределенность будущего, как когда-то, кружила голову вместе с ясной мыслью о том, что все задуманное сделается, осуществится.

Вот такая легкость, уверенность, бывает после выздоровления или после долгой полосы неудач.

И Борька был необычайно сговорчив, примирен, не ругал, как это стало в привычку в последнее время, московскую суету и бездушность жизни; наоборот, я чувствовал, что он получает физическое наслаждение от этого летнего московского денька, от бездельного сидения на пригретой скамейке столько раз нами исхоженного бульвара.

Не хотелось говорить о работе, о заботах. Вообще не хотелось говорить. Казалось, не было ни прошлого, ни будущего.

Я думал о том, что мы слишком привержены прошлому, слишком зависим от будущего. А вот день, час, миг настоящего — солнечный, теплый, медленно, на наших глазах исчезающий,— мы считаем ничем, своего рода переходным этапом, незначительной перевалочной станцией от вчерашнего к завтрашнему.

Эта мысль понравилась мне, и я попытался дать ей графическую форму, закрепить ее изображением; но решение не приходило.

Кто-то шел к нам, потом оказалось, что совсем не к нам, просто на теплую, свободную половину скамейки, но мне представилось, что это к нам, что Нора сейчас подойдет и мы молча подвинемся, дадим ей место. Уже пятнадцать лет ее нет на земле. Эта цифра показалась дикой... Хотя и на самом деле сейчас она была очень далека от нас, в другой нашей жизни, где и тепло, и деревья, и шум голосов — все было похожим и другим.

Не знаю, о чем думал Борька. Мне казалось, ему спокойно, хорошо, может быть, даже он дремлет, и я молчал. Потом я увидел, что он словно очнулся и какая-то тень тревоги отразилась в его глазах. Мне показалось, что он сейчас встанет, а уходить не хотелось. И чтобы удержать его, я спросил:

— Ну как твой Егор?

— Ничего. Будет рисовать.

— Ты что, видишь в нем ученика?

— Учеников у меня сейчас много, есть и посильнее его, хотя он способный, просто я его жалею.

— Это его не обижает?

— Это ерунда, что жалость обижает, настоящая жалость не обидит. Я ведь не внушаю ему, что он одинок, несчастен, наоборот, стараюсь отвлечь его от той мерзости, что его окружает. Вначале мне хотелось разбудить в нем человеческое, он был так загнан, так придавлен... Я вспоминал свой интернат, вот таких же бессловесных ребят, от которых неизвестно что ждать. А потом я понял, что плохого ждать от него нельзя. Что всякая жалость ему чужда. Удивительно, как, живя рядом с сумасшествием и жестокостью, он остался совершенно нетронутым... Он и взрослый парень и младенец в чем-то. Может быть, ты почувствовал?

— Да... Он очень не защищенный. Ну а дальше что? Ведь у него же есть отец.

— В том-то все и дело. Я очень привык к Егору, и он к нам. А отец, видно, бесится...

— Может, он просто ненормальный?

— Не совсем так. Когда ему выгодно, тогда он ненормальный, когда невыгодно, вполне здоровый. Странная помесь куркуля, самодура и бывшего начальника. Привык всю жизнь командовать, а для него командовать — это подавлять. Сгубил мать, теперь мальчишку тиранит... Да что говорить, тяжелое это дело. Егор теперь в выходные

дни после интерната домой не заходит, бежит ко мне, что же, мне гнать его? И ведь слова худого об отце не сказал. Эту историю с ключом я от других узнал, удивительный парень, только б его не сломали.

— Не знаю, Борька, не мое это дело, но мне кажется, слишком ты заигрался со своим интернатом.

— Почему же заигрался? Это моя жизнь. И мешает, конечно, и бросить нельзя. Не могу их бросить они меня ждут каждый раз, для них мое занятие — праздник. Им же скучно, понимаешь ты? У них скучное детство, что может быть хуже этого? А ты говоришь бросить. Я их брошу, как щенков, а их утопят.

— Не утопят, ты преувеличиваешь. Наоборот, может быть, ты создаешь им иллюзию, которая им не нужна. Они должны быть готовы к жестокости жизни.

— К жестокости-то они готовы, надо еще, чтобы они к чему-то другому были готовы. Да и вообще, интернат не мешает мне, наоборот, может быть, они нужнее мне, чем я им. Откуда ты знаешь?

— А картина?

— Работаю, работаю помаленьку... Я даже боюсь ее закончить, если она не вышла, что я буду делать потом?

— Она вышла.

— Не знаю.

— Ты кому-нибудь вообще ее показывал?

— Нет, никому.

— Должен бросить все остальное, хотя бы на время. Твое отшельничество загубит тебя, ты же не для себя написал картину. Закончи ее, выстави, покажи... Посоветуйся с Мастером, он часто тебя вспоминает, он поможет, я уверен. Нужна персональная выставка, а не так, в общем винегрете. Чего ты боишься?

Он посмотрел на меня и тихо сказал:

— Я ничего не боюсь, но пока не кончу картину — не могу. А когда кончу — не знаю.

После этого мы долго не виделись и перезванивались не часто, жили своими делами, своими работами. Иногда я чувствовал, что железный трос, швартовавший меня к нему, ослабевает.

Почувствовав это, я поехал к нему. Долго ждал, пока

он придет из интерната, разговаривая о чем-то пустом, незначащем с его женой.

Он пришел тогда, когда мне надо было уже собираться, как всегда провожал меня на вокзал, мы задавали друг другу какие-то вопросы, отвечали, но все это мельком, мимо чего-то главного, и когда я вскочил на подножку и помахал ему, то было такое чувство, что вскорости я уже больше не приеду сюда.

Осень, зима были деловые, в разъездах, да и дом, семья забирали много времени.

Институт готовился провести юбилейную выставку своих учеников, своих питомцев, разумеется, не всех, а тех, кто, называется, «вышел в люди».

Попасть в число «состоявшихся» было почетно.

Я был приглашен, Сашка — тоже, Борьке же приглашения не послали.

Я пошел к Мастеру, он возмутился, позвонил в какую-то секцию, и тут же при мне ему ответили, что приглашение будет.

— Все в порядке,— сказал Мастер.

— Все в порядке,— машинально повторил я.

А сам с грустью подумал, что все они, и те, кто забыл его позвать, и те, кто в виде особого одолжения теперь поправляют свою ошибку, те, кто ценят его и не ценят, и даже сам Мастер,— не знают все-таки Борьку Никитина, не догадываются, как трудно договориться с ним.

Борька почти никогда не спрашивал о наших с Сашкой подрастающих детях.

Может, это действительно не интересовало его, как не интересовало очень многое из общечеловеческих дел и интересов, что интересовало нас. А может, память о его так и не увидевшем свет сыне (он всегда верил, что у него будет именно сын) была такой скрытно-больной, что непроизвольно накладывала запрет на эту тему.

Теперь у него была новая семья, я не исключал того, что появится и сын, однажды даже спросил Борьку об этом, но Борька помотал головой: нет... Почему нет, я не знал и не стал докапываться.

Может быть, его родительский дар уходил в педагогику, в учительство, обделенность собственного детства делала его более чувствительным, чем мы, к этим неприкаянным, глядящим на каждого нового человека с любопытством и недоверием пацанам.

Иногда я думал, что это способ убегать от работы, так как работа становилась для него непосильной — слишком большие задачи он ставил перед собой и, видно, не всегда мог осуществить так, как считал нужным... Так называемое растворение в учениках не всегда есть признак творческого избытка, иной раз наоборот...

Однажды, еще в начале работы в интернате, Борька признался мне, что мечтает здесь, на этой базе создать студию, не обычный изокласс, а именно мастерскую, отобранную из наиболее способных ребят школы разных возрастов.

У студии этой были бы, как представлял он, не просто воспитательные цели, то есть развитие природных способностей, воспитание чувства прекрасного и прочее. Нет, Борька видел в них тех художественных ремесленников («Да, да, и не бойтесь этого слова — ремесло»,— как говаривал когда-то Мастер), а точнее не ремесленников, а мастеров, способных восстановить старинный, полупогубленный посад, подновить обветшалую церковку, ставшую сейчас хранилищем овощей, вернуть ей хотя бы декоративное назначение. Не реставраторов хотел он делать из них, а именно мастеров, способных, например, расписать местные казенные места общепита, и т. д.

Он знал, что строятся в других городах безжизненные терема под старину, вычурные постройки с громадными столами и скамьями, подчеркивавшими подчас убожество угощения.

Нет, такого рода ресторации-декорации он не признавал.

В идеале ему виделись небольшие трактиры («Да, да, и не пугайтесь этого слова»,— говорил он), расписные чайные, блинные, где будет чисто, опрятно, и не подделка под старину, а скорее намек на нее, что-то от ее духа и настроения.

— Старину надо сохранить, где осталась,— говорил он,— а если пойдем путем копирования, подражательства, будет пародия, вроде «Русского чая» с электросамоварами и жидкой заваркой, или, наоборот, дорогих заведений для интуристов в стиле «Березка» с псевдонародными штам-

пами. В городе, особенно небольшом, должны быть вот такие уютные маленькие заведения, где люди встречаются друг с другом и просто чаевничают.

— Ну не фантаст ли ты, Борька? — говорил я с иронией.— Сам-то ты так чаевничал?

— Сравнил нашу юность 50-х годов, ту скудость... Только выпить да забыться. А у них другой уровень, другой запрос— им общаться надо, разговаривать.

— Ну вот, и строят для них дискотеки.

— А что за дискотеки? — возражал он.— Содрали название, а суть-то какая?.. Сути-то нет... Водка в розлив, щупанье девиц в полутьме, под убогие заезженные пластинки, а стены там кафельные, как в ванной или уборной, столики как в столовой самообслуживания. Красоты там нет.

— А ты, как и тот, великий, веришь, что она спасет.

— Может, и не спасет, но уберечь кое от чего должна.

— Уберечь?

— Да. От безобразия внешнего, а значит, и внутреннего убожества. От безвкусицы, наконец. Нас губит безвкусица. Посмотрел бы ты, как разряжаются иногда мои красавцы в интернате, какие-то цепочки нашивают на обшлага штанов, проволоку на шею вешают, кольца под золото в табачных ларьках покупают за рубль. А навстречу другие — тоже в кольцах и цепочках. Вкус одинаковый, а направления разные. И вдруг ни с того ни с сего — в драку.

Я спорил с ним, в своей жизни я видел гораздо больше других, умных, деятельных, работящих, организованных, какими мы не были в их возрасте. Да, их гораздо больше, и в школах, и в интернатах, и на стройках. Но я понимал Борькину тревогу. Ведь именно он делал для ребят больше, чем я или кто-либо другой. И перед ним сидят за партой живые, любопытные, жаждущие новизны дети. И все-таки его тревожили те, неприкаянные, ожесточившиеся.

Раз они есть, мы несем ответственность за них.

Меня тоже всегда поражала неадекватная причине ярость этих столкновений. Будто давние враги сошлись навсегда свести счеты.

А причина так пустякова, так ничтожна.

Но, возражая сам себе, я говорил мысленно или вслух, когда Борька был рядом со мной и когда мы вместе думали об этом:

— А вспомни наше время, драки нашего поколения? Вспомни знаменитую историю с так называемой плесенью.

— Было и это, конечно... Но еще ярость войны не отошла, еще ее огонь жег, жизнь обесценилась, люди ожесточились...

В минуту таких разговоров я с напряжением и страхом думал о своем сыне Сережке, о том, как странствует он по ночному и не всегда исполненному покоя простору многомиллионного города.

Как он там? С кем идет и кто идет ему навстречу? Не попасть бы ему в случайный бессмысленный вихрь, подобный аэродинамической струе, заверчивающей, несущей, выталкивающей на голый, незащищенный пятачок взрыхленной яростными ногами земли.

А Борька? За кого он тревожился, кого ждал, о ком думал?

Вообще о людях? О юных душах?

Нет, не так... Теперь я точно знал, о ком — о своем Егоре.

После того прекрасного вечера, проведенного у Борьки, после пельменного изобилия и тихих возлияний мы с Сашкой, естественно, остались ночевать.

И когда утром хозяйка ушла, Егор отправился в интернат, мы втроем продолжали пиршество...

Тускловатый, серо-стального цвета денек гляделся из окон, не обещая ничего радостного.

Не хотелось возвращаться в Москву, вообще никуда идти, утлый серый этот день теснее, крепче замкнул нас втроем.

Мы с Сашкой опохмелились. Еще осталось с вечера. Борька не прикасался, но духом был с нами, и когда, хмелея, мы чуть-чуть заводились, то он тоже веселел, и лицо делалось красное, возбужденное, будто он принял столько же, сколько и мы, а то и больше.

Внезапно Борька ушел и появился с небольшим холстом без рамы.

Это был пейзажик: поля с тракторными колеями, уже освободившиеся от снега, но еще хранившие тишину зимы... Вдали бульдозеры, деловитые фигурки людей, голые деревья, самый малый намек на весну, сероватое, с легким просветом небо.

Пейзаж был чистый, славный, его портила только ученическая выписанность, старательность и явные ошибки в передаче пространства.

— Твое? — сказал я, внутренне усмехаясь, отлично понимая, что к этому пейзажику Борькина рука вряд ли прикасалась.

Сашка тоже понял мою игру и с серьезным видом ждал ответа.

Борька помедлил, довольный таким выводом.

— Нет, не моя.

Он еще раз любовно оглядел пейзажик и сказал:

— Егор.

Он помолчал, давая нам возможность получше, повнимательнее вглядеться, рассмотреть не только то, что есть, но и что-то большее, что он один, может быть, и видит.

— Чуете, мужики, какую тонкую нотку нащупал парень... Настроение тут есть. Что-то предвесеннее. Ожидание. Поняли? Откуда это у него?

И гордясь, удивляясь он завернул пейзажик в газету и унес.

А я думал о том, что даже такого крепкого и трезвого, как Борька, родительское чувство может лишить объективности...

Впрочем, если не судить слишком строго, пейзажик и вправду был недурной.

По Борькиным рассказам я знал, что мать Егора погибла при неясных обстоятельствах. Говорили, болезнь. Болезнь-то болезнь, только какая? Поговаривали, что она сама наложила на себя руки. Во всяком случае, о матери Егор никогда не говорил.

Может быть, он инстинктом оберегал себя от душевной муки, отталкивал какое-то свое страшное знание... Так ведь бывает, и не только у детей... Знаем, но не говорим. Себе не говорим. Бывает, что всего нельзя не только сказать, но и представить.

Борька рассказывал, что Егор как-то признался ему, что с отцом, когда он у отца в доме, они не разговаривают ни о чем, молчат... Вроде отец про что-то свое думает, весь как-то сжимается, смотрит в одну точку... Может, войну вспоминает. Войну прошел он всю до конца и где-то в

самом конце, уже в Германии, был то ли ранен, то ли контужен.

Я мысленно видел этот сверкающий, цветущий сад, с розами, цветущей вишней и на фоне алого и вишнево-красного, яркой зелени и желтых нарциссов — двух как бы затерянных в этом цветущем саду, потерявших связь, голос, язык, с бледными лицами людей: отца и сына.

Только почему с бледными?

Борька как-то рассказывал, что этот человек, седой, рослый, иногда появлялся в интернате на родительских собраниях и, судя по рассказу, был он не бледен и чахл, а по-военному подтянут, с румянцем на тщательно выбритых щеках, обычно молчал, но иногда и выступал веско, немногословно, каждую фразу как бы отчеканивая и обычно ругая порядки в интернате, недостатки воспитательно-идеологической работы, малокалорийное питание, несомненно свидетельствующее о процветании здесь жульничества и воровства.

— Так заберите ребенка, если так не доверяете интернату,— предлагал директор.

— В любой момент готов,— с твердостью и напором говорил он.

И забирал действительно, но через несколько дней Егор возвращался в интернат.

Жизнь течет определенным, ровным ходом, но вот ты встретился с человеком, которого давно не видел, почти позабыл, но вот встреча, и что-то в жизни изменилось, как бы пошло в другую сторону, и ты вспоминаешь, что так уже было, давно, когда-то, после встречи именно с этим человеком.

Что это такое?

Сашка посмеивался надо мной, моя мистика казалась ему чушью, мне самому иногда казалось, что все чушь, но только жизнь чаще всего, к несчастью, показывала: нет, не чушь, не выдумка, есть странные и, может быть, даже роковые совпадения, как это ни дико, ни антинаучно, но они есть.

Полтора десятка лет я не был в Ярославле, где только не побывал, а вот этот город казался слишком близким, слишком доступным, и — потому все никак не мог выбраться.

И вот я вновь проехал по волжским городам, закончив свое путешествие в самом ближнем — Ярославле.

Все они расширились, изменились, стали похожи друг на друга, как похожи районы всех новых городов, но все-таки, особенно вблизи воды, чувствовалось прежнее, то, что раньше так захватывало, подсказанное нередко и самим воображением, и ожиданием, и тем, что было читано, видано: старый сложившийся образ как бы стоял за реальным и реальный сливался с ним. Эта реальность имела определенные черты волшебства, потому что за ней цепью ассоциаций вставало прошлое, живопись, связанная с Волгой, бунинские губернские города с их садами в каменных оградах, с кладбищем, где похоронена Оля Мещерская, со всем другим, так много говорящим твоей памяти, даже если память эта реально не охватывает того, что тебе представляется; охватывает лишь воображением, чужим творчеством, и тогда с новым чувством ты видишь гранитные набережные, о которые ударяет зеленая речная вода, видишь волжские пароходики, которые не крутят колесами, как те, в бунинские и чеховские времена, но все же чем-то похожи: профилем, посадкой, белыми палубами.

Да и рядом посмотришь: увидишь человека, идущего мимо тебя, вглядишься и узнаешь в его лице, вовсе не старом, черты, тебе хорошо знакомые, недаром же уловили их и оставили навсегда старые художники.

Нет, был еще жив дух тех городов. Не только в городских экспозициях, старательно воссоздающих прошлое, но и в самой жизни, в голубых глазах мальчишки, бегущего с портфелем, в спокойном коричневом лице неторопливой, забывшей о времени старухи, в маленьком, двухэтажном особнячке, желтом, с белыми пилястрами.

И вспомнился вдруг мне неожиданный мой знакомец, открывший малоизвестных волжских художников, тот непримиримый консерватор, навсегда оставшийся даже не в конце, а в середине XIX века, если не раньше. Колючий человек, с которым мы так хорошо пили и который так нежно, по-отечески, провожал меня в гостиницу.

Да, в тот самый день.

Жив ли он? Ведь прошло шестнадцать лет.

Я знал лишь его фамилию. Анкундинов. И больше ничего, ни имени-отчества, ни адреса.

В справочной дали телефон, который не отвечал. Мо-

лодая девушка в отделе культуры сказала, что такой не числится. Сейчас все новые работники, молодежь из институтов. Один был пожилой работник, консультант, но ушел давно на пенсию и, кажется, умер.

«Кажется, умер».

Что-то леденяще остро кольнуло меня, хотя вполне можно было быть готовым к этому. Но мне не хотелось верить, да и интуиция какая-то подсказывала, что равнодушная, с оттенком слабого соболезнования информация ложна.

Старое дерево долго стоит. Его вон какие бури не сломали. Что же это он в тихое время возьми да и рухни?.. Впрочем, в тихое время и ложатся старые деревья. К тому же, еще тогда он был болен, но не хотелось верить этой приблизительной информации.

Во всяком случае, я решил искать его.

Возможно, что он и забыл меня. Не так важно. Лишь бы он был.

Я долго ходил по улицам и дворам, что были расположены недалеко от музея, мучительно ища тех растворившихся со временем примет, что старательно подсказывала зрительная память: большой тенистый двор, детская запыленная площадка, трехэтажный деревянный домик с удивившей меня надписью «Лоскутная мера», новый серенький домик, впрочем, какой там домик,— большой, четырехэтажный дом.

Мелькали такие же или похожие дворы, и не попадалась надпись «Лоскутная мера», то ли я не мог ее найти, то ли она дожила свой век, а новых домов и улиц стало так много. И все-таки зрительная память не подвела меня; готовый уже сдаться, плюнуть на свой сомнительный поиск, я вдруг, а может, мне только показалось, угадал именно этот двор и эту площадку.

Я вижу пожилого, заросшего человека, несущего в авоське железную банку с импортной фасолью. Я кидаюсь к нему так, что он пугается, может, думает, что я хочу отнять эту заветную банку.

— Вы из этого дома?

— Да... А что?

— Анкундинов, из музея, худой такой...

— Из музея?

Он задумался.

— Кажись, вернулся из больницы.

— Значит, тут?

— Тут, на третьем этаже, куда он денется.

— Как куда? — сказал я.— Деться-то легче всего.

— А-а, туда-то? — понял старик и посмотрел вверх, в бледное высокое небо...— Туда-то успеем. Всех приберет, ни одного не оставит... Но еще, значит, рановато. Хотя с тем, кажется, было нездорово, да вы и сами узнаете.

— Да, понятно, спасибо.

Главное, жив, и я нашел его. Ну, а «нездорово», так у кого же здорово?

Открыла пожилая женщина, маленькая, с живыми, карими глазками.

Не стала выспрашивать «кто, зачем, откуда», как это принято у недоверчивых жителей больших городов, только сказала:

— Сейчас, обождите минуточку... Я ему помогу одеться, он не совсем здоров.

Я стоял, ждал в крохотном коридорчике. Он вышел сравнительно быстро, через несколько минут, в полосатой пижамке, делавшей его похожим на узника американской тюрьмы Синг-Синг.

Я узнал его сразу, хотя нельзя сказать, чтобы он не изменился: был он и тогда худ, а сейчас время соскребло с него не только всякое подобие жира, но и само мясо, кости даже не светились, как говорят в таких случаях, а почти обнажились.

Зато лицо светилось болезненным румянцем, как прежде, и было теперь не белым, как тогда, а коричневым, словно навсегда загорело под уходящим солнцем жизни.

Облик его мог бы даже испугать, если б не усмешка да с любопытством устремленный на меня проницательный, цепкий взор зеленовато-карих глаз.

Я начал что-то объяснять, думая в это время, на кого же он похож, и решил, что похож на старого схимника в монастыре, только женщина и пестрота одежды уводили в сторону от этого образа.

И еще я подумал, как давно это все было, словно другая эпоха, ведь еще Нора жила, и при всей остроте обиды, ужасе разлада как я был тогда счастлив!

Мне не надо было объяснять ему долго. Хорошо помнил он не только портреты, но и лица.

— Да, да, припоминаю... Куда же вы пропали? Вы же, кажется, обещали зайти на следующий день и канули, сги-

нули. Впрочем, мне попадались книги с вашим оформлением... Ведь с вашим, должно быть?

Я кивнул, удивился, что он запомнил мою фамилию, стоял, учтиво потупившись, ожидая оценки моих работ, думал, что скорее всего она будет отрицающей напрочь. Я ведь помнил его высказывания и взгляды.

Но он ничего не сказал, промолчал, то ли схитрил, что на него, в моем представлении, не походило, то ли вовсе не собирался меня ругать, а может, и откладывал неприятный разговор.

— Да, много воды утекло,— сказал он.— А экспозицию-то новую вы посмотрели в музее?

— Так, бегло... Я вас искал. А мне сказали, что вы...

— Что́ я?..— он насторожился.

— Что вы не работаете. Адреса не дали. Какая-то молоденькая женщина из отдела культуры.

— Да, сейчас все новые, все новые, и город не очень знают, и людей знают мало, особенно старых, тех, кто все это открывал, начинал. Картины, правда, знают. Картины сейчас легче знать. Я когда-то составил подробнейшую картотеку, потом собирался делать книгу о местных художниках, все же как-никак я их знаю.

— Ну еще бы! Еще как!

— Сдал заявку, потом начал работать, время прошло, и, глядишь, года через три-четыре вышла книга под другой фамилией, какой-то молодой многое у меня соскоблил, все, что я открывал, своими словами пересказал.

— Безобразие.

— Да что там. Ладно. Бывали безобразия и похуже. Важно, книжка вышла, хоть узнают о местных художниках, только не узнают, как искали мы их, спасали, разрывали буквально в кучах дерьма, в мерзлых сараях, бог знает где, и доказывали в то время, что они чего-то стоят, что им есть место в истории русской художественной культуры. Слава богу, доказали. А теперь молодые их превозносят, только с неточностями, с ошибками.

Я решил остановить его, чувствуя, как сосуществуют в нем два потока; я их ощущал и тогда, давно: поток мудрый и поток желчный. Сейчас желчный, нервный, начинал брать верх.

— Да, «Дети Темирниных», вы мне их открыли

впервые. Какие ясноглазые... Я их на всю жизнь запомнил.

Он успокоился, постепенно привыкая к присутствию чужого человека, видимо вызывавшего у него возбуждение, тяжелый для него нервный подъем. Он дышал трудно; хозяйка внимательно, но так, чтобы он не заметил, приглядывала за ним и наливала чай.

— Может, чего покрепче? — слабым голосом сказал он.— А то у меня есть, вы не стесняйтесь.

Я вспомнил нашу первую встречу, и наш разговор о Маяковском и современных живописцах, и то, как он провожал меня.

— Чай — это хорошо,— сказал я, не зная, о чем говорить и как говорить. Разговаривать вроде было не о чем. Тогда жар и молодость вели меня за ним, против него, жар познания, несогласия и уважения к чужой твердости.

— А знаете, если можно, я рюмку выпью,— неожиданно сказал я.— Один,— я знаю, вам нельзя... Но мне хочется, в память того вечера.

Женщина тут же откликнулась, завозилась и через минуту вышла из кухни с блюдечком, на котором стояла рюмка с зеленовато-желтой влагой.

— Сами настаивали,— сказала она.— Эту магазинную мы не любим. А ему-то вообще не стоит.

— Не стоит, не стоит,— проворчал он.— Тогда и жить не стоит. Наливай-ка и мне маленькую.

Женщина спорить не стала, возможно у нее уже был давний, неведомый посторонним опыт отношений с ним, и этот опыт сейчас подсказывал, что спорить бессмысленно и потому не надо — раздражать только. Я увидел, что она еле заметным движением перекрестилась и дрогнувшей рукой налила ему половину рюмки.

— И не половинь. От пяти грамм ничего худого не будет. А половинка — дурная примета. Ну так, за что же выпьем, столичный гость залетный?

И, как бы наново разглядывая меня, он сказал:

— А ведь вы были тогда мальчик. Мальчик — да, вежливый, внимательный, но со своим мнением.

«Сейчас кем же он видит меня, человеком средних лет, кем, интересно? Да и кто я на самом деле со стороны?.. Кто я — перед ним? Тот ли же, что перед собой?»

— Так за что же выпьем? — спросил он снова.

— Давайте выпьем за одного моего друга. Он художник. Когда-нибудь я приведу его к вам, я уверен, что вам понравятся его работы.

— «Когда-нибудь»... Этак я, пожалуй, не доживу до встречи с твоим художником. Мне ведь осталось...

Мы оба замолчали, и рюмки наши зависли над столом, и сзади я услышал подавленный глухой вздох маленькой пожилой женщины, не знаю уж, кто она ему была: жена или давняя подруга, присматривавшая за ним.

— Простите, но не надо об этом,— сказал я.— Никто на свете не знает, сколько кому... Вот и тогда, шестнадцать лет назад, вы провожали меня, помните, я еще был довольно-таки пьяный?

— Какой? Мне показалось, что вы в норме.

— Да, действительно, я был в норме... все было хорошо, я шел в гостиницу спать, так хотелось крепко отоспаться, а меня разбудил звонок. Звонили вниз, к администратору, и пришли за мной. Это был плохой, страшный звонок... Но сейчас не об этом. Я хочу выпить за моего друга Борьку Никитина. Он очень талантлив.

— С современными штучками?

— Конечно, он ищет современный способ изображения, но дух его вам бы понравился. Дух его работ чем-то связан с теми художниками, которых вы мне открыли.

— Любопытно. Он выставляется, этот ваш друг?

— Нет. У него сложная судьба...

— В чем же эта сложность? По-моему, вам всем сейчас попроще.

— Это не совсем так... Да вы и сами понимаете. Никто из нас не ищет легкости и простоты. Но у моего друга еще и особые, личные обстоятельства. Вот тогда, в тот вечер, я узнал, что погибла его жена. Ей было двадцать два года.

Мне самому было странно, что я мог говорить об этом как бы со стороны, словно чужой, некий свидетель.

— И дальше у него пошло все трудно, мытарился, искал, пил... Ну и заболел немного.

— Повредился? — спокойно и с пониманием, приложив руку к коричневому высокому лбу, сказал старик.

— Нет, просто нервы стали сдавать, бессонница, прочая муть.

— Муть,— старик оживился. Это ведь было его излюбленное ругательное слово.— Да, вокруг столько мути,— произнес он.

— Так вот, у него нет мути. Он по сути очень чистый человек. И работает серьезно, мучительно, не так, как многие... Все там болью оплачено. Последняя его работа просто удивила меня.

— Интересно, интересно,— прищурившись и как бы отвлекшись от того, что я говорил, сказал старик.

— Я привезу его к вам. Вам надо познакомиться... Как бы это было хорошо.

— Ну что ж, давай за твоего Никитина,— сказал старик.

Впервые он назвал меня на «ты», то ли забылся, то ли ощутил разницу лет. То ли потеплел оттого, что я запомнил его.

Мы чокнулись и выпили.

Он выпил четко, по-молодому, не дрогнув, до последней капли.

Старуха положила нам колбасу, огурцы, хлеб, но он не взял ничего из закуски.

Он провел по лицу сухой, с коричневой гречкой рукой. Мне показалось, он снова уходит куда-то от меня, от моего рассказа. Да и зачем ему это все... Чужие беды, картины. Он уже все знает, от всего устал. Надо уходить, наверное.

— Уже поздно,— сказал я.

— Да нет, посиди,— попросил он.— Мне редко удается поговорить.

Это была не жалоба на одиночество, а что-то другое, скорее говорящее о невозможности общения, так мне показалось.

— Я редко... сейчас,— добавил он и закашлялся.

Я встал, но он жестом остановил меня.

Я снова сел и стал пересказывать ему Борькину картину. Это было довольно нелепо (как можно рассказать картину?), но мне хотелось. Я ее ведь и видел всего одну секунду, но я рассказывал так, как запомнил. Я описывал ему лицо Норы на первом плане, лица всех, стоявших позади: всех, кого мы знали, любили, не уберегли. Впрочем, что значит, не уберегли? Просто они ушли от нас.

— Интересно,— сказал старик.— На кого же это похоже?

— А ни на кого. На многих и ни на кого. Он вобрал, пропустил через себя и свое, и чужое, и оно стало своим. Помните: все единственно в жизни. Ничего не повторяется, и все существует один раз.

— Это кто сказал?

Это была фраза Гонкуров. Но я помнил, что старик не любит ничего, связанного с модернизмом, и не стал раздражать его:

— Даже не помню, кто-то из писателей.

Он потупился, обдумывая эту фразу, но так и не выразил своего отношения к ней.

— Ну что ж, мне любопытен твой художник. Приезжай с ним, если успеешь.

Опять возникла эта тема, видно, он все время думал об этом, близость его к последней грани бытия никак не подчеркивалась им, но только иногда, словно устав делать вид, что все в порядке, ничто не кончено, он позволял себе расслабиться.

На этот раз я не стал убеждать его, что мы успеем, да он и сам не дал мне этого говорить и, подняв глаза, слабо усмехнувшись, с некоторой долей лукавства сказал:

— Ты небось думаешь, воинствующий ретроград. Это не так. Я люблю подлинность и боюсь всякого рода спекуляций. У тех художников, которых я тебе показывал, была удивительная новизна. Они шли от опыта, от чувства, они подчиняли себе прием, так как владели им. Они были мастера, по-настоящему народны.— Он помолчал и добавил: — Сейчас это слово заиграли. Произносят к месту и не к месту. Ты понимаешь, о чем я говорю? Они рисовали таких же людей, как они сами, похожих и — совершенно других. Вот это, может быть, самое главное, передать похожесть и неповторимость. А этот твой... забыл, как его зовут... умеет?

— Его зовут Борька Никитин. Запомните это имя. Да, он умеет.

— Почему же Борька? Он ведь уже взрослый,— тихо сказал старик.— У меня когда-то был сын Борька.

Женщина позади завозилась, и вновь стало тихо, старик вдруг резко поднялся, подошел к книжному шкафу, наугад, но вместе с тем точно взял какую-то книгу. Глаза

его были достаточно остры, потому что он легко нашел ту страницу и легко прочитал, не приближая книгу к себе и не держа ее на расстоянии.

Он читал неторопливо, без выражения, считая, что текст не нуждается ни в каком подчеркивании:

— «Как олово пропадает, когда его часто плавят, так и человек — когда он много бедствует. Никто ведь не может ни пригоршнями соль есть, ни в горе разумным быть; всякий человек хитрит и мудрит о чужой беде, а о своей не может смыслить. Злато плавится огнем, а человек напастями; пшеница, хорошо перемолотая, чистый хлеб дает, а человек в печали обретает ум зрелый». Знаешь, кто это сказал?

Он не стал ждать моего ответа, вспомнив или догадавшись вдруг, что не следует подвергать человека экзамену.

— Это сказал очень старый человек, еще постарше меня, Данила Заточник в письме, написанном князю Ярославу Владимировичу. Ты небось думаешь, я рехнулся на своей старине. Нет, брат, я не рехнулся, я за нее страдал. Потому что все здесь правда, все про душу говорит, а теперь народилось много спекулянтов, подражателей, лукавцев разного рода. Вот и у нас такие есть. Я понимаю, что сегодняшних детей нельзя рисовать так, как детей Темирниных. Это будет неправда. А мода, оказывается, не только на модерн бывает, но и на старину. Еще какая.

Он сел и замолчал, я чувствовал, что говорить ему нелегко, что он устал. И я стал прощаться.

Я обещал, что не исчезну на этот раз, как тогда, что приведу своего друга, может быть, даже уговорю его привезти картину, хотя это трудно. Он протянул мне руку и улыбнулся, и я почувствовал, что он более примирен, чем тогда, более добр.

«Человек в печали обретает ум зрелый...»

Но ведь сколько он узнал печали еще и до первой нашей встречи, и у него был ум зрелый, но нетерпимый... А теперь только зрелый и сосредоточенный на чем-то одном — внутри себя. Хорошо бы действительно познакомить с ним Борьку. Они найдут общий язык.

Да, да, хорошо бы...

Но другой голос не обещал мне этого, не обещал этой встречи втроем... не знаю даже что, предчувствие, что ли. Странная это была мысль и связана почему-то не только со стариком, не только с его возрастом.

Но ведь тогда не было никаких предчувствий. Теплый вечер, ночной булыжник, я — пьян, старик — тоже веселый, тогда ведь он еще не был таким стариком...

— Ну прощевай, прощевай, брат, и не исчезай на шестнадцать лет, это уж слишком много. Теперь считай срок месяцами.

Я прощаюсь, протягиваю руку старухе, чувствую прикосновение сухой маленькой руки, выхожу из квартиры, иду по лестнице, во двор, где на скамейке бесформенно слита какая-то пара.

Иду быстро, быстро, как в юности, с плотным, горьким комком, сжимаю его в горле, давлю, чтобы не вырвался, не расплескался. Убегаю от прошлого, ухожу от сегодняшнего, уже ставшего прошлым, и не знаю, не ведаю, что будет завтра.

Но как все-таки хорошо, что я разыскал старика.

Неожиданно вспоминается декан, исключавший нас, старый перевертыш, зачем-то он вспомнился мне в этот вечер, я отгоняю его от себя, и думаю только об этом старике, и молю бога, чтобы он еще пожил и чтобы остались, не перевелись на земле такие же, как он.

Я звонил Борьке, напоминал о юбилейной выставке института; чувствовал, что эти напоминания раздражают его. Вместе с тем мне казалось, если он выставится и покажет свою главную картину, то это изменит что-то в его жизни... Так мне казалось.

Но однажды позвонил Борька и сказал:

— Приезжай немедленно. У нас тут своя выставка, почище вашей — интернатская.

И я приехал, конечно. Увидев его, обрадовался: деятельный, важный, он давал какие-то распоряжения, был не то чтобы горд, но полон серьезности. Народу собралось сравнительно много: учителя, ученики, родители, представители роно.

Никаких речей на этом вернисаже, слава богу, не было. Только, открывая выставку, Борька сказал несколько слов:

— Выдающихся произведений вы здесь не найдете, к сожалению. Хорошо бы, но пока не получается. Мы еще только учимся рисовать, да и это не самоцель наша, стараемся понять, постичь, оценить красоту, чтобы не видеть

жизнь будничной или, хуже того, безобразной. Каждый раскрывается здесь, как умеет, а мы лишь помогаем раскрытию. Так что не судите нас строго... Это лишь самые первые шаги.

Работы были обычные, детские, одни получше, другие послабее. Но Борькино что-то чувствовалось. Обычно дети начинают с самолетов, ракет, а здесь были деревенские пейзажики, стада коров, спящая на жаре собака с высунутым языком, старые улочки города, заросший парк. Были, конечно, и индустриальные пейзажики, и военные сюжеты, один паренек нарисовал ветерана, видимо после праздничного вечера. Ветеран одиноко сидел на скамейке, задумался, а рядом — ребята что-то спрашивают, а он не слышит, сейчас он далеко-далеко от них, в другом времени, может быть, и в другой стране.

Висели и работы Егора, весенний пейзаж и несколько интернатских зарисовок.

Ребята разделялись на тех, кто выставился, и на зрителей. Участники были более приподняты, волновались, а остальная публика вела себя по-разному — одни с сочувствием и интересом, другие с чем-то вроде насмешки.

А те, участники, все шептали «Борис Иваныч», «Борис Иваныч» и подходили к нему. Уже давно я не слышал, что его зовут по имени-отчеству... А то еще «шеф». «Шеф передал», «шеф сказал»...

Что-то странное было в этом детском признании; видимо, ему это было необходимо и нужно, давало опору, и вместе с тем, по сравнению с тем, что *сам* он мог дать, это было малостью, которой мог заниматься и кто-нибудь другой.

С другой стороны, я и не понимал до конца: может быть, вдохнув что-то в них, он получает необходимое, единственное для себя, а мне такой дар неведом, а потому и непонятен?

Кто знает?

«Шеф велел», «шеф поручил»...

Ходила гордая жена Бори, счастливый, никого не видящий Егор. Потом устроили что-то вроде банкетика, такой ученический банкетик за длинным столом с маленькими бутербродами и бутылками сладкой воды...

Все это возвращало меня к давно забытому и вечно в тебе живущему, к собственной школе, к таинственным ее

коридорам, пустым во время праздников и уроков, к туалетам, пахнущим карболкой, где дрались, отсиживались от контрольных, писали и передавали шпаргалки, или точнее шпоры.

— Ну что ты такой хмурый? — говорил Борька.— Тебе не понравилось?

— Да нет, хорошее дело... Хорошее,— пробормотал я.— И банкетик хороший с газированной водой. И все такое хорошее и полезное. Только смотри не разбросайся. А то ведь свою картину разменяешь на детские рисуночки.

Борька как-то с вызовом посмотрел на меня и сказал:

— Не боись, прорвемся.

Это было тоже старое выражение из времен нашей школы. Никто тогда не говорил «не бойся» — «не боись».

Так мы стояли в отдалении от безалкогольного пиршества, глухого звона граненых стаканов, взвинта ликующих детских голосов, напутственной торжественности взрослых тостов. Длинный коридор поблескивал в сумраке таблицами, стендами, неясно белевшими лицами великих людей. Пахло школой, но еще больше из раскрытых, распахнутых окон — весной.

И тот и другой запахи были одновременно и радостны и мучительны, отсылали, возвращали к тому, к чему возвратиться нельзя.

Коридоры время от времени сотрясались от шума поездов. Вокзал был близок, и это обостряло ощущение скорого отъезда, предстоящей разлуки.

Подошел Егор, вернее не подошел, а прошел, чуть замедлив ход и посмотрев на Борьку, то есть не на Борьку, конечно, а на своего «шефа».

Тот перехватил его взгляд и сказал:

— Я сейчас.

Мальчик пошел дальше, уже почти его и не видно было, только рубашка чуть белела, он добрел до конца длинного коридора и медленно пошел обратно.

Все это сейчас не казалось важным; но выставка выставкой, дело, разумеется, полезное, но ничего ведь в Борькиной судьбе не решает, ну хорошо хоть повидались, хоть повод был и приятный... А важным-то казалось другое.

Но что другое?.. Разве я знал тогда, как все повернется.

— Слушай,— сказал я Борьке.— Есть в Ярославле замечательный старик. Он реставратор. В прошлом, после войны, в пятидесятые годы спас много картин, отменный знаток XVIII—XIX веков, всех волжан знает досконально. Мы знакомы уже шестнадцать лет.

— Ну и что?

— Он хочет познакомиться с тобой. Посмотреть твою картину.

— Вот устрою выставку в Москве, ты его и пригласишь,— все еще не принимая всерьез мои доводы, моего старика, чуть высокомерно отмахивался Борька.

— Ты зря так... Неизвестно, сколько ему осталось... Удивительный старец, таких сейчас нет. Тебе надо повидаться с ним, поговорить... Он тебе многое может сказать.

— Зачем мне твой старец? И что он мне может сказать? Может быть, он знахарь, но я ведь не болен.

Непонятное упрямство, какая-то жесткость, непременное желание оттолкнуть — то ли это действительно было в Борьке, иногда я ведь замечал это в нем, а может, просто оттого, что он не видел того старика, не представляет себе.

— Тот человек болен, я не зря тебе говорю о нем. Знаешь, дар понимания тоже редок, как дар творчества.

— Ну уж, заговорил друг... Уж больно высокие материи,— уже смягчаясь, сказал Борька.— И к тому же, как я эту картину попру? Она ведь огромная. Да и что говорить сегодня об этом? Видишь — какие у нас здесь дела.

Действительно, уже звали, уже требовали его присутствия и тянули свои стаканы с лимонадом, чтобы, взметнув их над столом, торжественно чокнуться с ним.

Да и видно было, как по коридору, взад-вперед, белея рубашкой, ходит мальчик; ждет шефа и отчего-то нервничает.

— Ты не останешься? — спросил Борька.

— Нет, я поеду последним, ночным.

— Ну давай.

— Давай.

Мы обнялись.

Я быстро проскользнул по коридорам, спустился по лестницам, и вот уже двор, и в вечернем холодке остро пахнут тоненькие деревца с карликовыми пучками

почек, луна молочно обливает их, и они кажутся восковыми.

Я испытал неожиданное облегчение оттого, что наконец покинул это здание, остался один, какая-то полузабытая, рвущаяся и одновременно назойливая связь со школьным выпускным вечером все время мешала мне, будто что-то перепуталось, и я попал не туда и не в то время, и я не хотел возвращаться туда, но меня словно насильственно возвращали... Честно говоря, мне никогда не казалось счастливым заоблачное школьное время, или, если уж быть точным, то время-то воспринималось как счастливое, только оторопь от самой школы, казалось, останется на всю жизнь.

Из всей этой тяжелой и одновременно распадающейся, безумно летящей, как кусочки ртути в разбитом термометре, массы, вспоминалось с радостью и с болью только мальчишечье, чуть безумное лицо моего учителя рисования. Да и то к школе он никакого отношения не имел. Он был человек из студии.

А сейчас назад, в Москву.

Близко, в голых весенних кустах просвечивает и словно бы движется вокзальное здание.

Я уже рванул на невидимую, но знакомую мне на ощупь тропинку, освобожденно, легко дыша, физически чувствуя радость одиночества и возвращения домой, как кто-то перегородил мне дорогу.

Рослый человек в плаще, прямоугольно висевшем на его разверстых плечах, шел навстречу, лоб в лоб; сигарета, ходуном ходившая в его зубах, неприятно осязаемо освещала крутой подбородок с седыми точечками выбритых и отросших к вечеру волос.

— Извините.

В этом «извините» крылся еще некий смысл, а может быть, даже жест, точно он собирался арестовать меня.

— Извините, у меня к вам два слова.

— Слушаю, но только два... Я опаздываю на поезд.

— Я могу вас проводить.

Что-то заледенело в животе при мысли о таком провожатом.

— Говорите здесь.

Я посмотрел на него. Держится прямо, с военной выправкой, плащ темный, очень длинный, по моде прежних лет, прорезиненный, бритая голова Котовского.

— Вы друг этого самого... художника... Никитина. Я вас часто тут вижу.

Странно, что я не видел его ни разу.

— Скажите, пожалуйста,— произнес он, стараясь быть предельно вежливым и как бы зажимая что-то внутри себя, какую-то бурлящую внутри него, почти ощутимую мною истерику.— Скажите, пожалуйста, вам не кажется, что вся эта беготня, все эти затеи с художествами — е-р-у-н-д-а! Вредная и опасная ерунда.

— Как так?! Вы что, с ума сошли?

Я даже не знал, как с ним говорить, то ли немедленно послать его на три буквы, то ли сдержанно и осторожно объяснять, какое важное и прекрасное дело делает мой друг. Я не имел опыта объяснения с такими людьми.

Следующая его фраза была произнесена странным, сорванным голосом, мне показалось на миг, что он не в себе.

— Я занят, а он пользуется этим. Он отнимает у меня сына.

Я услышал как бы глухой и ухающий отзвук сдерживаемого рыдания, что-то филинское было в этом звуке.

— По-моему, он отдает все силы вашему сыну. Он развивает в нем...

Он так пристально, в упор посмотрел на меня, что я остановился.

— Я чувствую, мы не поймем друг друга,— сказал он.

— А зачем нам понимать друг друга? Этот художник, как вы его называете, кроме всего прочего, прекрасный педагог, и он отдает всем, и вашему сыну в особенности, так много, больше, чем в силах человеческих. Неужели это непонятно?

Я говорил эту фразу словно самому себе, физически ощущая, что тот меня не слышит и не хочет слышать. Он мрачно, как мне показалось, язвительно, молчал.

— Так, все понятно,— прежним прокурорским тоном, словно подводя черту, отрезал он. И неожиданно вновь, с прежним же оттенком рыдания, но уже, как мне показалось, механически, по-филински ухнул:

— Он отнимает у меня сына.

«Бедный, бедный Егор, ну и не повезло тебе».

— А чего бы вам хотелось? — почти кротко спросил

я.— Чем бы вы хотели его занять? Что заменит ему эти художества?

— Это у нас найдется. Можете не волноваться.

— И что же это?

— Вам хочется знать? Пожалуйста, никаких тайн. Сад!

— Какой еще сад?

— А вот такой... Уникальный сад с редкими цветами. Я уже несколько лет развожу их.

— И что же, на продажу?

— Частично, определенную толику для поддержания сада, но многие цветы я экспонирую на выставках.

— Но вы ведь не подпускаете, кажется, никого к вашему саду?

— Почему же? Откуда это вам известно? Специалистов подпускаю.

— Ну, а если не специалист... то... ключом по бровям?

Он замолчал и начал шепотом, будто потерял голос:

— Вранье все. Никакого ключа... Я не подымал руку... на сына.

Голос его истерично и резко подымался от шепота к взвизгу; я чувствовал, что он нарочито проигрывает свою истерику, что своим сумасшествием он управляет сам.

— Вы не думайте, я много повидал. Я воевал, я работал и я не привык, но пусть запомнит тот, кто подымет руку на меня или на моего сына...

— Я опаздываю на поезд. Если нужно, объясняйтесь с Никитиным.

Он замолчал, на лице его промелькнуло что-то, напоминающее обиду, какая-то тень обиды и странного непонимания. Он так искренен, а его не хотят понять.

И уже с холодком, уже без интереса, глядя не на меня, а глядя вниз на землю, закончил:

— Хорошо. Мы объяснимся.

Я обогнал его, ускоряя ход, переходя почти на бег, оставались считанные секунды до поезда.

Еще я подумал: «Может, вернуться, сказать Борьке? Да нет, плохая примета — возвращаться».

Спиной я чувствовал, что этот человек стоит, не уходит. Массивный, широкий, точно монумент в прорезиненном плаще. А я к нему спиной... Но все дальше, дальше, все ближе к вокзальным огням.

К таким опасно поворачиваться спиной.

На следующее утро я позвонил Борису и рассказал ему о неожиданной встрече.

Он слушал молча. Потом устало сказал:

— Да, все это мне знакомо. Он буквально преследует парня. А теперь, кажется, принялся за меня. И никак его не возьмешь. Где надо, он прикрывается справкой о психике, о нездоровье. В других местах он отставник, общественник, здоровый человек... Все борется с молодежью по разным поводам, отстаивает свой сад. Ну да ладно, не с такими встречались

— Смотри, мне он не понравился.

— Тебе. Мне ох как он не нравится... Главное, за мальчишку боязно. Ну хватит об этом.

— Какие у тебя планы?

— Какие там планы. Отдохнуть надо. Вот втроем, с Катей и Егором, уйдем на плотах. Ты с нами не хочешь?

— Дел полно. А когда поедем к старику?

— К какому еще старику? К Мастеру?

— Что у тебя за память дырявая? Я же тебе говорил, талдычил о старике из Ярославля, а ты все забыл.

— Поедем. Поедем.

Хотел еще спросить о его картине, но не стал. Знал это его суеверие — нежелание говорить о работе, о главном. Звякнул зуммер, трубка повешена, поплыли, полетели, настигая один другого, коротенькие гудочки.

Синим сигнальчиком вспыхнула тревога, и надо было что-то сделать, может быть, даже и не сделать, а хоть поделиться ею с кем-то.

Рука тянулась к телефону, номера товарищей отвечали пустыми, безжизненными гудками, уносящимися куда-то. Среди этих безответных номеров был и Сашкин; начиналось лето, пора разъездов, отпусков или, наоборот, заработков, вольных поисков, заказов...

В конце концов я набрал номер Мастера. Зачем? Чего ждал от разговора?

Я подумал о нем и вдруг вспомнил, что за всю-то жизнь был дома у него всего один раз.

Он по-прежнему присутствовал в нашей жизни, но мы никогда точно не знали — присутствуем ли мы в его. Если б я стал писать о нем воспоминания, то лишился бы возможности заметить, как это принято, что вокруг него

всегда «кружились молодые таланты, что под его благотворным приглядом, как грибы под щедрым дождем, подрастали и поднимались ученики, те самые, которые вот-вот уже начнут обучать и своего учителя, осуществляя вечный закон взаимосвязи поколений». Ничего подобного. Общение с ним было скупым, редкие встречи в редакциях, в отделах художественного оформления, на заседаниях и секциях творческого союза, на выставках.

В общественных таких местах он виделся далеким, чужим. Я никогда не подходил к нему первый, иногда казалось — может и не узнать. С годами он не стал бронзовым, не превратился во всеобщего мэтра, но говорил все же нарочито скупо, весомо, как бы чувствуя взвешенную тяжесть, необходимость каждого своего слова. Еще бы, к нему подлетали, подходили, просили о чем-то. Видимо, он и жил постоянно в ощущении всеобщей нужности.

Я чувствовал иногда — это не из важности, а скорее оттого, чтобы сберечь себя, сохранить дистанцию, не разрушить какой-то устоявшийся покой, может быть даже не покой, а скорее определенное состояние «над схваткой», над всеобщей суетой, скрывая собственную суету, делая ее невидимой постороннему глазу, для того чтобы сохранить рабочую форму, или еще, как пишут иногда журналисты, «настрой». Это бодрое слово, впрочем, меня всегда отвращало.

Он мало перед нами раскрывался. Да мне кажется, что не только перед нами и не от замкнутости, не от застегнутости на все пуговицы это шло. Никогда он не был закрыт, но вместе с тем с первых дней и до последних мы знали приблизительно, до какой черты близости можно дойти, какую не следует переступать. У нас были педагоги, любившие говорить о своих удачах или неудачах, о судьбе, о времени, о несостоявшемся и состоявшемся, они могли и казнить других и сами казниться, в определенном возрасте невидимо возникает потребность в такой вот исповеди — на людях.

Ничего подобного мы не слышали от него.

Интересно, что он значил для нас больше, чем сам предполагал, наверное, от этого мы хотели, чтобы он был своим, а своим он не становился.

И только среди чужих мы чувствовали его своим.

В людских водоворотах, на выставках, на всяких обсуждениях встретишься с ним глазами,— вначале разоча-

рование, то ли он не узнает, то ли занят собой, какая-то пустота, первая мимолетная стыковка всегда не удавалась, только потом он разрешал приблизиться, словно что-то в себе перепроверив, надо ему это или нет. Он подзывал, спрашивал, и ты рассказывал послушно, как давно, в ученичестве, а он, кивая, слушал.

Кто-то еще подходил и тоже рассказывал, и он слушал и того, и тебя; неизвестно, что доходило до него и что было ему важней. Иногда казалось, что оба, а иногда — что никто, что он — сам.

Я удивлялся его осведомленности в наших делах,— все-то, или примерно все, он знал. Редко в этих случайных встречах давал оценки, но сам факт того, что запомнил, было оценкой: как же, слежу, слежу... Иной раз одаривал без излишней щедрости: ничего, нормально. И тут же добавлял, и тут же делал замечание, почти всегда точное, откуда это он помнил?

Это и в институте удивляло: смотрит почти без интереса, думает о своем, далеком, глаза вроде бы направлены мимо твоей картинки, как бы обтекают ее, но вдруг бац: задели, заметили в твоем на вид складном изделии изъянчик, ошибку, и вот уже сам понимаешь: строение кособокое, скоро поползет.

Другие мэтры были темпераментнее, щедрее. Кричали своим: «Старик, это гениально!» или наоборот: «Это убожество, старик, куда это годится!», а он никогда не употреблял это слово «старик». И когда хвалил, то точно жадничал, взвешивая на аптекарских весах, боясь выдать миллиграмм лишнего.

Да, в воспоминаниях я не мог написать, что он был тем учителем, которому звонишь по любому поводу, чтобы показать новую работу, спросить совета, задать вопрос: как жить дальше?

А последнее — было иногда так необходимо.

Впрочем, вовсе не запрещалось обращаться к нему. Другое дело, что не отзывался, как таксист, на первый окрик, но мы всегда знали, если действительно очень надо, то можно встретиться.

Но за все годы дома были у него всего один раз, вместе с Борькой, после восстановления в институте.

Даже собирались купить ему подарок, стали размышлять, что же именно, какую-нибудь вазу, но глупо, он ведь не стоматолог, не дантист, может быть, тогда бутылку лучшего армянского коньяка, да тоже как-то не совсем удобно.

Борька еще сказал:
— Порыв хороший, а идея ложная.
Я удивился.
— Как это так?
— Да так, представь, вваливаемся с подарочком. За что? За то, что нас спас. Так за это, мой хороший, другим отплатить надо... Картинами бессмертными, к примеру. А мы по дешевке бутылочку Мастеру, подарок, подарунок.
— Нужны ему наши рисуночки, у него небось на стенах...
Трудно было представить, что у него на стенах. Может, какой-нибудь средневековый Липпо Далмазио. Он любил малых великих художников... «Широкой публике почти не известен Липпо Далмазио,— как бы обижаясь за этого Липпо Далмазио, говорил Мастер,— а напрасно. Конечно, он не попал так в струю, как Рафаэль, не повезло, а может, и действительно был чуть послабее... Художник второго ряда. Но посмотрите».
И он показывал нам репродукции.
У Липпо Далмазио были нежные, просветленные мадонны, почему они были не столь знамениты, как те, что отделяли от толпы решеточками, те, которые раз в столетие в клочья рвали и резали сумасшедшие?
А на этих прелестных мадонн никто не покушался, хотя они были ничем не хуже. Впрочем, что значит «хуже», «лучше»? Это все равно что сравнивать моря или реки, чем, например, Эгейское хуже, чем Черное? Просто оно другое.
Великие мастера второго ряда... Отчего вы так любите их, наш учитель? Может быть, вас угнетает историческая несправедливость, а может, и себя вы считаете великим мастером второго ряда?

Мы купили ему цветы.
Борька выбирал, торговался с теткой на площади Революции; выторговав полтинник, купил хороший букет тюльпанов, а уже на подступах к дому Мастера стал ворчать: «Будто гимназистки какие-то».
Я молчал. Его противоречивость иногда становилась мелочной и раздражала меня. Я вырвал из его рук букет тюльпанов, поискал глазами урну.
И тогда Борька вздохнул, сказал с детской жалостью:
— Все-таки трешник, да и цветы красивые.

Вздох о трешнике и остановил мою руку.

Он мог прогулять много. И тогда о деньгах не думал, но даром — так, впустую,— в урну, да еще такие красивые... Это было, видно, выше его сил. Так и пошли с цветами.

Дом, к которому мы пришли, чем-то напоминал тот, в котором я родился. Но более серый, темный гранит, мрачноватые маленькие окна на мощном конструктивистском фасаде, словно на крупном лице маленькие детские очки.

Это был один из вариантов, один из типов дома, в котором, как мы предполагали, и должен был жить наш Мастер. Уж никак не представляли мы его в новеньком, свеженьком, панельном доме новостроек или в новом, розовеньком как вафля, из тех, что выстраивались уже тогда, расталкивая двухэтажные покосившиеся домики уходящей Москвы, те, что не представляли исторической ценности и были непригодны к капитальному ремонту; потом бульдозеры сносили и их, иногда еще они стояли приговоренные, как бы полуживые, с пустыми, слепыми проемами окон.

А сегодня, через десять лет, они кажутся чудом, и на каждом таком сохранившемся хочется повесить «охраняется государством». Двухэтажные, трехэтажные, с грубоватой лепкой, колоннадой, иногда даже и без этого, не отмеченные рукой знаменитого архитектора, не возвышенные проживаниями великих людей, заурядные, может быть, даже, по современному говоря, типовые дома отшумевших далеких времен.

Мне казалось, они тоже напоминают великих мастеров второго ряда.

Мастер же жил в доме середины тридцатых, несколько более старом, чем мы сами.

И квартира его, и встреча тогда разочаровали. Мы шли переполненные благодарностью, жалко мяли цветы, мечталось о задушевном долгом разговоре, а он встретил нас озабоченный, на цветы даже не поглядел, просто швырнул куда-то, провел коридором в кабинет и надолго нас оставил.

В доме невидимо присутствовал дух тревоги, нервозности, какой-то житейской неразберихи.

Все время звонил телефон. Жена Мастера (я почти не разглядел ее, помню, что показалась мраморной статуэткой, с невидным, невзрачным личиком) кивнула почти не глядя, без интереса, как молочнице, почтальону или га-

зовщику, и даже с каким-то неудовольствием, точно газовщик пришел не вовремя, а почтальон принес не ту телеграмму. Я, помню, подумал, что мы для нее именно из такого разряда, впрочем, скорее всего еще худшего, из тех, что не часто приходят в дом, но все же назойливо, постоянно присутствуют в нем, досаждают просьбами, толкутся где-то у окна, в ожидании помощи. Мы были из разряда учеников.

Кивнула, что-то взяла, куда-то ушла. Странно, что это была жена нашего Мастера. Мы видели ее в первый раз и в последний.

Действительно, я потом узнал, она исчезла из его жизни как раз в то время, и как раз в то время он расставался с ней; почему-то не хочется говорить «разводился», не хочется видеть Мастера стоящим перед народным судьей, объясняющим причину развода, как это было принято в те суровые годы, или делящим квартиру. Впрочем, он, кажется, и не делил.

Он остался в этой же квартире. Потому что во второй приход мне был дан тот же адрес. Видимо, Мастер каким-то образом — думаю, самым благородным,— решил жилищные все проблемы.

Почему, относясь к нему с уважением, даже с почтением, я иногда невольно думаю о нем с иронией?

Не могу точно определить. В конце концов он делал нам добро, просто мы не хотели и не умели видеть его человеком, мы хотели подсадить его если не на пьедестал, то на подставку, а он не подсаживался. На пьедестале ему сидеть было вовсе неудобно, он и там остался бы человеком, а человеческие черты, как известно, не идеальны.

Вот и в тот раз дух суеты витал над ним, причем внешне это почти не выражалось. Почти... Если приглядеться, если знать его, то можно было уловить, что движения слишком отрывисты, он словно забывал, что мы тут, прерывал разговор на полуслове, что-то все время искал в письменном столе, шкафу и не находил. Было странно: в институте он всегда был так спокоен, сосредоточен, мы мельтешили, а он не зло, не свысока, взирал на нас, здесь же чувствовалась скрытая растерянность, именно скрытая, он был немногословен, как всегда, но вдруг переспрашивал нас, точно был глуховат, а когда мы стали благодарить, он сказал с раздражением: «А... вы все об этом...»

Будто каждый день нас исключали и каждый день кто-то помогал нам восстановиться.

И еще раздражала меня возня с собакой: огромный псина, невероятно игривый, приставучий дог, все время был в центре внимания в этой квартире, жена звала его и кому-то невидимому громко объясняла, чем кормить пса, его звали Ингулом, называла прямо-таки блюда из ресторанного меню, не порционные, конечно, но во всяком случае хорошие дежурные.

Мы были голодны и возненавидели дога, с его грозным богатырским экстерьером и младенческим нравом, этого бумажного тигра, жрущего калорийную человеческую еду: молоко, мясо, кашу, в то время как мы были голодны. Особенно ненавидел пса Борька, пес ласкался к нему, а Борька тихо, чтобы не увидел хозяин, рыкал на него.

Я удивлялся, я знал, что он любит всех уличных собак, готов подцепить лишай, но обязательно погладит бродячего пса; эти ничьи собачонки так и волочились за ним до самого общежития, и он прикармливал их чем мог. А здесь он, казалось, мог пристрелить красавца Ингула, на обратном пути поливал его последними словами и говорил, что псы не должны жить в квартирах как люди, а люди не должны жить как псы в каких-то каморках, что псы — для того, чтобы сторожить людей, а люди...

Единственный просвет во всей этой бессвязной и тусклой встрече с Мастером возник, когда Мастер вдруг остановился, сел и сказал, вздохнув, снимая с себя тяжесть незнакомой нам, еще более тяжкой суеты, которая ему, видно, только предстояла:

— Хватит думать о чужой несправедливости. Эта история очень неприятна, но вы еще вспомните ее с благодарностью. Да, да, вы поймете меня, сейчас не останавливайтесь на ней. Ну а моя роль... по-настоящему она естественна, другое дело, что в искусственных условиях бывает трудно играть естественные роли... Это трудно, но не слишком... Во всяком случае, не смертельно.

Мне показалось, что он еще что-то хочет сказать об этом, что-то объяснить нам, но минута тишины прошла, передышка кончилась, и вновь возникла в его квартире какая-то нарастающая возня: сотрясая стены, забегал накормленный пес, зазвонил телефон, жена, с которой что-то происходило, с кем-то разговаривала в соседней комнате, слов не разобрать, но голос слышен, красивый, грудной, несколько задавленный.

Наш учитель вышел и не появлялся долго, будто забыл, что мы здесь.

Это было для нас не ново. Он и в институте так исчезал.

Когда мы прощались, уходили, он снова стал таким, как обычно,— спокоен, чуть угрюм, ощущение недосягаемости вновь восстановилось, он дал несколько указаний по этюдам, распорядился насчет практики, больше я ничего не помню.

Помню только, уходили из его дома с некоторым разочарованием, ждали все же другого; ведь не так уж часто удается увидеть учителя дома, что называется в туфлях и халате, не так уж часто тебе предоставляется возможность поговорить с ним в домашней обстановке, спокойно и что называется по душам.

И потому мы ругали пса, будто это он нам помешал. Да, именно пес был виноват в том, что встреча не удалась. Как легко было его ругать, пролетая вниз маршами длинных лестниц, мимо обитых дверей с табличками, с фамилиями людей, знакомых всей стране.

Не простой был этот дом, здесь жили знатные люди, здесь дежурная спрашивала, к кому ты идешь и откуда уходишь. А нас особенно подробно.

Мы пролетали по лестнице, по этажам, думая о себе, о тех домах, в которых еще будем жить.

Впереди было действительно еще много домов.

А сейчас улица, кафе, две кружки пива, сосиски, я и Борька. Мы разные, но и единое целое, еще ничто не разделило нас.

И последнее из того дня: странно, что я не запомнил, какие картины висели у Мастера. Помню, что было несколько картин, меньше, чем я думал, но все-таки были.

И никакого Липпо Далмазио. Ведь у Мастера не музей, а обыкновенная квартира.

А своих картин Мастер на стену не вешал.

Прошло пятнадцать лет и я должен был увидеть Мастера, чтобы поговорить с ним о друге.

Таков повод. А причина — другая. Хотелось говорить о нем, о Борьке, но немного и о себе. На той стороне провода голос глуховатый, мало измененный телефоном, молодой. Менее всего старятся голоса. «Кто его спрашивает?» Я назвался.

Было мне известно по нечастым моим звонкам, а также звонкам друзей, что в последнее время Мастер как бы сам секретарит себе; чуть-чуть изменив голос (людям не нужным, не допущенным), заявляет, что в данный момент он в отъезде.

Потому, назвавшись, с некоторой тревогой я выждал: как среагирует, не уехал ли куда-нибудь внезапно? Нет, не уехал.

— Да, да, конечно.— И тут же добавил: — Ну как ваши дела?

— Вот об этом-то я и хотел, если можно.

— Хорошо. В пятницу, часов в шесть. Устраивает?

Не очень устраивало, но чего тут торговаться...

— Да, конечно. Спасибо.

И второй раз в жизни я отправился к нему. Хотел взять что-то из графики, воспользоваться редким случаем, показать, но не взял. Всякий раз получается, что использую его для оценок. Какой-то вечный урок, из года в год переползающее занятие по мастерству.

Нет уж. Сегодня без папочек с листами.

А для чего же тогда? По какому делу? Борькины проблемы, о его выставке? Об интернате?.. Да. А что еще?.. Ведь было же еще что-то.

Оно, это «что-то», не в последнюю очередь толкнуло меня на звонок. Но как об этом говорить с не имеющим лишней свободной минуты человеком, с профессионалом, который, как мне известно, любит конкретность и четкую ясность в постановке любого вопроса?

А это что за вопрос... Он довольно смутен. Мне до конца самому непонятен. В сущности, безответен.

Он звучит примерно так: как дальше?..

И может быть, важнее, чем то, чтобы тебя выслушали, высказаться самому.

Но как выскажешься? Как объяснишь, что идет пробуксовка, топтание на одном месте, ожидание того самого «второго дыхания»? И что это такое, второе дыхание? Его ведь можно ждать до второго пришествия, пока первое не испарится навек.

Да, раз так, будем говорить языком спорта... Ну вот примерно так. Планка на приличной высоте, а я ее беру, далеко не многие смогут ее взять, и узкий круг судей и арбитров, специалистов уже знает, на что ты способен, что

ты достаточно прочен и можешь с легкостью перемахнуть через эту планку, а может, даже и через более высокую.

И ты в своем тройном прыжке, или каком там еще, входишь в десятку, двадцатку, тебя возят на состязания, отправляют в другие города, иногда доверяют тебе защищать честь и за границей.

Ты не бьешь рекордов, но не беда, редко кто бьет рекорды, да и держатся они недолго. Важно, что ты не опускаешься ниже своего уровня.

Что же еще тебе надо? Все-таки тянет к рекорду, к немыслимому результату, к езде в незнакомое, к высоте, над которой еще не зависала нога человека. Так тренируйся днями и ночами, режимь, посвяти жизнь побитию рекорда и проч. проч.

Но беда в том, что к рекорду не тянет, хотя неплохо было бы его установить, хотя бы на республиканском уровне.

Беда в том, что надоели сами эти прыжки в высоту. Само это ножницеобразное движение ногами, отталкивание и взлет. Взлет так недолог, собственно говоря, это не взлет, а просто краткий миг перемахивания через планку, падения в яму с песком.

Чего же хочется? Может быть, ты и сам не знаешь?

Нет, знаешь примерно... Бежать долго, ощутить уходящее, тающее пространство, бесконечное и поглощаемое тобой вместо закутка квадратика, угла, с планками для прыжков.

Хочется заниматься другим.

Ксилография, линогравюра, гравюра на нитролинолеуме, на целлулоиде, офорт (от французского «крепкая вода») и самый обыкновенный графический рисунок, лучше всего тростниковым пером. Сколько убито времени на это. Сколько попорчено металла и дерева, сколько притуплено сухих игл.

Почему же так безнадежно? Ведь получалось. Хвалили, а иногда и нравилось самому, и даже призы, премии, «лучшая книга года». Да, но не в этом дело, не хочется никакой книги... Другого, другого, того, к чему тянулся с первых лет, когда начал заниматься этим вообще, распахнутого, просторного, не черно-белого и не цветного, а такого, как день за окном, как вот этот вечереющий, уходящий день, с его движением, людьми. Какой он? Легче всего написать его сиреневым, как это делалось тысячекратно, но у него другой тон, другой цвет. Какие соеди-

нения нужны, чтобы его воссоздать, чтобы он был настолько непохож на этот реальный цвет за окном, настолько непохож, чтобы все признали: да, только так и бывает, только мы увидели так впервые...

Но этого еще мало. Мало цвета дня. Есть гораздо более важные вещи или такие же важные: то, что ты пережил, потерял, узнал, те лица, которые еще недавно смотрели на тебя и которых уже нет, то время, которое видоизменяло эти лица, делая несчастных счастливыми, а чаще счастливых несчастными, старых молодыми, чаще — молодых старыми, время, в котором столько раз ты орал, кричал, хрипел: «Остановись... да, да, ты, то самое, мгновение, или как там тебя, именно ты, восемнадцать часов пятнадцать минут до восемнадцати тридцати, остановись, ты прекрасно». Нет, черта с два, оно неслось как и положено, летело, махнув тебе рукой, а иногда и не заметив тебя, послав тебя к чертовой матери, летело дальше, наполняя тебя отчаянием, что все твои надежды, иллюзии, сборы к жизни, долгие приготовления, все — ничего. Какой-то холостой выстрел, лопнувший на морозе, не родивший даже дымка...

— Вам надоела книжная графика? — спросил он, глядя на меня с неожиданным вниманием.

Обычно он смотрел сквозь, мимо.

И тут же сам себе ответил:

— Да, ею можно переесться, тем более выбираете не вы сами, вам дают. А вы сделайте так, чтобы вы предлагали условия, а не они.

«Ах, в этом ли дело? — думал я.— И не надоела вовсе, я делаю не потому, что надо, а потому, что привык, и люблю, и умею».

Но ведь хочется наконец вырваться из этого малого листа, из подчинения чужому замыслу... Конечно, это всегда контрольная, ты примерно знаешь ответ, примерно знаешь. Развернутые форзацы, кубики домов, цветовой удар, штрихи, производственные ограничения и другие табу, еще более важные; так не пройдет, но ты качаешься на грани; и действительно, так не проходит, и срок — неделя, а тебе хочется работать год — и над другим.

Так что тебе мешает? Ведь десятки твоих товарищей так и работают, одни на рынок, другие — для себя, и те, которые для себя, тоже в конечном счете на рынок.

Десятки людей делают так. Можно помножить их на двое. В каждом из них ведь два человека, два художника, рисующих разное.

Разное?.. Но разве так возможно всегда? Так можно недолго, вначале, чтобы укрепиться, выстоять, да и то неизвестно, выстоишь ли так.

Выстоять можно иначе — выражая то, что тебе самому необходимо, единственно необходимым способом...

Да, так. Так тянутся к чему-то подсознательно, всю жизнь, угадывая, что это твое и есть, тянутся, но все не могут начать. А как начнут, так окажется, что уже и не умеют, не могут, да и время вышло.

И ты отвечаешь Мастеру, пытаясь собрать все это в деловую формулировку, в формулу, но получается расплывчато:

— Я и сам уже выбираю то, что хочу, выбор не так велик... Но я не делаю то, что мне антипатично хоть в малой степени.

— Да, да, конечно, и нельзя,— думая уже о чем-то своем, говорит Мастер.

— Но мне кажется, живопись...

— Вам кажется,— ворчливо говорит Мастер,— так где это?.. Я не помню. Я знаю вас только по книгам, по гравюрам... И кажется, один юношеский портрет. Может быть, у вас есть что-то другое?

И опять же, как ему объяснишь? Есть, конечно, коечто, начатое, незавершенное, брошенное, можно бы и вытащить, и выставить, и довести до конца, ей-богу, было бы совсем... Но зачем, когда видишь уже другое? «Другое, другое, но что это за другое, где оно, наконец? Если его нет, так хоть объясни, что называешь этим самым другим: другой способ, что ли, изображения, сколько таких способов было и еще будет... Да нет, при чем тут способ».

Уже видится иначе, не так буквально, вне связи с прямой задачей, конечной целью, даже с замыслом, да, да, с замыслом, он ведь часто и губит, этот самый замысел. Он ведь и просвечивает в каждой фигуре, та же задача в контрольной. Замысел осуществляется жестко и четко; но когда его закончил и осуществил, на пути терялось что-то, ради чего все и начиналось: в замысле отрывался от тысячи ассоциаций, сопоставлений, от памяти, от той

главной памяти, что растворяет замысел во что-то внешне более от него отдаленное, но на самом деле более с ним связанное, в новую реальность, в то самое остановленное мгновение, схваченное, запечатленное, уже оставшееся навсегда с тысячей примет и подробностей, которые смутно бились над твоей головой, и ты не мог собрать их в фокус, они липли к свету, как в жару ночью на юге липнет к свету и бьется вокруг лампы ослепшая, беспомощная мошкара.

— Кажется, я уже знаю как... Поэтому я не могу по-старому. Поэтому все, что я делаю, мне кажется продолжением одной отыгранной темы... Я уже устал от нее, но...

— Не можете решиться?

— Не знаю. Наверное. Я слишком плотно существую в реальности. Я исполнитель заданий. Когда я его заканчиваю, я вижу, что оно лишь наполовину мое.

— А наполовину?

— А наполовину всех остальных.

Он помолчал и неожиданно сказал:

— Наполовину — это не так уж мало... Да, не так уж мало. Не огорчайтесь.

Я впервые оглянулся. Комната показалась меньше, чем тогда, хотя и была пустой. Помнится, я вспоминал все время, какие у него картины, и ничего не мог вспомнить.

Так вот, никаких картин. Несколько листочков, две гравюрки, правда, Добужинского и в тоненькой рамочке сощуренные глаза Хаджи-Мурата. Это Лансере. А дальше пустые стены с какими-то темными квадратами, будто здесь стояли шкафы и их перетащили, что-то нежилое было в этой тихой опустевшей квартире.

— Ремонт, ремонт,— сказал он вяло.

Похоже на то, что он был нездоров.

— Зря вы не показываете вашу живопись... Судя по всему, что-то есть. Незаконченное не надо показывать. Вам раньше немного не хватало свободы, легкости, ну, знаете, отрыва от земли. Да, да, нужно отрываться, нельзя стоять пудовыми ногами. Но я помню несколько ваших работ. Вот эту самую...

Он замолчал. А я не знал, что он имеет в виду. Было бы неприятно, если бы он спутал мою с чьей-нибудь еще. Так ведь тоже бывает. Ведь у него сколько таких, как я.

— Да, да... Кладбище, где-то в Сибири. Так ведь?

— Да, было такое.

— Ее еще не приняли на выставку. Я помню, помню. И недурной женский портрет, немножко под передвижников, чуть-чуть устаревший. А знаете, в чем вам не повезло? Вы не попали в водоворот.

— То есть?

— А просто вы должны были настоять и выставиться с той работой. Потом бы вас раздолбали... Но вас бы крепко запомнили.

— Я пытался выставиться, я настаивал... Потом я и выставил эту работу, через несколько лет.

— А надо было тогда. Стоять насмерть и выставиться. А через несколько лет — не в счет. Все устаревает...

— Все?

— Великое не устаревает, но мы редко знаем, что это такое великое. Мы понимаем его, когда смотрим назад, далеко назад... но не сегодня.

— Но ведь бывает не так уж далеко назад...

— Ладно, вы поняли мою мысль, и достаточно об этом. Давайте о другом, о вас...

— Зачем обо мне? О себе я знаю. И все, что я делал, точнее почти все, что я делал и делаю сейчас, не представляет интереса. Может быть, представит интерес то, что я еще сделаю, но...

— Не занижайтесь. Я редко вас хвалил. Сознательно. Мне всегда хотелось видеть в вас больше дерзости, а иногда и детскости. Понимаете, о чем я говорю?

— Кажется, да.

— Детское изумление, будто все в первый раз... Ремесленник как раз и не имеет этого. Он его утерял, а может, и не было никогда... Но вы-то не ремесленник. Вы работаете серьезно, честно, но чего-то не хватает. Может быть, дело даже не в ваших данных.

— А в чем же тогда?

— У вас есть имя. Очень неплохое имя. Я ведь знаю... Вы ведь давно уже не ученик. Но в свое время вы не попали в историю, в скандал. Чуть-чуть бы побольше шума, успеха. Глупости, что все это не нужно. Нужно. Успех — это поворот в судьбе, прорыв.

— Но я не хочу фокусничать. Вы же знаете, как иногда это делается. Как он возникает, этот самый успех...

— Вы говорите как пуританин. И фокусничать иногда

нужно. Только талантливо, а не повторяя сто раз перепетые фокусы.

Я замолчал... Он удивлял меня сегодня какой-то нарочитой непедагогичностью, почти вызовом. Может, он дразнил меня? Вообще, он несколько странно открывался сегодня. Всегда он так скуп на слова, так сдержан, почти до хмурости, а сегодня ему словно самому необходимо выговориться. И вместе с тем он закрыт, как всегда, хотя и расположен, и общителен. Интересно, он — видит, что со мной, а я только смутно догадываюсь, что с ним, да и верна ли моя догадка? Видимо, то же самое, что и у меня, только в его возрасте это страшнее. Одиночество. Но как же так? Он всегда был окружен людьми, всем нужен, разве с такими случается одиночество.

— Я вот говорил об успехе, знаете, меня не раз прикладывали, особенно в молодости. Но проработка никогда не проходила даром, она и втаптывала, она и подымала... Я вовсе не желаю вам осложнений, но какой-то шум, споры, черт его знает. Впрочем, это трудно сейчас, все солиднее, спокойнее. Наверное, так лучше. Вы придете к своему успеху количественно, постепенно.

— Но я хотел поговорить не о себе...

— Да, да, о вашем друге, я знаю. Я недавно думал о нем. Он всегда кажется неблагополучным.

— Да, он очень неблагополучен. Вот и сейчас...

— Я не знаю про сейчас. Но при всем неблагополучии у него очень прочный, твердый ствол. Никакое «извне» не изменит его судьбы, понимаете, о чем я говорю?

— Да, но...

— Вы расскажете мне подробно о его делах. Только поймите мысль... Это важно для вас. Есть растения, которым необходимо искусственное орошение, есть те, у которых свой запас влаги; надолго, навсегда, они будут плодоносить даже в засуху, в самых жутких условиях. Понимаете?

— Я понимаю, но это не совсем так... Как раз об этом я и хотел сказать. Мне кажется, он вообще перестал заниматься живописью.

— Как?

— Да так, преподает и урывками работает.

— Где он преподает?

— В интернате, учит детей элементарным основам рисунка. Немного о перспективе, немного о цвете, «рисование натюрморта, рисование человека». Вот так.

Мне показалось, я озадачил Мастера. Кажется, он слышал об этом интернате, но не думал, что это так серьезно. Мне даже показалось, он что-то бормочет про себя. Кажется, несколько раз он повторил слово «урывками». В раздумье, словно что-то решая для себя, он поднял усталые, холодноватые глаза и сказал, уже со спадом, как бы снижая то напряжение, что все время возникало и клокотало в нем:

— Значит, это ему для чего-то надо.

— Конечно,— с оттенком иронии сказал я.— Для чего-то надо, и не в последнюю очередь для денег.— Он ведь неважно живет, еле сводит концы с концами.

И снова Мастер замолчал, точно не приняв мои слова, мои сведения о друге. Он сомневался, неуловимо я чувствовал в выражении полуопущенных глаз, в еле заметном напряге шеи — какое-то сопротивление моим словам, точно я врал ему.

— Вы не совсем понимаете его. Это нужно ему не для денег. Хотя и деньги не помешают. Да и какие там деньги, рублей сто, наверное, платят за эти уроки? Это все ему нужно для другого.

— Для чего же?

— Для работы, для живописи... Это как-то соединено с его работой, я уверен. Вы давно перечитывали Вакенродера?

Я машинально чуть было не ответил «давно», но удержался и сказал:

— Я его вообще не читал.

— Жаль. Вам это было бы полезно. Особенно «Сердечные излияния отшельника — любителя искусств»... Понимаете, тогда искусство еще не принадлежало массам, в те далекие времена. Так вот, он пишет о флорентийском живописце Мариотти Альбертинелли, называет его неспокойным и чувственным человеком. Так вот этому Мариотти наскучило многотрудное изучение живописи, тогда, заметьте, оно было еще более многотрудным, чем сейчас, а также вражда и травля со стороны собратьев. Хоть и отшельники, а тоже умели травить друг друга. Так вот этот чудак Мариотти бросил живопись и стал трактирщиком. Собирая друзей, он похвалялся: видите, насколько это ремесло лучше. Больше я не мучаюсь с мускулами нарисованных людей, а питаю и укрепляю мускулы живых,

и, пока в бочках у меня хорошее вино, мне не грозит ненависть и клевета.

— И что же дальше?

— От тоски по живописи он стал спиваться. И вдруг, пустив по ветру все с трудом нажитое, он легко продал трактир и с рвением новообращенного взял кисть. Он навидался греха, грязи, всякой дряни, и оттого, может быть, с таким удовольствием писал божественные и священные сюжеты. Посмотрели бы вы его вещи, там такая смиренная простота, такой высокий дух... Я даже не уверен, что он был воистину верующим, уж слишком он был чувственный, веселый человек, если у него и был бог, то живопись.

— Уйти в трактирщики?..

— Не знаю куда. Трактирщиков сейчас нет; к сожалению, как нет и трактиров. Может, уйти в учителя, как ваш друг, но что-то изменить. К примеру, бросить графику, начать картину и работать над ней семь лет.

— Почему семь?

— Так, священное число, а может, восемь, девять. Я не призываю вас удалиться в скит, вы понимаете. У меня другая мысль. Вам нужна свобода от потока, от обязательств, от привычной цепи обстоятельств. Забыть все, что делали, будто вы опять ребенок, и взгляд неопытен, незамутнен... Вы и не ведали ремесла. А если не уйдете, вам придется состязаться вот с таким искусством.

Он пододвинул мне журнал. На яркой, красочной обложке был фрагмент из триптиха. Триптих назывался «Целина». Около мотоцикла стояли мужчина и женщина. Он могучий, она крепкая, он в крагах и куртке, именно в крагах, как спортсмен какой-нибудь, она в кокетливом плащике и резиновых сапогах. Чуть в стороне художник изобразил трактор. В руках она держала ребенка. Ребеночек же, в свою очередь, тоже поднял руку и сжимал пальцами алый полевой цветок.

— Но ведь это же пародия.

Он сказал, словно не обратив внимания на мои слова:

— И ведь этот парень — тоже мой ученик, раньше вас учился на несколько лет. Довольно крепкий парень был... Чего-то искал, а потом смекнул, и это подсказало способ. Если б он один... Я недавно объяснялся по этому поводу с руководством института, посылают группу выпускников

на две недели на БАМ. Что можно сделать за эти две недели? Но пусть едут, пусть смотрят, чтобы вернуться потом надолго. Это должна быть не командировка, а судьба. Так нет, с них требуют отчет, целые циклы — и они варганят наспех.

— И видите,— успех, обложка в журнале.

— Тот самый успех... Нет, совсем не тот. Небось думаете, а что, чем я хуже? Я бы еще ловчее намалевал. Думаете ведь так?

— Нет, я так не думаю. Так я даже не умею, если бы и захотел.

— А я вот получил премию примерно вот за такую работу в начале пятидесятых годов. Но не такую, конечно. На несколько порядков выше, но все же... Мне даже иногда странно, что я ее написал. Мне иногда даже самому казалось: а что, неплохо. И следующую от меня ждали такую же, в том же роде. А у меня не получилось в том же роде. Я сделал совершенно не то, что от меня ждали... Сам не заметил, как сделал. Совсем не то, совсем не то... Тут и покатили на меня бочку. Несколько месяцев громыхало, до пятьдесят третьего. Я сам думал, почему я не мог снова повторить, ведь все было бы. И не оттого, что такой смелый был, нет. Просто вкусовой барьер помешал. Понимаете?

— Да, но у людей нет вкусового барьера, они принимают эту троицу с трактором за настоящее. Раз в журнале, значит так и нужно, покажи им другое, они не примут. Скажут: «чушь, мазня».

— А вот вы и тараньте, и подымайте вкусовой барьер, чего же вы робеете? Ведь понимаете, что дурной вкус сегодня это почти социальное зло. Вот сейчас я вам покажу кое-что.

Он встал, сутулясь, медленно вышел из комнаты, как человек больной, недавно перенесший болезнь. Только сейчас я заметил, как усохла и словно бы облетела его фигура, уменьшилась голова, некогда казавшаяся такой мощной, может быть даже излишне массивной, на небольшом, но коренастом, крепком туловище. Сейчас и туловище истончилось, и в походке, в движениях все чаще возникала странная легкость, опасное парение, когда человек вот-вот потеряет вес и оторвется, улетит насовсем, навсегда... Впрочем, что это я такое мрачное затеял? Нет, он еще крепкий, еще в форме, да и лет ему совсем немного. Всегда казалось, что много, что он старше на це-

лую эпоху, а пройдет еще лет десять — пятнадцать, и наши года выровняются, словно бы мы нагоняем его.

Прошло несколько минут, он что-то искал там, возился, потом принес листы почтовой бумаги. На каждом из них в уголке были крошечные, как марки, рисунки. Пушкинская серия. Она действительно была ужасающа. Крохотный Пушкин, крохотная Гончарова, крохотная надпись: «Моя участь решена, я женюсь». А на другом — такой же лилипутик, весь вдохновение, театральная поза, кудри ко лбу и подпись: «Являться Муза стала мне»... И все остальное в таком же духе.

Мы оба переглянулись и ничего не сказали. Единственные слова, которые могли прийти на ум, были достаточно крепкими, и мне казалось, мы оба про себя произнесли их.

Он бросил пачку бумаги, листы рассыпались, заползли под стул, я нагнулся, хотел поднять, но он показал рукой: не надо, и, словно забыв об этих открытках, вытягивая нить какого-то давнего разговора, того, что шел в самом начале, глядя в окно, с выражением неожиданной, почти детской мечтательности, он вдруг сказал:

— Графика — сама по себе прекрасна, но, признаться, и мне она надоела порядком. Просто, наверное, я занимаюсь ей слишком давно и потому тоже хочется другого.

— У вас были удивительные вещи,— прервал я его.— Мы на них, можно сказать, учились.

Сохраняя все то же неопределенное, мечтательное выражение, как бы пропустив мимо ушей мою реплику, он сказал:

— Под старость вновь хочется попачкать холсты, кое-что накопилось за эти годы, а все как-то не сложится, не сделается. Как вы сказали, «урывками»? Так и я, представьте, урывками... Институт, Союз, дела, обязательства. И все собираешься послать это подальше... ведь понятно, осталось уже немного, и все-таки держишься, держишься. Слаб человек.

Мы прошли в кухню: коридоры, да и вся квартира казалась грязноватой, неухоженной, похоже, он жил здесь один, а может, все домочадцы были в отъезде. Не знаю. Время от времени звонил телефон, но он не брал трубку. Серии были то длинные, настойчивые, прямо-таки угрожающе настойчивые, то краткие, быстро испаряющиеся, летучие звонки, словно там, на другом конце, с легкостью поверили в то, что хозяин отсутствует.

И мне вдруг тревожно и странно представилась эта квартира — пустая, без хозяина, и звонки, то взрывающиеся, то гаснущие, и наконец, полная тишина.

Отгоняя это от себя, я пил чай, кипяток обжигал нёбо, почему-то вспомнился глоток обжигающей чачи, ее вкус, тот давний, горький, на похоронах дяди Арчила.

— Дядя Арчил,— вдруг вслух сказал я,— был такой великолепный художник.

— Где? Я не слышал.

— В грузинском селении. Давно. Еще до того, как нас исключили.

Он искоса посмотрел на меня.

— Вы всякий раз возвращаетесь к этой теме. Смотрите, как вас это задело.

— Еще бы.

— Во времена моей молодости были истории покруче. Одного моего друга, очень талантливого портретиста, обругали, исключили.

— И ничего нельзя было сделать?

Он сказал нехотя:

— Ребенок. Там все было другое. Вам это, возможно, не совсем понятно.

— Почему же?

— Вы пришли, когда с этим было уже покончено.

Он задумался. Лоб, глаза, щеки были абсолютно спокойны, как и минуту, как и час назад, и лишь на миг выдали какую-то мучительную работу памяти, как бы растерянности или тень растерянности. Может быть, даже память о давней растерянности. Что-то проступило сквозь темноту гладко выбритых щек, сквозь словно чем-то запылившийся блеск глаз, он и отвечал и не отвечал и, может быть, забыл обо мне, а я ловил себя на том, что пытаюсь мысленно схватить, уловить, написать его портрет именно в этот миг отчуждения от меня, броска к чему-то давно прошедшему; вот такое бы схватить и написать. Чтобы не сбивать его, я молчал, а он взял мундштук в зубы, выдул его, но мундштук так и остался без сигареты, а он встал и быстро пошел по комнате и сказал нарочито весело, четко:

— Вот видите, бросил курить. Даже не сосчитаешь, сколько лет курил, а бросил.

Чай уже был допит, и пора было уходить, но уходить не хотелось, да и он не только не торопил, а вроде бы

не отпускал меня. Может быть, сегодня он не ждал никого и мог уделить мне время, а может быть, просто не хотел оставаться один.

Я вспомнил неожиданно Эс Эса, своего покойного учителя с его странными рисунками, навязчивым бредом, с деревяшкой, где пьют ханыги, зловещее слово «формализм», которым он пугал меня по пьянке. Какая-то неведомая интуиция вырвала его из дали, из долгого моего забвения, приблизила и подсказала, что этот человек именно тот, о ком говорил Мастер. Почему-то так мне показалось.

Я спросил:

— Скажите, а того человека, ну... художника, звали не Сергей Сергеевич?

Мастер с удивлением и, как мне даже показалось, с раздражением сказал:

— А зачем вам это? — И добавил: — Едва ли вы могли его знать.

Неожиданно он заговорил о совсем другом, о том, как если бы вдруг все получили абсолютную возможность выразить себя любым способом в живописи, в скульптуре, в графике. Он говорил с увлечением:

— Представьте себе ситуацию. Вот кисть, карандаш, игла, выбирай, что хочешь, и давай — на холсте, на дереве, на камне — рубай, как можешь...

— Фантазия?

Он продолжал, не замечая моей иронии:

— И вот что самое интересное, многие бы оказались бессильны, легче наспех нарисовать тракториста с женой и сыном на обложку, чем написать настоящий портрет этого же тракториста. И особенно беспомощны были бы те, кто кричат, что все им мешает. На самом деле художнику ничего не мешает. То, что мешает, и есть сила необходимого преодоления; чаще всего ее просто нет.

Он замолчал, видимо устав, и я стал вновь говорить о Борьке.

Ведь ради этого, собственно, я и пришел. Я рассказывал ему, не понимая, слушает он или нет, об интернатской выставке, о мальчике, о его отце, о том трудном положении, в которое Борька попал, и еще о картине.

Он слушал внимательно, но думал о чем-то другом. И вдруг сказал:

— Будет обидно. Нельзя, чтобы и у него не получилось.— И посмотрел на меня.

Этот взгляд в темноте, даже не взгляд, а просто белевшее лицо, которое я не мог разглядеть как следует, невидимый мне рот вдруг произнесли приговор мне: «Не получилось».

И видно, он понял, о чем я думаю, потому что с неожиданной горячностью сказал:

— При чем тут вы? У вас еще есть время, я о себе говорю.

«Как это о себе? — отталкивая и соглашаясь, мысленно говорил я.— Столько сделано, столько наработано за долгую жизнь».

Но я не решился сказать это ему, сейчас это было неуместно, нечего было хитрить друг с другом. На самом деле я прекрасно понимал, о чем он думает. Знал его другую, чем все мои дежурные и лежащие на поверхности доводы, правоту.

Он вышел проводить меня до дверей, жидкий свет площадки, громыхнувший лифт. Однако, как тогда, с Борькой, я пошел пешком вниз, мимо темных закрытых дверей со знаменитыми фамилиями на табличках, не совсем так, как тогда, не водопадом — вниз, а медленно, даже степенно, чуть придерживая шаг.

Так сходят с крутой горы. Так сходят с горы, на которую не забрались.

«Однако еще не вечер»,— думал я, хотя уже было поздно, и какая к черту гора. Обыкновенная лестница в нестаром, но устаревшем московском доме, возвращение от учителя.

На улице было неожиданно светло, оживленно, шумно. Я постоял в ожидании такси, но все они проносились мимо, не останавливались. Так и не дождавшись, вышел на Садовое кольцо и пошел, пошел быстро, ни о чем таком не думая и не печаля душу, как бы собираясь для осуществления будничных забот завтрашнего дня.

Вскоре я уехал на Волгу. Снял в Касимове комнату у старого, еще чуть ли не по студенческим временам приятеля; теперь он был большой человек, чем-то заведовал в областном управлении культуры, распределял заказы, предлагал мне, Борьке, но ни он, ни я не воспользовались. Хорош он был еще и тем, что свою избу, в которой вырос, перестроил, перекурочил, надстроил второй этаж и превратил в хороший дом с видом на Волгу, или,

как, поездив по заграницам, он любил выражаться, «бунгало».

Так вот, я и остановился в этом бунгало, где еще в одиночестве жил его полупарализованный отец; до того, как его разбило, он коптил рыбу на местном заводе.

Так мы и жили вдвоем, только раз в неделю приятель приезжал, подгонял еще машину с бревнами, фанерой, кровельным железом, кирпичом,— бунгало росло и ширилось, и в этот день работать было нельзя, а надо было участвовать в общем подъеме частного строительства, а уж потом, вечером, в угощении «левых» работников, приехавших с ним, и еще кого-то, кто приезжал отдельно, уже на ужин, и кто, судя по всему, был вообще всемогущ. Это чувствовалось по всему: и по отрывистому строю хмельной, но важной, словно бы государственной, речи, и по тому, как постукивал пальцем по стенкам нового дома, сдержанно одобряя, но не впадая в крайности (видно, у него бунгало было еще получше). Уже сильно выпив, он как бы терял осанку и, раздевшись донага, заплывал куда-то в блестящую и холодную тьму ночной реки, махал саженками вниз по матушке по Волге и что-то пел в воде.

Вот такая была компания.

И откуда что взялось? Я помнил этого своего приятеля в общежитии, тихого, приветливого, немного забитого; когда выпивал, он становился агрессивен, но выпивал редко, зато часто угощал нас копченой и вяленой рыбой, которую привозил из дома. Были и мы у него однажды с Сашей и Борькой, изба показалась нам сырой, тесной, много беднее тех, воронежских, в которых мы жили. Способностей никаких особенных он никогда не выказывал, да и в общественники не лез. После института несколько лет прозябал, а потом начал штурмовать небо, только на административном поприще. И вот нате вам, постепенно завоевал если не небо, то место под солнцем.

Вполне хорошенькое местечко, где можно было расширить избу, сделать ее двухэтажным домом-мастерской, фонды выдавались под мастерскую, с местом для гаража и т. д.

Надо сказать, что дом он сооружал не бросовый, не какой-нибудь, а крепкий, даже не без изящества; все как полагалось было в этом доме или должно было быть: и неструганое дерево, и большие окна, из которых так хорошо смотрелась Волга, и, естественно, камин для дру-

жеских пирушек. Наши городские квартиры казались просто клетушками по сравнению с этой виллой.

Но хорошо, что Михаил, ныне его звали Михеич, не возгордился настолько, чтобы забыть старых друзей, приглашал их к себе и охотно демонстрировал новым своим приятелям, дескать, не кто-нибудь, а хорошие художники к нему приезжают, и не как-нибудь, а именно по назначению используют его строящуюся мастерскую.

Но эти лихие наезды были нечасты, тихие, долгие дни я проводил вдвоем со стариком и работал.

О, как тяжко-мучительно вначале шла работа, точно урок, который — кровь из носу — надо выполнить, сдать, а урок не идет, и полный внутренний сумрак, бессилие, злость, рука чугунная. Она механически подчиняется замыслу, а он неясен, смутен, и чугунная рука движется скованно и беспомощно; уж какая там свобода — дни, наполненные вязкой мукой.

И все-таки незаметно втянулся, словно тяжеленный шлагбаум отодвинул, и дорога открылась, и медленно сдвинулся. Чиркал углем, карандашом наброски, прикидывал композиции.

Теперь уж каждый приезд друга выбивал, мешал сильно, вечерние посиделки, ночные купания были как повинность.

Какое счастье, когда они уезжали!

Я так любил этот недоструганный большой дом, резко пахнущий краской, мне так уютно было с молчаливым стариком, который не лез в мои дела, ни о чем не спрашивал. Он много спал, иногда готовил, я помогал ему. Лицо, потерявшее подвижность, маска с живыми, проворными глазами, и проворные же руки, никогда не бывавшие без дела, то картошку чистили, пытались стругать что-то, хотя два пальца не гнулись; иногда он замолкал, я пугался и подходил, видел, лежит с открытыми глазами, дышит.

Иногда я чувствовал за своей спиной: он смотрел с любопытством, с удивлением. Я не люблю, когда глядят из-под руки на работу, но старик был настолько молчалив и я настолько привык к нему, что не раздражался, скучно ему было...

Ни в каких казенных мастерских не было так привольно, как здесь. И впервые я почувствовал тоску по такому вот бревенчатому, просторному, может быть, и скромному, поменьше, но своему дому, далеко от города,

и пусть бы он также глядел окнами на реку, пусть бы даже шли дожди, как здесь, но воздух был бы теплый, а река ртутно, подвижно блестела.

Как нужен был бы такой дом. Но я все как-то не думал об этом всерьез, откладывал на потом, ни с чем не хотел связываться до конца, ни от чего не хотел зависеть... Поездки, переезды, встречи, движение к чему-то, затянувшийся переходный период. А к чему движение, к чему переход?

Да и вся жизнь почему-то еще до недавнего времени виделась вступлением, дебютом, а самое существенное, главное вот-вот только начнется... А на самом-то деле уже давно началось и идет, идет вовсю, и уж скоро пойдет на убыль, и тогда тот, второй, последний берег приблизится, станет так четко, так явственно виден: желтый, с какими-то низкими, пожухшими, как после большой жары, растениями, сухо напрягшимися над ртутным движением воды...

Так и жил двойным ощущением. Одно утешающее, обманчивое: вступление, начало, ну если не начало, то середина; а второе: совершенно беспощадно и быстро надвигающийся каменистый берег, без кустарников и деревьев, безжизненный, конечный. Там уж тебе ничего не удастся, потому постарайся что-то успеть сейчас.

Итак, начнем с того, к чему подкрадывался, от чего всегда уходил, начнем с лиц человеческих, живых лиц, с тех глаз, что одновременно и не забыть и не вспомнить. Начнем с самого близкого и потому самого трудного.

Но в этом близком для начала выберем все-таки еще не самое главное, не самое больное, пусть это будет первый подступ к нему... Потому — Нору не надо трогать сейчас. И Борьку тоже, хотя я обязательно должен его написать, давно знаю, что должен, и давно думаю об этом, но сейчас начнем с дальнего, с самого дальнего из всех ближних.

Старик. Вот тот старик из Рыбинска, живой ли? Страшно искать встречи с ним. Скорее всего, почти наверняка... Но почему-то решил с него начать свою серию, словно какое-то механическое, нет, не серию, а цепь характеров, связанных чем-то, увиденных и в пространстве и во времени.

Вот так и этот старик. Я дам его как бы двойным отражением. Его молодые глаза увидят его же — старые. Это будет воспоминание наоборот, вся жизнь между дву-

мя обликами — дистанция в полвека, с какими-то скупыми приметами времени, еще не знаю какими. Они будут гиперболизированы, и в них должна уместиться вот именно эта жизнь, много горя, но, вероятно, и не меньше радости. Для других эта жизнь прошелестела совершенно незаметно и угасла незаметно, ибо она прямо не отразилась во времени, в эпохе, в общей жизни страны, искусства. Она была лишь песчинкой в этом общем движении, но вся тяжесть, все напряжение, все потрясения, время, земля — все отразилось в ней... Замысел. Он для того и существует, чтобы ломаться и меняться.

Не замысел, а первый толчок.

Но если эта жизнь исчезнет — то ничего не изменится, ничто не дрогнет в мире, песчинка не осыпется с крыши, неужели так? Только одна пожилая женщина будет рыдать, несколько людей выразят ей сочувствие, перенаселенное городское кладбище примет еще одно тело, а дальше... Но ведь для чего-то было. И если и забудут его, а может даже не узнают о его конце, все равно он был и перешел в меня, в других, во мне отразился.

И он действительно был и жил, и открыл мне многое, и другим, и пусть забыли, но это уже перешло в других, то, что он знал, то, что он почувствовал... Обратная связь между двумя лицами, двумя обликами одного и того же человека, обратная связь между ним и землей.

Но как? Портрет с двойной экспозицией. Слишком просто. Что-то другое. Не замыкающееся в одном лишь портрете с определенным фоном и с какими-то странными деталями, как любят говорить критики, приметами времени, нет, что-то другое, очень точное по памяти, реальное и вместе с тем хранящее и другую память: память надежд, снов, невысказанных обид — страха перед старостью, может быть, и сознание своей силы, своей бесконечности.

Я чувствую, как это делать, еще не зная до конца, я боюсь, что этот самый замысел слишком прямо поведет меня, шаг за шажком, придаст всей композиции механистичность, рассудочность.

Мольберт стоит, холст натянут, открыты окна, серый туман над водой, я рисую что-то на клочках картона.

Как трудно начинать. Прав Мастер. Дай свободу, не знаешь, как ей распорядиться.

Беглый, одноцветный набросок, беглая запись для себя о цветах.

Уголь, сангина, карандаши.

Да, да, больше всего я люблю «итальянский карандаш» — рисунок глубок, темен, как бы объемен, лишен блеска, а потом уголь, но еще рано... пока только карандаш. И как далеко еще до станка, до живописи, до стыка и единства теплых и холодных оттенков, как далеко еще до первого движения кистью, осторожного полушлепка, полупоглаживания этой льняной холстины, распяленной на подрамнике. Боишься даже к нему прикоснуться, как будто не смываемо никогда, но еще немного,— и движения перестанут быть осторожными. Хватит тебе его бояться, это ведь не живое, дышащее тело, которое можно покалечить, нет, это всего лишь холст, это твой экран, никакое не тело, гони свой страх и делай с ним что хочешь, как хочешь. Кто-то из учивших нас говорил: как с женщиной. О, как это нам нравилось тогда. Чушь какая, пошлость. Но может быть, и надо было так когда-то сказать, чтобы мы обалдело кидались на холст и делали с ним все, на что способны.

Но сейчас уже не детские штучки. Рука уже осторожнее, все равно, полная свобода на самом деле — это точнейший расчет, и выверенность, и абсолютная точность попаданий, будто стреляешь по движущейся цели, а рука подключена к какой-то батарее, дающей энергию.

Ощутить точно цвет среди десятков цветов, реальных и нереальных, естественных и химических, выверить свой, единственный и точный цвет. На время забудь о замысле, о конечной цели.

Как будто ты видел это один. Никто другой до тебя — этого не видел, только ты один. Надо забыть все похожее, все облики, лики, портреты, все глаза на чужих полотнах; только то, что ты видел на самом деле, и то, как ты это помнишь, тот цвет, который тебе запомнился.

То, что подсказывает тебе твоя детская память, не сегодняшний взгляд, а давний, уже почти полузабытый, и уж потом твое знание, твой опыт; совсем даже не тот опыт, который выработался годами от упражнений, работ, заданий, от понимания того, как надо и как не надо; нет, здесь нужен совсем другой опыт, который еще по-настоящему не выразился в том, что ты делал всегда. Да, по-настоящему ты и не пытался его выразить... И что это за опыт: неосуществленных желаний, амбиций, надежд, обид; нет, все это как раз совершенно не важно сейчас, опыт постоянного ожидания, ни в чем пока не воплотив-

шегося, потерь, наконец страха, не только перед концом, перед смертью, но и перед жизнью... Как бы сделать, чтобы все это вошло, как принято говорить, «отразилось».

И попробуем отказаться от желания написать лучше, чем кто-то... Надо выйти из соревнования. Оно проиграно все равно. И сейчас не в этом дело.

«Успех,— говорил учитель,— нужен успех». Конечно, нужен, конечно, хочется. Но только брось об этом думать. Сейчас, пока ты работаешь, тебе это совершенно неважно, несущественно. Потребность высказать что-то, необходимое тебе самому. И неизвестно, необходимо ли это кому-то еще... Жили, живут и будут жить без твоего опыта. И все-таки...

Не надо смешивать краски слишком медлительно и осторожно, в надежде на то, что они дадут чудо сами, нет, не дадут, сами по себе они ничего не значат, и тут опять надо вспомнить первоначальное, то, ради чего ты решил это делать, и тогда вдруг возникнет точный и нужный тебе цвет: он сформировался, родился в тебе и жаждет освобождения... Только таким ты и видел человека, землю и небо. И незачем даже себе объяснять это словами. Цвет не объяснишь, его можно только создать.

Это очень приятно, вот такое состояние, немного наркотическое; но вот что страшно: наркоз этот кончится, и ты увидишь — все блеф, никакого цвета, мазня, ерунда; потому и стараешься продлить, укрепить себя в своем состоянии, в этом самозаводе, но постепенно самозавод кончается.

Я слышу, кто-то прошел за моей спиной, что-то взял, не удержавшись, глянул в холст.

— Не интересно. Там ничего нет,— говорю я «кому-то».

— Извините.

Да, я уже видел ее. Эта девушка уже бывала здесь, она иногда заходит к старику, прибирает в доме, приглядывает за ним, видимо, родственница. Я повернулся и увидел ее уже около двери. Вид у нее на этот раз был городской: кожаная или под кожу юбка, красные туфли; да и взгляд не тот, что обычно, скользящий мимо, с тенью каких-то бытовых забот, будто не юное создание, а кормящая мать; сейчас взгляд легкий, свободный, даже как будто чуть с вызовом, серые небольшие, очень быстрые и сообразительные глаза — глазки.

— Значит, хотите посмотреть, что я тут малюю.

— А я уже посмотрела. Столько сидите, а еще ничего нет.

— Это только так кажется... Это особые такие краски.

Она подошла поближе, внимательно посмотрела на холст и с детским разочарованием на меня.

Потом она усмехнулась, детское исчезло, в глазах вновь появился женский какой-то вызов.

— А вы сами знаете, что здесь будет?

Знаю ли я? Вопрос в самую точку. Только всерьез объяснять не хотелось, хотелось сохранить дурашливость тона, и я сказал:

— Знаю, но не скажу.

Она не ответила... Юмор выдохся... разговор как-то повис. Отчетливо было слышно, как внизу громко и с визгом храпит старик.

Девушка, не глядя на меня, сказала:

— Извините, я вас отвлекла.

— Да нет... Что вы.

Да, она отвлекла меня. Но если бы она знала, какая это радость отвлечься...

Ведь ни о чем таком и не думал, вроде бы давно все это заглохло во мне. Сам себя видел отрешенным, одному только всецело преданным — и вот нате, юный, удивленный и тоже чего-то ждущий взгляд, красные туфли, нежное свечение ног.

Вот как легко появление ее вдруг разорвало тот круг, что был добровольно замкнут мною, даже радовал; один только был выход — работать, отвык от голосов, сам не разговаривал ни с кем, разве что в субботу, когда наезжали друзья Михеича.

Только на зорьке крик за окном: «Машка, Машка!» Выглянешь, а это корову кличут, и снова тишина часами, иногда скрипучий, как сорвавшийся и потерявший глубину голос старика, отдельные, почти нечленораздельные фразы, или вдруг бравурный, бодрый крик неожиданно включенного им радио, и я тут же спускаюсь, выключаю. Ничего мне не надо, ни новостей, ни сообщений; только вот эта тишина.

Она не будит воспоминаний, не тревожит, почти не рождает безнадежных мыслей, только вечерами иногда тяготит.

Отчего же она тяготит, если ты сам решил все постороннее выключить для себя?

Оттого, что в ней нет ни намека на обещание.

Это, наверное, симптом застарелой юношеской болезни ожидания. И вот вечерами он обнаруживает себя: зовет куда-то, толкает.

Выходил, радостно подставлял лицо, грудь, оцепеневшие от долгого напряжения, ветру с реки, ветер был пронзительно-прохладный, но обжигал приятно, чисто, словно речными брызгами осыпал лицо. Я подходил поближе к реке, она была быстрая, необыкновенно деловая, с огоньками барж, с гудками, с утробным рокотом сухогрузов; иногда она мне виделась не рекой, а железной дорогой, широченной, темной, во вспышках огней, тянущей по себе транспорт. Он дрожит дизелями, пускает пар, будит сонную округу шипеньем, гудками, сиренами. Вдруг вырывается из этого гула хрипящий возбужденный голос певицы: «все могут короли!..» Транспорт с музыкой.

Я уходил от набережной, возвращался домой, заваливался спать, говоря себе, что это хорошо, правильно так рано лечь, ведь завтра с рассвета работа, все было правильно и спокойно, но все же я чувствовал себя чуть-чуть обойденным судьбой и немного уже старым.

Какие-то другие вечера, подсказанные чуть приукрашивающей все памятью, падали с неба светящимися парашютиками под полузабытую, может быть даже вышедшую из моды музыку.

Они были так праздничны, просторны, так много в себе содержали, так переполнены были движением, все время меняющимися лучами, словами, содержание и смысл которых почти не помню; так и сыпались эти вечера, светясь и кружась, на глинистую почву. Я отлично понимал, что они не были на самом деле такими: гораздо прозаичнее, будничнее, может даже, бессмысленнее и тупее,— трата времени и никаких там парашютиков и кружений, а всего лишь топтание по асфальту или по такой же вот глинистой земле. Вся-то радость была в том, что их можно тратить как хочешь и куда хочешь, уверенность, что их так еще будет много, оттого бесцельность наполнялась каким-то другим смыслом.

Тот самый предел, который еще только угадывался вдалеке, в темноте, теперь все явственней, все беспощадней придвигался, ты пытался обмануть время, судорожно рывками работая, но потом снова наступали провалы, дни, будто бы заполненные чем-то до предела, на самом деле — несущественные, полые, бесцельные.

Не молодая бесцельность ожидания, а вязкое, мутор-

ное предчувствие, что уже ничего, на что так надеялся, и не состоится.

— Ну ладно, я пойду, вам надо работать.

Работать действительно было надо, но все-таки обидно, если она сейчас уйдет. Мне захотелось ей сказать просто, что называется открытым текстом: «Не уходите, посидите или постойте, как вам угодно... Конечно, работа, но я потом наверстаю, догоню. Всю жизнь ведь догоняешь. Может, догоню и сейчас. А уходить не надо».

Но вместо этого каким-то небрежным, пошловато-легкомысленным тоном я сказал (видно, за три недели, проведенные здесь, разучился разговаривать с женщинами):

— Конечно. Небось ждут... Свидание на причале.

— Какое ж там свидание,— охотно, открыто ответила она и улыбнулась; осветились глаза, небольшие, ясные, как будто бы очень знакомые. Улыбка сделала ее женственней, старше.

Моя пустая комната с холстом, кусками ватмана, испещренными набросками, с тюбиками с выдавленной и обезмасленной крокускной бумагой красками, все это не располагало к разговору.

Впрочем, может быть, ей нравилось. Необычное всегда вначале нравится.

Она что-то стала искать в сумке, почему-то опустив глаза, как бы конфузясь, робея. Было такое впечатление, что она давно хотела что-то там найти и мне показать и потому чуть-чуть суетливо, вслепую перебирала руками по дну красной клеенчатой сумки.

Наконец она достала какую-то книгу, показала мне. Это был «Ледяной дом» Лажечникова, детское издание.

— Тут ваша фамилия... Это вы рисовали?

— Да.

Книжка, встреча... Нет, так не бывает случайно.

А сам думаю: во-первых, откуда она знает мою фамилию, и, во-вторых, как попала к ней эта книжка? Несколько десятков тысяч экземпляров уже давно растворились. Старая книга, какими судьбами к ней попала?

Пока я думал, она все объяснила сама:

— ...сказали, книжный художник, назвали фамилию, у нас ведь тут редко кто бывает. Стала у себя искать, не нашла, у меня только детские, для малышей, сын еще и читать не умеет. И вдруг случайно, в больнице, в кресле у телевизора, после отбоя, нашла эту книжку. Чудно, да?

— В больнице?

— Да, я там работаю. В ту ночь как раз дежурила.

— Давайте пойдем куда-нибудь... Здесь есть что-нибудь такое? Если, конечно, не спешите? Ну, может, кафе, бар... Сейчас ведь всюду понатыкали баров.

— Да нет, здесь — особенно-то некуда. Летом «Поплавок» был, но закрыли, и есть еще кафе «Лель», но там одни алкаши. Да и не знаю, есть ли там еда. Вы ведь, наверное, голодны? Дед-то не готовит, а вы целый день работаете.

Она чуть насупилась, привычная забота отразилась в ее глазах, словно вот и сейчас, как всегда, ей надо было думать о том, как кого-то накормить, будто она была главой большой и вечно несытой семьи.

— Подумаешь, алкаши,— сказал я.— Я тоже был алкашом. Но вылечился. Пошли.

По свежеструганой, с пятнами клея лестнице, отдирая от нее прилипающие подошвы, мы спустились вниз.

Старик не без удивления скользнул взглядом; больной, а приметливый, все ему надо.

Но вот мы уже на улице, куда-то деловито спешим под дождем, она достает складной зонтик, прикрывает меня; зонтик заслоняет все, видны низко, косо летящие крупные капли, освещенные светом. Только округленная малость пространства, защищенная ее зонтом. Ближе, теснее, мягкое плечо под холодной кожаной курткой прижато к моим рукам.

Долго молча идем куда-то, дождь все сильнее, все назойливей. Поравнялись с ресторанчиком-поплавком. Он темный, безжизненно покачивается на темной воде, открытые, будто разграбленные, окна. Корабль не корабль, пустая кабина, покинутая людьми.

Ни машин, ни людей, наконец что-то зашумело, выкатило из тьмы, поравнялось с нами, из кабины недоверчиво смотрели. Она подошла, что-то сказала и махнула мне зонтом.

И вот сидим на заднем сиденье газика, куда-то он мчит. Я молчу, ни о чем не спрашиваю.

Выбитая дорога чувствуется так сильно, так бухают камни в железное днище, будто машина без колес и ползет плашмя.

Все это так странно, необязательно. Куда едем, зачем? Но вместе с тем и завороженность ее теплом, близостью, приятной тяжестью чуть привалившегося ко мне тела.

Что-то давнее, очень молодое увиделось вдруг в этой встрече, было -ощущение, что так уже ехал, вот на этой машине, по такой же разбитой дороге. Просто ехал, не рассуждая, не раздумывая.

Но вот какое-то оживление, и свет, и музыка громыхает, мы вылезаем из газика, проталкиваемся сквозь образовавшуюся к этому позднему часу небольшую толпу тех, кто порешил уже все магазинные бутылки и теперь вот пришел за ресторанной, черт с ней, с наценкой, лишь бы дали выпить. Плечистая, похожая на мужика тетка покрикивает, чтоб не слишком толпились, деловито берет десятки, выносит бутылки.

У нее свой, привычный промысел.

А мы мимо нее ныряем в пахнущий винным чадом предбанничек, раздеваемся, и вот уже освещенный зал, выложенный почему-то сбоку кафелем, как огромная ванна. В конце зала во всю мощь громыхает оркестр, а на узеньком пространстве между оркестром и столиками, а также и в проходах, оживленно вихляясь, поднимая пыль, повторяют новомодный дискоритм разудалые молодые танцоры.

Впрочем, почему вихляются? Это мне так кажется, со стороны. Я сторонний наблюдатель, трезвый к тому же, и потому глядящий с иронией и холодком свысока. А им плевать на мою иронию и холодок, они себе танцуют, получают удовольствие.

Интересная закономерность. Во времена моей юности в столичных ресторанах, в ресторанах больших городов — оркестры играли все новейшее, а в глубинке что-то словно бы пахнущее нафталином, из другой эпохи.

Теперь же — вот прогресс — в любом или почти в любом ресторане периферии лопают то же, что в московском «Метрополе».

Как всегда в незнакомом месте, долго ищу и не нахожу места, наконец присаживаемся где-то в середине зала, обтекаемой танцующей публикой. Наконец тишина, все садятся по местам, зал начинает гудеть и жужжать, почти вибрировать от слившихся друг с другом разговоров, восклицаний, шепотов; официант, естественно, долго не подходит, да и никто не обращает на нас внимания; только какой-то тип за соседним столиком внимательно, будто у него других дел нет, смотрит на нас, даже не то слово «смотрит», и не на нас, а на нее, вперился маленькими цепкими глазками и смотрит неотрывно.

Наконец ловлю официанта, он подходит, что-то рассеянно записывает, по-моему и сам пьяный, все время повторяет: «Вторых уже нет, поздно, товарищи, приходите». Наконец приносит что-то холодное, несъедобное, но под водку и это пойдет. Горячая водка быстро меняет что-то в настроении.

— Конечно, плохонький ресторанчик, не то, что в Москве,— говорит она.— А поверите, года два назад здесь такая уха была, издалека приезжали.

— Конечно, конечно,— подтверждаю я и совершенно не знаю, о чем с ней говорить в этом ураганном грохоте и в такой же ураганной тишине, назойливо гудящей над головою многоголосым, спертым гулом.

Внезапно откуда-то из прокуренной пегой полутьмы обозначается человек, очень бледное лицо, какой-то судорожно сосредоточенный взгляд, с удивлением вижу, что он идет прямо на нас, я даже напрягся и привстал, приготовился к драке. Но он тихо сел за наш столик.

Он не поздоровался с ней, но почему-то я понял, что он ее знает, и знает хорошо, во всяком случае, она не удивилась. Она молчала, лицо перебарывало, старалось скрыть то ли досаду, то ли тревогу.

Он что-то коротко сказал ей, я не расслышал, она пожала плечами.

Я сидел, испытывая сильное раздражение. Мне хотелось прогнать этого человека, но почему-то я догадался: нельзя. Во всяком случае, не стоит. Он сидел оцепенело, изредка что-то почти бессмысленно говоря, полузакрыв глаза. Он был сильно пьян, но полузакрытые глаза, как бы совершенно отсутствующие, на самом деле, я это чувствовал, все подмечали. Он вскидывался, словно просыпаясь, и тогда бесцеремонно, цепко, внимательно, с нескрываемым интересом смотрел то на меня, то на нее.

Уйти, и все. Чего проще... У них свои отношения, какие, я не знаю, но при чем тут я?

Я выпил еще рюмку и, наклонившись к ней (странно, я ведь даже не знал ее имени), сказал:

— Я, наверное, пойду...

Она торопливо, горячо, я даже не ожидал такого, зашептала:

— Нет, нет. Не надо... Он уйдет сейчас... Я прошу вас.

Я не слышал, что она ему говорила. Она говорила довольно долго, лицо ее было спокойно, но плечи приподняты, а голова резко, по-птичьи, повернута к нему, и

в профиле было яростное, ястребиное. Потом загрохотала музыка, она сидела, не обращая внимания на меня, глядя туда, где к освещенному квадратику мотыльками на огонь слетались танцоры, вот только их несколько билось в этом высвеченном пространстве, а теперь уж куча, но что мне до них? Совсем близко ее разрумяненное от возбуждения лицо, сузившиеся зрачки, остывающие от жара глаза.

— Давайте потанцуем,— сказала она.

Не хотелось, но я покорно пошел.

Оркестрик, если прислушаться, грохотал слаженно, сыгранно. Музыкальные шабашники, приехавшие на субботу из города, видно, знали свое дело.

Она тут же поймала, взяла ритм. Гулкая, глуховато и сильно бьющая волна отдавалась в висках, и я никак не мог войти в нее, а она тут же вошла; я заметил, что женщины мгновенно и безраздельно отдаются музыке, и она, пусть ненадолго, но мгновенно освобождает их от житейского груза.

Я же таскал свой груз с собой и потому долго не мог приспособиться к ее затейливым движениям, к резким пыркам, вкрадчивым замахам рук, к туманной улыбке на успокоившемся, почти блаженном, но совершенно отдельном от меня лице.

Я чувствовал эту разъединенность, да и вся ситуация была непонятна; может, потому я не столько танцевал, сколько тяжело волок эту мелодию, выполнял какое-то задание, с застывшей на напряженно улыбающемся лице улыбкой.

Она посмотрела на меня и на секунду вдруг прижалась ко мне, пробормотав что-то, может быть, только для себя. Мне показалось, она попросила меня о чем-то. О чем? Может быть, о том, чтобы я забыл все, что несколько минут назад было, этого странного пьяного мужика и что-то еще другое забыл, свое, неизвестное ей, разделяющее нас, чтобы я забыл ненадолго, тогда и она забудет свое недавнее, сегодняшнее, тоже неизвестное мне.

«Да, надо забыть»,— подумал я, а получилось, что сказал вслух, и она не удивилась, только быстро посмотрела на меня.

Танец то втягивал нас в середину этой бессвязной мотыльковой гущи, к свету низкой эстрадки, то выбрасывал в сторону, и мы словно оказывались совершенно одни. Вот в такую минуту я посмотрел в полутьму опустевшего

зала, за нашим столиком сидел этот человек и допивал водку.

«Ну и пусть,— уже совершенно спокойно подумал я.— Каждому своя радость. Ей танцевать и стараться что-то забыть, мне приспосабливаться к новой партнерше, ему — допивать чужую водку, и каждый должен полноправно распоряжаться своими скромными возможностями».

Теперь мне было совершенно все равно, пусть сидит он за моим столом, лакает мою водку, я освободился от раздражения, от желания подраться или немедленно уйти, оборвав слабую нить, что сначала выткалась между мною и ею, а потом повисла, в любую секунду готовая порваться.

«А зачем ей рваться? Порваться она всегда может». Я только сейчас увидел и понял, что она (довольно дико, что я не знаю ее имени, а может, и лучше: просто «она») очень хороша, длинное, стремительное тело, такое легкое, маленькая, вдохновенно откинутая назад, прекрасно вылепленная головка, в этой пьяной сутолоке она парила, а не вихлялась, как распаренные и чуть обезумевшие от водки и музыки люди. Именно парила и летела под глухой грохот ударника, под развязное тонкоголосье саксофона. У каждого из нас есть свой запас вдохновения, у каждого есть и право по своему усмотрению и возможностям расходовать его. Она расходовала так... Она так умела.

— Ты замечательно танцуешь,— сказал я.— Экстракласс, замечательно. Да, да,— я почему-то подмигнул для убедительности.

— Вы — тоже,— сказала она.

Это уже было явное преувеличение. Но всеобщее удовлетворение, почти благость, уже овладевали нами.

Мы долго шли по-над берегом, все огоньки вокруг погасли, только гудел движок электростанции да, все слабея, отдаляясь, ухал оркестр в ресторане.

Я не знал, провожаю ее или нет. Кажется, она и не собиралась домой, просто куда-то шли без цели, потом сидели на мокрой скамейке. Я обнял ее, она не шелохнулась, ничем не ответила, но и не отодвинулась. Может, боялась меня обидеть, а может, ей хотелось, чтобы я ее обнял. Действительно, подумаешь, какое дело. На то и вечер, и танцы, и водка, и мокрая скамейка.

Все было более или менее понятно и знакомо, неиз-

вестно только, позовет ли к себе. Скорее всего нет. Все-таки первый вечер. А так не положено. Во второй — пожалуйста. Но второго уже не будет. Работать надо, и надо уезжать.

Так или примерно так я думал, но думал еще и по-другому. Думал, что мне хорошо сейчас, гораздо лучше, чем одному в пустом доме с молчаливым инвалидом, в постоянном напряжении из-за того, что время уходит, а работа все на месте.

Но рука моя, обнявшая ее почти механически, потому что так надо, вдруг ощутила тепло ее тела, как бы затаившегося, вежливо не отстраняющегося от меня, нейтрального, и оттого, может быть, особенно притягивающего.

Нужно было что-то говорить. Как-то высказаться. Как-то выразить свое отношение к происходящему, сказать, например, что она мне нравится, что мне с ней хорошо. Это ведь и на самом деле так. Но я не мог ничего говорить. Я словно бы отупел. И ведь даже имени ее не знаю, а спросить теперь неудобно.

Я представил себя давнего, прежнего, одновременно наступательного и ранимого, боящегося обиды, отпора. Подумал: а какие я слова говорил тогда? Я попытался вызвать в себе тот дух, тот настрой, это был своего рода спиритизм, я как бы вызывал собственную тень.

И эта тень что-то бормотала, говорила, то нежно, то яростно, отстаивала, ниспровергала, отвоевывая для себя жизненный простор, реку, скамью и эту девушку... Моя давняя, истончившаяся от времени тень.

— Ну что ж, пойдемте,— сказала она.

— Куда?

— Как куда? Я — домой, а вы — к деду.

— Дед спит давно, не добудишься, а у меня ключа нет... Мы ведь с вами сорвались, не предупредили.

Она помолчала.

— Серьезно у вас ключа нет или вы так?..

— Честное слово.

Она нахмурила лоб, как бы что-то прикидывая, высчитывая.

— И ведь действительно, не добудишься, как же мы не подумали?

И после небольшой паузы сказала, как-то очень серьезно:

— Ну раз такое дело... Не ночевать же на улице. Лягу с сыном, а вы в моей комнате.

Я ничего не ответил. Пусть так. Она ляжет с сыном, а я в другой комнате. Ведь и в другой комнате можно переспать, скоротать ночь. Давно я уже не спал в других комнатах.

Странно: теперь мы шли нацеленно, торопливо и оттого бесконечно долго. То, что мы шли к ней, не объединяло, а создавало неловкость, поэтому мы молчали. С Волги дул резкий, уже осенний ветер.

Наконец пришли в ту деревню, где я жил, это была еще не сама деревня, а как бы встроенный в нее зачаток городской улицы. Несколько домов аккуратно тянулись один за одним, потом обрывались, и снова шла деревня, эти новенькие пятиэтажки подавляли своими размерами, приземистые, утонувшие во тьме строения, кособокие сараи, длинная, как поезд без колес, ферма. Тьма была сырая, иногда ее, казалось, прорывал ветер с реки.

Она жила в одном из городских домов. Мы молча вошли в подъезд, тоже темный, она обогнала меня, все время шла впереди, где-то на следующем этаже я слышал шорох ее куртки. Потом я догнал ее и мы вошли вместе.

Темная прихожая, отсвет зеркала, очень маленькая, тесная квартира, но комнаты не проходные, а в одной дверь раскрыта, и детский запах, и какое-то бормотание со сна, и все время повторяющиеся движения, как бы броски по кровати.

— Плохо спит. Во сне ждет, меня ждет,— прошептала она и, не раздеваясь, вошла в комнату. Поправила что-то, наклонившись над ребенком, что-то привычно зашептала, успокаивая, заговаривая.

Потом она прикрыла дверь. Что-то охраняющее было в этом движении. От кого? Может, и от меня.

Крошечная чистая кухонька, с большими, будто бы самодельными часами, механизм был, естественно, фабричный, а рамка украшена петушками, очень затейливо и искусно вырезанными.

— Чья работа?

Ответила после паузы и нехотно:

— Мужа.

Она искоса поглядела на меня, видимо ожидая каких-то расспросов, но я ничего не стал спрашивать.

— Чаю хотите?

— Можно.

Она тихо, на малую громкость включила старенькую

«Спидолу». Играли танго, что-то очень знакомое. Кажется, я помнил его с послевоенных времен.

— Старинная музыка,— сказала она.— Сейчас опять модно.

«Старинная музыка» с одновременно успокаивающим и надрывным ритмом выплескивала что-то совершенно недавнее и вместе с тем смутное, полузабытое.

Да, точно, это была музыка моих родителей, их довоенной молодости. И моя тоже. Но в моем детстве ее не играли на школьных вечерах, а только дома на вечеринках. Это даже не наши были вечеринки, а чужие, более взрослых ребят. Почему-то вспомнился дачный поселок, многонаселенная чужая дача, в которой мы снимали комнату, еще моя бабушка была жива. Зачем-то он мне вспомнился сейчас, этот поселок? Может, оттого, что не о чем было говорить? А музыка, еще так недавно бывшая моей, живой, реальной, музыка моего детства, действительно звучала как старинная, будто из прошлого века. И в том же прошлом веке я ходил по участку и видел, как на освещенной террасе плавно, точно рыбы в аквариуме, плыли, двигались мои соседи, их гости. Они были в белых рубашках и в галстуках, девочки в платьях с накладными плечами. Плыли, улыбались, им было, видно, жарко, а я смотрел неотрывно на их веселье и все решал, можно ли и мне зайти, ведь дверь была полуоткрыта.

Бабушка заметила и сказала: «Туда не надо. Они взрослые. Видишь, у них компания. И ты им вовсе ни к чему».

Я не понимал, почему нельзя пойти послушать эту музыку, запрет наполнял горечью, я механически сосчитал, что их было поровну, шестеро ребят и шестеро девчонок, но я был так мал, что мне еще это ни о чем не говорило. И не понял, зачем надо было гасить свет и закрывать дверь. Теперь во тьме лишь слабо просвечивало движение, белые рубашки, плотно прижатые, слитые с белыми платьями, двухспинными рыбами медленно повторяли еле слышный такт. Аквариум погас, спектакль, в котором я не участвовал, шел ко второму акту, а я, маленький зевака, ничего не понимал, но почему-то чувствовал себя обойденным.

Сколько еще раз потом я буду чувствовать себя посторонним и обойденным на чужих пирушках, праздниках, на чужих играх. А тогда — впервые.

И потому все это помнилось, и музыка, и как потом вышел за пределы участка, и как она затихла, и что шел

по улочке, сосновой, уютной, спящей. Ветерок взрослой, потаенной жизни, в которую еще закрыта дорога, хотя двери приотворены.

Самое простое и поражающее, что это было вчера.

Я даже помнил, как не мог заснуть в странном томлении, в неосознанной и поэтому лишенной приятности грусти.

Вчера, недавно.

Совсем недальняя дистанция разделяла от той освещенной и погасшей дачки. Только эта дистанция вмещала всю жизнь моей знакомой хозяйки, уж не знаю, как ее назвать.

— Сколько вам лет? — спросил я.

Она посмотрела на меня с удивлением. И действительно, я спросил слишком впрямую, будто какой-то доктор на приеме.

Помолчав, она ответила с неохотой:

— Двадцать пять.— И добавила: — Много.

Она хлопотала, доставала из кухонного шкафчика какую-то еду, закипал чай, казалось, я давно уже с нею знаком и был здесь не раз, и ничего не хотелось говорить, может, еще и оттого, что было уже очень поздно, глубина ночи, ее мнимый покой, из которого то и дело вырывался сонный детский вскрик.

Я сказал ей:

— Не надо хлопотать, беспокоиться, посидите.

Но она не слушала меня, и вот уже на столе появилась початая бутылка, миска с квашеной капустой, соленые огурцы.

Пить не хотелось. А впрочем, какое дело, посидим, выпьем, согреемся, и я уйду. Ведь на самом деле я случайно забрел сюда.

И еще мне было жалко ее усилий, ее хлопот, я не столько видел, сколько чувствовал, что дом этот скуден, и ни к чему все это. Но ей так хотелось что называется принять гостя, быть не хуже других.

Она не слушала, что я говорил, была поглощена всеми этими приготовлениями, но лицо было отрешенное, далекое от этого всего; делала одно, а думала о другом, и я неожиданно залюбовался этим отчужденным, бесконечно далеким от меня лицом. Может, свет так ложился,

может, настроение было такое, но она вновь, как и там, в кафе, показалась мне красивой.

Мне даже захотелось увидеть в ней Нору, что-то от Норы, провести какую-то связь, чтобы отозвалось внутри давней болью. Но хотел я того или не хотел, а линии связи не было. И навести ее не удавалось. Во всем этом скорее слышался отзвук таких же необязательных приходов и уходов, стертость житейской схемы, пустота.

Всю жизнь я чего-то искал, и это было ошибкой, когда не ищешь, приходит само. Так и в работе, так и в жизни.

Еще и оттого я не мог ничего найти и не умел быть счастливым, потому что никогда не знал, что мне действительно надо и что не надо; знал, конечно, но редко, и тогда и подчинялся полностью тому ощущению, этому знанию. Но чаще всего я подчинялся инерции. Вот и сейчас я по инерции пришел, по инерции сидел, и вот ведь какая странность, мне определенно нравилась она, но еще больше было желание освободиться, уйти... А от чего освобождаться-то?

Что-то рассказывала, и голос ее был так слышен, почти звенел в этой тишине, я прямо-таки ощущал живое движение звука, его колебание, причем звук жил отдельно от нее; он был сильный, ясный, напористый, а лицо бледное, и глаза смотрели очень грустно и мимо меня, точно не участвовали в рождении этого бойкого, так отчетливо слышного в тишине звука. Я только его и слышал.

Содержание было обычное, тусклое: работа, больница, будни, но что-то общее, ничего по-настоящему не говорящее о ней.

Вдруг на ее звонкий голос наложился другой — механический, сильный, требовательный, как всегда ночью,— тревожный, звонок.

Я почувствовал, как звонок ударил ее, и она на секунду замолкла, но не поднялась.

— Может... хозяин?

— Нет,— быстро и резко ответила она.

Звонок то замирал, то вновь набирал силу, звучал нестерпимо, вызывающе. Но ребенок не просыпался.

Я все больше чувствовал глупость, неловкость своего присутствия. Звонок на миг замолк, и начали стучать, громыхать под дверью, толкать ее плечом, было впечатление, что через секунду дверь с треском вывалится.

Лицо ее вмиг обострилось, глаза скорее выразили не тревогу, а злость, но я удивлялся ее выдержке, другая побежала бы к двери, а она все сидела не двигаясь.

— Может, мне открыть?

— Нет, не надо. Не надо вам в это... Я сама.

Она встала, пошла к двери.

Послышался щелчок задвижки, резкое движение, хриплый голос, одновременно и угрожающий и вместе с тем жалкий, с оттенком мольбы:

— Вера, Вера...

Вот я и узнал ее имя... Оно почему-то не очень подходило к ней.

Слышалась его ругань, мат, но ярость как бы спадала, и, по-видимому, он все торчал там, в дверях, на пограничной линии, почему-то не решаясь войти, ворваться в квартиру. Если это тот, кого я видел в ресторане, здоровый и испитой мужик, то тот мог бы смести ее, свалить в мгновение.

Я встал.

Она меня не видела, но по движению догадалась, что я встал и иду сюда, и четко, быстро сказала:

— Не надо. Он сейчас уйдет.

И, уже обращаясь к нему, сказала тихо и внятно:

— Уходи... Прошу тебя.

В ее голосе был оттенок убеждения, а не приказа, и еще чего-то, каких-то мне непонятных отношений, я только понял, что она не боится его, что она имеет власть над ним.

Я сидел, курил, мною теперь владело безразличие и тупая усталость.

Еще был слышен его голос, но к словам я не прислушивался, все это было чужим, и не хотелось в это вникать; я только слышал, что он все глуше и тише.

Заплакал ребенок. Наступило молчание, хлопнула дверь, и все затихло. Она быстро скользнула, прошелестела, будто кошка, в комнату, где спал ребенок, и оттуда долго слышались тихие успокаивающий и успокаивающийся голоса. Только минут через десять — пятнадцать она вошла в кухню. Она улыбнулась мне, мол, ничего не было и ничему не надо придавать значения, улыбка была несколько вымученная и почему-то виноватая.

«Бедная, в чем же она виновата передо мной?» Мне было ее жаль и хотелось успокоить, утешить. Но еще больше хотелось уйти.

Она поняла это сразу. Я удивился ее чутью:

— Пожалуйста, не уходите сейчас... Ну хотя бы немного позже. Скоро уж светло будет.

Мне показалось, что она разговаривает со мной так же, как и со своим ребенком, материнские, просящие и успокаивающие интонации.

— Вы еще немного посидите и уйдете, мне так скверно.

— Мне тоже,— сказал я.

То чувство уязвленности, оскорбленности вмешательством кого-то третьего, может быть даже имеющего все права, подымалось во мне, наполняло раздражением. Еще секунда, и я мог бы сморозить какую-нибудь грубость, чтобы окончательно все разрушить... Да и что, собственно, разрушать? Только что я жалел ее, понимал, готов был принять любой удар на себя, а стоило ей попросить меня, выказать виноватость, и все полетело, испарилось, словно у меня были с ней какие-то давние счеты.

Она и это почувствовала и сказала тихо, не глядя на меня:

— Ну конечно, если вам противно, то извините, что так получилось. Я могу даже проводить вас, чтобы вам не плутать.

«Да, пора уходить, надо уходить. Завтра будет день разбит. Чушь какая-то».

Я встал, пошел к дверям, уже у двери посмотрел на нее, остановился. Она сидела, докуривая мою сигарету, очень спокойная, не собирающаяся меня удерживать, и на расстоянии ощутил я ее оцепенелость и понял, что не уйду. Я вернулся в кухню, встал над ней, провел рукой по ее волосам. Этот жест не успокоил и не отвлек ее. Так же сидела с опущенными плечами, с бескровным, постаревшим лицом.

— Ну что вы, что вы,— сказал я.

Она молчала. Наконец, после паузы, подняв глаза и с удивлением посмотрев на меня, сказала:

— Я несколько раз забегала к старику, но вы меня не видели. Я смотрела, как вы работаете. Я видела часто, как люди пьянствуют, дерутся, а тут человек рисует... Можно сказать, творит.

— Какое сильное слово,— перебил я ее,— творит. Это Леонардо творил, ну еще некоторые... Я же работаю, да и то мало и плохо.

— Да нет, это я так, у нас же больница при совхозе, так вот директор всех художников, скульпторов называет творцами. Он любит приглашать этих творцов. Один панно рисует о достижениях совхоза, другой скульптуру какую-нибудь. К нам часто приезжают эти творцы. Но вы, кажется, другой.

— Да нет, наверное, такой же. Только денег меньше зарабатываю. И больше о себе мню.

— Я мало в этом разбираюсь. Но я знаю, что это не так.

— Почему?

— Знаю, и все. Какая разница почему?

Она встала, прошлась по маленькой кухоньке, приоткрыла балкон, уже светало, холодная свежая волна мгновенно, резко заполнила эту маленькую прокуренную комнатку. Река, видно, была недалеко от дома, и на ней уже начиналось, а вернее, продолжалось движение, загробными натужными голосами сигналили буксиры, баржи.

Она стояла спиной ко мне.

И показалась мне немного похожей на Нору. Нора стоит и смотрит в окно, как когда-то в моей комнате. Никогда не поймешь, что с ней происходит и что она может выкинуть в любой момент.

Я знал, что ничего общего, но сейчас мне так хотелось.

Я шагнул к ней, обнял за плечи, уткнулся в холодные, густые волосы, так молча мы стояли несколько секунд.

— Брось, у тебя все будет хорошо,— сказал я.

Она молчала. Я гладил ее плечи, мне самому было худо, горько, словно я что-то забирал от нее, перекладывал на себя. Мне передавалась ее беспричинная растерянность, впрочем, почему беспричинная? Причин было больше чем надо.

Я вдруг понял, что уйду и все это останется позади, а я боялся разлук, почти всех, даже с людьми мимолетными, случайными в моей жизни.

Поезд так безостановочно грохотал по туннелям, несся вперед к неведомой конечной станции, и всегда было жаль, что пассажиры, соседи, попутчики уходят, даже те, что ничего не значили для меня, с кем я обмолвился взглядом, двумя-тремя словами, именно у й д я, они начинали значить.

И я догадывался, что когда уйду от нее, то первым чувством будет облегчение, но потом все окажется другим, гораздо более важным; может, это и так на самом деле, а может, просто странный закон отдаления, все отдаляющееся вырастает, кажется более значимым для тебя, чем было на самом деле.

— Вы о чем? — спросила она.

— А что?

— Я чувствую, вы о чем-то... Вам тоже не очень.

— А кому очень? — сказал я.— Вам такие попадались?

— Попадались... вы, наверное, черт-те что обо мне подумали? Какой-то алкаш...

— Да нет.

Мне не хотелось, чтобы она рассказывала, а она не поняла и почему-то стала рассказывать очень подробно, о том, как этот человек преследует ее и унижается перед ней, как он пьет, как раньше он был начальником цеха на рыбозаводе, а потом попал в историю, кто-то смухлевал, а его подставили, на суде выяснилось, что он ни при чем, его оправдали, но он сломался. Она рассказывала обстоятельно, безлико, видно, действительно не любила его, но рассказ ее был неприятен мне. Я и так понимал, догадывался, а зачем подробности? Я сказал, оборвав ее:

— Так надо спасать его. Вы должны спасать, а вы прогоняете.

— Я и спасала раньше, но теперь он у меня вон где.

Она показала рукой на горло.

У меня отвратительная особенность: все видеть в натуральную величину, воображение немедленно вызывает реальный образ. Представилось, *как* она спасала. Я увидел его пьяного, безобразного и то, как он обнимает ее.

— Он у тебя вон где,— повторил я ее жест,— а где муж?

— А мужа нет. На новостройках Сибири мой муж. Передовой парень. Поехал, освоился. И освоился крепко. А что, зачем вы спрашиваете? Я же ничего не спрашиваю у вас.

— Пожалуйста.

Она замолчала и посмотрела на меня. Глаза ее были близко, я помнил их серый цвет, но сейчас свет падал так, что они странно пугающе белели.

— Я не знаю, но вижу,— сказала она.

— Что вы видите?

— Вашу жизнь... Зачем бы вам одному забираться в эту дыру? К вам ведь жена ни разу не приехала.

— Ну и не надо.

Я обнял ее, прижал к себе. Когда я стал целовать ее, она сначала не отвечала, только позволяла, не отталкивала, не отворачивалась. Потом она заплакала, давя что-то в себе, стесняясь меня, потом освобожденнее, бурнее; я знал, все это не имеет ко мне отношения, а лишь к тому, о чем она так подробно и вяло говорила, а может, не к тому, наверное, а еще к чему-то, более важному, к горю ее жизни.

— Не надо, ну зачем, не надо,— так я говорил ей слова пустые, беспомощные, в них была лишь видимость успокоения, потому они не утоляли ее, не помогали ей. Ладонью я вытер со щек ее слезы, гладил волосы, остро ощутил ее слабость, желание быть хоть на миг защищенной.

— Не надо, пожалуйста, я понимаю, как это. У меня у самого.

— Что, что? — спрашивала она и не ждала ответа, но успокаивалась.

И вскоре она забыла, что несчастна, это уже неважно было ни ей, ни мне... Какой-то парок шел от ее слез, детский, нежный, соленый парок. Потемневшие глаза блестели, забываясь, она все крепче обнимала меня.

— Ты еще очень молодая,— шептал я ей,— у тебя будет все, все будет.

Она не отвечала, она уже не слышала меня.

Нежность, слабость, хмель, прорыв из одиночества к чему-то другому, и это другое захлестывает, разгораясь, распаляя, освобождая от всяких мыслей, от жалости, от бог знает чего. Другое, другое... Спасающее, утоляющее, но ненадолго, чтобы потом вернуть с удесятеренной силой к прежнему, к тому, что было.

Нет, нет, не хочу возвращаться, мне ведь так хорошо с ней...

— Что ты там бормочешь,— шептала она,— все ерунда, не жалей меня, не думай,— ты так хорошо целуешь...

Я целовал ее, уже уходя, уносясь от всего, что было здесь, не видя, но чувствуя, как мы почти со стоном

падаем куда-то. Какая-то маленькая комната и проблеск солнца в окне, и дрожат вдруг стены и окна. Это проходят по реке и отдаются в доме тяжелые сухогрузы.

— Какой, черт возьми, чуткий дом,— пробормотал я потом, засыпая. Но она не поняла и сказала:

— Какой у тебя чуткий сон. Спи. Я подниму сына и уведу в садик так, чтобы ты не слышал...

И действительно, я проснулся, когда никого не было в доме. Пустая, почти без мебели, прибранная комнатка. Пузатый старый проигрыватель. Полочка с детскими книгами. Под стеклом на полке — портрет артиста. Этот артист мне не нравился, казался пошлым, и было удивительно, что она выставила его. Ведь у нее, кажется, есть природный вкус, как же ей может нравиться этот телевизионный шлягерный артист и она не понимает, что таким огнем, как она, он никогда не горел в своей жизни.

Я лежал с ощущением разбитости, уныло думал о том, что скоро уже уезжать. Как легко разлетелись, разбазарились золотые денечки. А потом московская круговерть, муть, бессмыслица, беготня. Это была утренняя, уже давно мучившая меня тяжесть. Страх перед днем, мучительная неуверенность. Почему-то я вспомнил маленькую картину, которую однажды Борька откопал в Эрмитаже. Раньше мне казалось, что в ней сосредоточен весь ужас жизни.

Удивительно все-таки, какая у Борьки самостоятельность выбора и вкуса. Я, как положено, стоял у Питера Брейгеля младшего в небольшом зальчике Эрмитажа. Вдруг он окликнул меня. Я подошел и увидел маленькую картину. Никогда раньше я даже не слышал о ней. «Пейзаж с легендой о святом Христофоре»... Помню ее не очень четко, какие-то детали, грозовой мрачный колорит, существа, похожие на саламандр, но самое главное, человек с оперением бабочки. Он летит куда-то. Но на лице — выражение вечного рабства. Вот что поразило. Выражение вечного рабства. Кто его так забил, этого человека? И кажется, рядом был какой-то скорбный монах с фонарем, просветленный монах. Что он символизировал, что означал? Небесный свет в мире вечного рабства? А может, и ничего не обозначал, а просто так было угодно художнику. Написать монаха с фонарем.

Внутреннее рабство, вечное рабство... Только ли перед

обстоятельствами, временем, нет, и перед чем-то внутри себя. Желание приспособить себя, приспособить и сохранить. Наверное, и сохраняешь, когда не приспосабливаешь.

Человек с оперением бабочки.

Несколько раз в жизни я пытался вырваться из этого внутреннего рабства. И даже чувствовал свет освобождения, но всегда возвращался обратно. А как другие? Может быть, даже и не пытаются. Оттого они счастливее.

Это правильно, что Борька свободнее.

Я стал думать о Борьке, о том, что я должен его нарисовать. Я вдруг очень захотел его увидеть. Так бывает, забываешь о человеке на время и вдруг понимаешь, как он тебе нужен.

Видно, я снова задремал, потому что не заметил, как она пришла. Только в передней шорох платья, шаги, открывается дверь, комната неожиданно для меня мгновенно наполнилась солнцем, светом, будто был летний день, и я увидел, как она приближается ко мне в красном платье с погончиками, придававшем ей студенческий вид. Я прикрыл глаза, по-детски затаился, слышал ее осторожные движения, над моей головой прошелестело ее платье, сквозь прищуренные глаза я видел рядом ее ноги, как бы в золотистом свечении, это нейлоновая паутинка антрацитово сверкала на солнце, бьющем из окна.

Захотелось, ничего не говоря, прижаться своим небритым и, как мне самому казалось, постаревшим за эту бессонную ночь лицом к ее коленям. Но я по-прежнему лежал, как ребенок, притворившийся мертвым в игре, не выдавая жизни и радости оттого, что она здесь.

Она наклонилась надо мной:

— Эй, вы живы?

— Полуживой,— не открывая глаз, сказал я.

— А я загадала...

— Что такое?

— Я загадала, вы здесь или сбежали.— Она помолчала и снова улыбнулась.

Я сел рядом с ней, прижал ее голову, чувствовал тепло и свежесть лица, такого еще молодого, не помнившего этой ночи, ничем не омраченного, все на мгновение или навсегда забывшего.

День, начавшийся со смутного, тяжелого пробуждения, вдруг переменился, заблестел, и, может быть, впервые, за долгие-долгие дни я почувствовал легкость и освобождение.

Мы шли по-над Волгой, будто бы по направлению к моему дому, но все время сворачивали и то ли проходили дом, то ли не доходили до него. Уж не помню, о чем разговаривали.

Мы говорили, говорили, вернее мне казалось, что говорили, говорил я один, а она слушала, странно, что ей был интересен мой бред, мои разорванные, разбросанные мысли о чем-то далеком для нее.

Говорила и она. Я слушал как бы рассеянно, больше смотрел на нее, чем слушал, но все западало в память.

Все несчастья ее немудреной жизни.

Я обнял ее за плечи, мне показалось, она идет деревянно, с неловкостью: поселок небольшой, тут все знакомые. Мне даже показалось, что сделала движение плечом, чтобы освободиться от моей руки. Я тут же сам убрал руку. И она сбоку, с холодком посмотрела на меня. Ей, видно, не понравилось, что я так быстро подчинился.

— Боишься? — дразня ее, сказал я.

— Нет, я не боюсь... Все равно, что подумают. Сейчас — все равно.

Она взяла мою руку, и мы пошли по набережной. Меня не оставляло ощущение, давно уже не испытанное: что не ты покорен жизнью, а она тобою покорена, подчинена, и ты можешь делать с ней что угодно.

Так и шатались мы взад и вперед по утренней набережной, замечая и не замечая людей, а также той одновременно стремительной и вместе с тем неторопкой жизни со своим установившимся укладом, которой жила река, все время прорезающая тишину то тонкими свистками барж, то мощным гудом как бы врезанных в середину реки и разрывающих дно машин.

Лениво, необязательно думалось: надо домой, старик беспокоится, и ведь работа, работа... Но о работе думалось без муки, как обычно, без чувства самообкраденности,— с какой-то неожиданной надеждой и успокоением.

Может, как раз сейчас и пойдет, и сдвинется... Ведь должно же когда-то...

Но, как всегда, мне было мало того, что есть. Мало этого поселка, реки, а захотелось очутиться тут же с ней в другом месте. Не в Москве, не на Замоскворечье, не на улицах детства, а почему-то в Ленинграде, в чужом *своем* городе. Захотелось повести ее залами Эрмитажа, я даже услышал вощеный запах этих блестящих и отражающих все, разрисованных как зеркала, полов. Я мысленно останавливался с ней у своих чужих картин, таких знакомых, будто я увидел их, едва открыв глаза на свет, таких выстраданных, будто я действительно сам их написал.

— Была в Ленинграде? — спросил я.

— Была,— сказала она.

— Видишь, ты всюду уже была без меня.

Она засмеялась:

— Два дня только. Экскурсия. Всюду таскали, но я ничего не разглядела. Всюду опаздывали... Это было еще в училище.

— Поедем,— сказал я.

— Поедем,— тихо повторила она. И сбоку выжидательно посмотрела на меня. И почудилась мне какая-то жалкость, да собственно, очень простая, понятная: сейчас мы поедем и полетим с тобой всюду, куда только ходят поезда и летают самолеты, а завтра, когда ты окажешься в Москве...

Все это было в ее взгляде, она ничем не обмолвилась, ничего такого не сказала, но зачем-то я стал спорить именно с этим, невысказанным.

И оттого, что я лишь улавливал это, слова мои были беспомощны и корявы. Я бормотал что-то вроде: «Нет, нет, не надо так думать. Все действительно не должно так кончиться».

И тут, глянув, она сказала, жестковато как-то усмехнувшись:

— А что кончится? Разве что-то началось, что может у нас кончиться?

Она испытывала меня, может быть, неосознанно, все это было так понятно, но чем-то меня задели ее слова, даже не слова, а тон, и все постепенно стало блекнуть, все становилось таким же, как вчера, до встречи. Да и с чего было всему меняться? Что за чушь? Застаревшая детская болезнь... Ожидание.

— Знаешь, у нас девки любят иногда прикладываться.

— При чем тут это?

— Да так и я, боюсь. Сначала обожжет, потеряешь голову, потом одумаешься.

— Видишь, как у тебя все быстро,— сказал я.— Какие перепады...

Все сбивалось, праздничность исчезла, что-то охладевало и пустело внутри.

Она почувствовала это.

— ...Как легко ты отстраняешься... Я просто боюсь, просто боюсь. Знаешь, легче никому не верить, чем...

— Ну и не верь. Я же не прошу тебя верить.

Она опустила голову. Наверное, так и есть. Я уеду через несколько дней, замотает жизнь, и останется только та ночь и это утро, уже навсегда вчерашнее, без продолжения.

— Да нет. Все не так,— хрипловато, неожиданно низким голосом сказала она.— Я буду ждать. Ничего мне не надо... Просто чтобы ты вспомнил. А если когда-нибудь выберешься...

— Мы ведь еще не прощаемся. Что ты...

Я взял ее руку, прижал к своему лбу, снимая тяжесть, пытаясь вернуться к той радости, освобождению, что еще так недавно было испытано... Пока мы шли к моему дому, я думал об оставшихся днях. Хорошо, что есть эти оставшиеся дни, пусть считанные, но все-таки мои, оставшиеся, я уже вижу их лёт, вдогон один другому, но все же это завтра и послезавтра, а может выкроиться и еще один денек, и что-то хорошее еще ждет меня и ее, ведь мы же еще не расстаемся с ней.

Я еще подумал о том, как совместить работу и ее, ведь я обязан сделать очень многое за эти дни. Если не сделаю сейчас, то, может быть, не сделаю никогда. Да, днем я буду работать с рассвета, вкалывать буду по-настоящему, как никогда, зато вечера будут наши.

Она проводила меня до самого дома и хотела было уйти, как вдруг мы оба увидели, что старик открывает дверь и, тяжело, с мукой разгибая позвоночник и странно вихляясь всем телом, раскручиваясь, перед тем как сделать невыносимо тяжелый очередной шаг, приближается к нам. Как жутко он движется, и какое странное у него лицо.

Может быть, он сердится, обозлен, что я ушел, что я с ней? Ведь она его родственница.

Меньше всего я ждал чего-то другого.

— Во-от ту-ут ва-ам ту-ут те-ле-гра-...— едва выговаривая, сближая слова как слоги, коверкая и не умея произнести мучительное долгое слово, он доставал скрюченной рукой розоватую расклеенную бумажку.

Еще не увидев как следует, я понял: телеграмма. Зачем телеграмма? Ведь никто не знает, где я? Что же такое, как же?..

— Да что ты так побледнел? — сказала она.— Обыкновенная телеграмма... Ты же еще не читал, а весь белый сделался. Что-нибудь по работе.

Я взял из его скрюченной руки телеграмму, раскрытую, разорванную, ставшую уже не только моим достоянием, и пробежал глазами ее короткий текст. Там от руки сельской телеграфисткой было написано: «Выезжай немедленно. С Борькой несчастье. Саша».

— Что, что такое?

Я не слышал, что она говорила, скорее догадывался.

— Хочешь, я поеду с тобой?

Я не отвечал, еще не зная, как приспособиться к тому, что произошло, как организовать это в движение, в билеты, в отъезд, в поезд, а самое главное, как понять это странное и страшное слово: «несчастье». Какое несчастье? Почему? И что оно означает? Ведь не обязательно же оно означает...

Поезд вез меня к нему. Только я не знал — к нему ли, есть ли он вообще на земле. Как и давно, когда умерла Нора, я ощущал поражающую несовместимость моей беды (да моей ли только? — любой) с обычным укладом жизни. Радость, удача вполне уживаются, сосуществуют с обыденностью, поднимаются, взмывают ввысь, беззаботно парят, как бы не соприкасаясь с ней, несчастье же уродливо и одиноко на фоне обыденности, оно выпадает из естественного течения жизни — оно противоестественно...

Проносились станции, мелькали, движение успокаивало, все в этом пейзаже было так знакомо. Я не помню, чтоб Борька рисовал пейзажи, но я знал, что этот лес, эти деревья, это небо светились в глазах тех, кого создавала его кисть. И сколько она еще сможет, сколько сделает, если...

Тягость незнания, неизвестность, неожиданность этой телеграммы — именно теперь, когда налаживалось рабочее состояние, когда так хотелось завершить то, с чем возился вот уже столько времени, именно в этот момент душевного взлета — вызывали почти физическое ощущение боли. Что с ним? Болезнь?

В последнее время он чувствовал себя гораздо лучше, огромная отдача в интернате не только не мешала, но помогала ему, происходил как бы кругооборот: выкладываясь, отдавая себя, занимаясь с ребятами, он получал новые силы, необходимые ему для главной работы.

Что есть в сущности главная работа?

Только ли портрет, этюд, скульптура, пейзаж, схваченный на лету, то, что запомнило и сумело выразить наше воображение, наша фантазия, наша способность воспроизвести жизнь?

Не только это.

Может быть, для него Егор, этот трудный человеческий материал, упорно и долго формируемый им, тоже был главной работой.

В памяти возникала прямая, как столб, мрачная фигура Егоркиного отца, вспоминались угроза, исходящая от него, болезненная ревность, жестокое, тупое собственничество по отношению к мальчику, атмосфера затхлости, нелюдимости, невидимая стена, которую этот человек хотел возвести между Егором и интернатом, его постоянное сопротивление тому, что росло и крепло в мальчишке, духу творчества, а значит, и новому самоощущению себя.

Тяжесть догадки, тревога неизвестности хуже иной раз самого тяжкого знания.

Предсказание цыганки, то самое, давнее, в поезде, который вез нас на юг, вдруг мелькнуло, мгновенно омрачив душу, и исчезло, как дерево за окном вагона.

Почему именно ему, не мне, не Сашке? Почему судьба выбирает самых талантливых, рассчитанных природой надолго, кажется — навсегда?

Навсегда...

Портреты живут дольше, чем их авторы... Но зачем я об этом? Да, хрупок талант, хрупка земная его оболочка. Зло и жестокость выстреливают именно в него, выбирая среди сотен других. Так бывало уже не раз, к несчастью.

И все-таки я верил в жизненную силу своего друга, несмотря на болезни и беды, которые он мужественно перемогал...

Поезд гремел, то ускоряя, то замедляя ход. Почти механически я воспринимал все, что происходило в поезде. В тамбуре играли на гитаре, двое молодых людей наперебой рассказывали какие-то байки, громко смеялись, напротив сидела девушка,— вся их веселость была для нее, но она не обращала на них внимания, уткнулась в кроссворд; потом прошли контролеры, привычка двигала моей рукой, заставляла искать билет.

Все это словно бы уже было со мною давно, когда-то, будто бы я видел уже эти лица, слышал эти разговоры. Поток жизни чувствовался даже здесь, в замкнутом пространстве вагона, где люди сидели, стояли, ходили, как бы на время передоверив свое движение движению летящего вперед поезда.

Старушка присела рядом — я даже не заметил, как она вошла,— сидела тихо, как бы не замечая никого, о чем-то своем далеком думая, но вдруг спросила участливо: «Ты что такой пасмурный, сынок? — И добавила, не дожидаясь ответа: — Ничего, не кручинься, ты молодой, все обойдется».

Я промолчал, ничего не стал ей объяснять, но слова ее, вроде бы ничего не значившие, дежурные, странным образом успокоили меня.

Да ей и не нужен был мой ответ. Нутром почуяла: что-то неладно.

Обойдется... Конечно же, иначе и быть не может. Слишком многое нас объединяет, чтобы так вот просто разрушиться, распасться.

Я подумал о Сашке — конечно же он там, с ним; я вспомнил нашу первую встречу с Борькой: давний студенческий буфетик, две юношеские работы, два портрета — отца и матери,— и в лице нынешнего Борьки, в голубых глазах, в легком их блеске, проглянули и радость жизни, и жадный интерес к ней, и тревожная тень ожидания.

Ожидание...

Ожидание всегда владело нами. Эта была вечная страсть к переменам, к поиску, обновлению. Время подсказывало нам наш поиск, способ самовыражения. Ремесло, которому со студенческих лет учил наш Мастер, требовало работать на полном пределе.

Несколько раз в жизни я пытался выразить себя с предельной силой, до конца. А Борька всегда работал на пределе, не давая себе ни пауз, ни передышек...

Я неотступно думал о нем, о нашей молодости, о жизни, о том, что нам еще предстоит.

Пролетали, проносились рощицы, уже поредевшие по-осеннему, вспыхивал желто-красный кленовый лист, спокойно синело чуть придвинувшееся к земле небо — все это успокаивало, подавляло бушевавшую во мне тревогу; сызмальства знакомый, тысячу раз воспроизведенный и всегда сохраняющий черты новизны пейзаж успокаивал и рождал надежду.

Амлинский В. И.

А 61 Борька Никитин: Роман.— М.: Советский писатель, 1984.— 272 с.

Читателю известны произведения Владимира Амлинского: повести «Тучи над городом встали», «Жизнь Эрнста Шаталова», романы «Возвращение брата», «Нескучный сад», рассказы.

В новом романе «Борька Никитин» продолжается главная тема писателя — раскрытие духовного творческого начала в человеке.

А $\frac{4702010200-116}{083(02)-84}$ 3—83 Р2

Владимир Ильич Амлинский

БОРЬКА НИКИТИН

М., «Советский писатель», 1984, 272 стр.
План выпуска 1983 г. № 3

Редактор *В. Г. Клименко*
Худож. редактор *Е. Ф. Капустин*
Техн. редактор *Ф. Г. Шапиро*
Корректор *С. Б. Блаушгейн*

ИБ № 3240

Сдано в набор 9.01.84. Подписано к печати 16.03.84. А 02449. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 2. Обыкнов. гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 14,28. Уч.-изд. л. 15,20. Тираж 100 000 экз. Заказ № 501. Цена 95 коп.
Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11.
Набрано в Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28.
Печать и изготовление в Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.

95 к.




ВЛАДИМИР АМЛИНСКИЙ